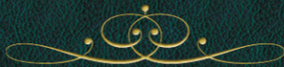


Лажечников И.



ПОСЛЕДНИЙ НОВИК
ТОМ 2

РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ

Последний Новик. Т. 2: Роман. Часть третья, часть четвертая // Мир книги, Москва, 2010
ISBN: 978-5-486-03603-3, 978-5-486-03590-6
FB2: Roland "Roland", 20.01.2018, version 1.0
UUID: 180d959e-fa7e-11e7-a5c8-0cc47a1952f2
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Иванович Лажечников

Последний Новик. Том 2 (Россия державная)

Иван Иванович Лажечников (1792–1869) – русский писатель, драматург, мемуарист; зачинатель жанра исторического романа в русской литературе. Ему удалось не только достоверно передать быт и нравы, традиции и предания, предрассудки и заблуждения исторического прошлого, но и воплотить сам образ и дух эпохи, создать живые и полнокровные характеры многих исторических лиц.

Во второй том данного издания вошло окончание исторического романа «Последний Новик», рассказывающего об одном из периодов Северной войны 1701–1703 гг. между Россией и Швецией – о борьбе Петра I за обладание Прибалтикой, необходимой России для выхода к берегам Балтийского моря. Царь Петр выступает как подлинный патриот, мудрый правитель, поборник просвещения, справедливый и простой в обращении с подданными. Действие повествования разворачивается в Лифляндии во время похода русских войск под командованием Шереметева. Герой романа входит в доверие к шведам, но тайно помогает русской армии, что способствует ее победе.

Содержание

#1	0006
Часть третья	0007
Глава первая Исповедь дружбы	0007
Глава вторая Битва под Гуммельсгофом	0022
Глава третья Тот же полдень в другом виде	0042
Глава четвертая Комедия и трагедия	0065
Глава пятая Приговор	0089
Глава шестая Кажется, многое объясняется	0127
Глава седьмая История завещания	0147
Глава восьмая Что делалось в Мариенбурге?	0199
Глава девятая Осада	0228
Глава десятая Свадьба и погребение	0245
Часть четвертая	0269
Глава первая У раскольников	0269
Глава вторая Встреча	0293
Глава четвертая При основании города	0326
Глава пятая Повесть последнего новика	0344
Глава шестая Продолжение повести	0384
Глава седьмая Две сцены из 1704 года	0404
Глава восьмая Письмо издалека	0409
Глава девятая Зубной лекарь	0458
Глава десятая К развязке	0466

Глава одиннадцатая Картина	0491
Глава двенадцатая Схимник	0496

Иван Иванович Лажечников
Последний Новик
Том 2

© ООО ТД «Издательство Мир книги»,
Оформление, 2010

© ООО «РИЦ Литература», 2010

* * *

Часть третья

Глава первая

Исповедь дружбы

*И страшен день, и ночь страшна,
И тени гробовые;
Он всюду слышит грозный вой;
И в час глубокой ночи
Бежит одра его покой,
И сон забыли очи.
Жуковский*

Мы оставили русских на марше от пепелища розенгофского форпоста к Сагницу. Немой, как мы сказали, служил им вожатым. Горы, по которым они шли, были так высоки, что лошади, с тяжестями взбираясь на них (употреблю простонародное сравнение), вытягивались, как прут, а спалзывая с них, едва не свертывались в клубок. Вековые анценские леса пробудились тысячами отголосков; обитавшие в них зверьки, испуганные необыкновенною тревогой, бежали, сами не зная куда, и попадали прямо в толпы солдат.

Немой, ведя русских, потому что приказано ему было вести их, горевал при мысли, зачем такое множество людей идет на убой себе подобных. Но когда передовой отряд, при котором он находился, ворвался в корчмы, одиноко стоявшие в анценском лесу и служившие шведам отводными караульнями; когда раздались в них вопли умирающих или просящих пощады, он плакал, стонал, бросался в ноги к русским начальникам, обнимал их колена и разными красноречивыми движениями молил о жизни для несчастных или грозил, в противном случае, бежать и оставить войско без проводника. Ему возражали, что его самого убьют за побег, а он – обнажал грудь свою. Таким трогательным и смелым посредничеством спасена жизнь несколькими шведским солдатам, застигнутым ночью в корчмах. Редкие из них успели выпрыгнуть из окон и разбежаться по лесам. Страх придал легкости ногам их и предупредил русских в Сагнице.

Надо сказать, что эта мыза облакачивается к западу об гору, довольно далеко протягивающуюся, к северо-востоку смотрит на ровные

поля, а к полдню обогнута болотом, на коем ржавела еще в недавнее время осадка потопных вод. Ныне, когда человек неумолимо допытывает все стихии на свою службу, он выжал эти воды, отвел им пути, да не выйдут из них, и в первобытном, холодном их ложе добывает огонь для своих очагов и новые источники богатства. Пирамиды и квадраты земляного угля веселят взоры там, где, бывало, самое легкое животное не смело поставить ноги своей. В то время, которое описываю, была устроена по болоту узкая, бревенчатая гать, такая удобная и покойная, что езду по ней можно было сравнить разве с речью заики. По этой-то дороге утром шестнадцатого июля в беспорядке тянулся к Платору отряд шведский, испуганный вестью о приближении нечаянных гостей. Отважиться на бой неравный нельзя было и думать. Начальник отряда решился, в ожидании известий от Шлиппенбаха, перебраться в добром здоровье за Платор, разрушить там переправу, потом разрубить мост на Эмбахе и тем задержать, хотя на несколько часов, ужасную лаву, втекающую с такою быстротой в Лифляндию. Но едва успел

он вывести на гать огромный обоз с тяжестями, как показались у сагницкой кирки шапки татарские. Чтобы спасти отряд от поражения, оставалось бросить обоз и тем заградить неприятелю единственную за собою дорогу. Так и сделано.

Русский военачальник, не видя возможности немедленно начать боевой переговор с неприятелем и желая дать отдых войску, утомленному трудным походом, и приготовить его к решительному сражению, развернул многочисленные силы свои по пространству поля, как искусный игрок колоду карт по зеленому столу. Между тем выслал значительные отряды, чтобы занять мызу, осмотреть около нее все мышьи норки, очистить дорогу через болото и тем установить сообщение с неприятелем.

Крики торжества раздавались при расхищении обоза и мызы. Они отдались в стане, и тогда ничто не могло удержать войска, в нем оставшегося. Как при виде жертвы срываются гончие псы со свор своих, так понеслись на добычу тысячи разнородные и еще худо знакомые с дисциплиною. В несколько минут

весь обоз разбит; а там, где стояла богатая мыза, возвышались одни безобразные трубы, как на пожарище, хотя она и не горела. Зато многие, перебивая друг у друга лучшие кусочки, иные из вещи ничтожной, сталкивали и увлекали друг друга с тесной гати в трясину, где усилия вырваться из нее еще более в нее погружали. Добычник и добыча, нападавший и защищавшийся равно погибали. Вид торчащих из болота рук, ног и голов, ужас и безобразие смерти на лицах утопленников, самая жизнь, беснующаяся в исступлении страстей, вопли радости, ругательства борющихся, хохот победы – все соединилось, чтобы составить из этого грабежа адский пир. С трудом могли высшие начальники унять его, тем более что некоторые офицеры сами подали пример беспорядка. Из числа попавшихся в трясину немногие вытащены из нее христианским состраданием товарищей.

День прошел в отдохновении. В стане молились, пировали, пели песни, меняли и продавали добычу. Офицеры разбирали по рукам пленников и пленниц, назначали их в подарок родственникам и друзьям, в России нахо-

дившимся, или тут же передавали, подобно ходячей монете, однокорытникам, для которых не было ничего заветного.

К вечеру прибыл в стан и Паткуль без носа, разумею, красного, и без горба, разбросанных им по дороге, но, в замену, с планом гуммельсгофских окрестностей и с новыми средствами для мщения. С ним прибыло лицо новое для русских – верный служитель Фриц, а вслед за тем прикатила на своей тележке маркитантша Ильза. Она отлучалась на целые сутки из войска Шереметева для развоза вестей, которые нужно было Паткулю распусть по Лифляндии. Многих в это время заставила она горевать по себе.

Нынешний день она не в обыкновенном своем духе; она грустна и не может скрыть своей грусти. Ее не утешают подарки, отделенные для нее из военных трофеев. Ринген и месть одни в сердце ее. Она льет вино через край мерки, забывает брать деньги, ей следующие, или требует уж заплаченных, отвечает несвязно на вопросы, часто вздрагивает, говорит сама с собою вслух непонятные речи и без причины хохочет. Только Мурзенке стара-

ется она особенно угодить: ухаживает за ним, как нежная дочь; готова отдать ему даром все, что имеет на своей походной тележке, – и немудрено: Мурзенко, наверно, будет первый в Рингене.

Ночь на семнадцатое – последняя для многих в русском и шведском войсках. Как тяжелый свинец, пали на грудь иных смутные видения; другие спали крепко и сладко за несколько часов до борьбы с вечным сном. Ум, страсти, честь, страх царского гнева, надежда на милости государевы и, по временам, любовь к отечеству работали в душе вождей.

Было гораздо за полночь. Петухи, уцелевшие на развалинах Сагница, уже в третий раз перекликались с ночными стражами в стане русском. В шатре полковника Семена Ивановича Кропотова светился огонек. Грустный, измученный душевными страданиями и бессонницею, он сидел, согнувшись, на соломенном ложе. Черный пышный парик был снят с головы, и на обнаженной голове ветер, врывавшийся по временам в палатку, шевелил два серебряные локона, как иссохшие былия на могильном черепе. Перед ним на коленях

лежала доска с листом бумаги (недавним указом запрещено было употреблять столпцы): это было духовное завещание. На краю его дописывал он последние строки. Крупные капли слез падали из помутившихся глаз его. Нередко прерываемый в своем занятии ветерком, силившимся потушить огарок, освещавший его труд, он охранял дрожащею рукою огонек. Кончив свой труд, долго, очень долго смотрел он с какою-то заботливостью на Полуектова, спавшего крепким сном в одной с ним палатке. Вдруг последний, вздрогнув, приподнялся с ложа своего, осмотрелся кругом и спросил товарища, он ли его спрашивал и что ему надобно.

– Сердце мое спрашивало тебя, – отвечал Кропотов, творя крестное знамение, – но голова я не давал.

– Странно! – сказал Полуектов, тоже крестясь. – Меня кто-то во сне толкнул под бок тихонько, в другой раз шибче, в третий еще сильнее, у самого сердца, и проговорил довольно внятно: «Встань... друга режут шведы... поспеши к нему на помощь. Слышишь? Он зовет тебя». Но какой ты бледный, Семен

Иванович! Опять-таки всю ночь не спал и опять что-то писал?

– Наверно, голос, тебя звавший, был голос моего ангела-хранителя. Да, сон твой не лжив; режут меня, только не шведы – собственные мои грехи. Помоги. Время для меня дорого. Скоро забелеет утро, может статься, последнее в жизни моей... и нашей беседе могут помешать.

– Что затеял ты нового, безрассудный? Мученик своих черных дум, ты везде видишь смерть или беды. Чего доброго! накличешь их.

– И та и другие идут без зова, Никита Иванович! Дни наши в руке Божией: ни одной иоты не прибавим к ним, когда они сочтены. Верь, и моему земному житию предел близок: сердце вещун, не обманщик. Лучше умереть, чем замирать всечасно. Вчера я исповедался отцу духовному и сподобился причаститься святых тайн; ныне, если благословит Господь, исполню еще этот долг христианский. Теперь хочу открыть тебе душу свою. Ты меня давно знаешь, друг, но знаешь ли, какой тяжкий грех лежит на ней?

Полуектов молчал.

– Нет, никакими страданиями, никакими молитвами не искуплю своего преступления! Как тяжелый камень, лежит оно на сердце моем, давит мне грудь, не дает на миг вздохнуть свободно.

– Искупитель простил и разбойника, а ты...

– Хуже его! Ведай, я погубил свое родное детище.

– Не может статься, Семен Иванович! Ты не в уме своем; ты клепешь на себя напраслину.

– Нет, друг, воистину говорю тебе, как духовнику своему: я погубил свое детище, и за это наказал меня Бог. Из многочисленного семейства не осталось у меня никого на утешение в старости и по смерти на помин души.

Он вынул письмо из кожаной сумочки, висевшей у него на груди вместе с крестом, дрожащими руками подал письмо Полуектову и произнес могильным голосом:

– Этот подарок пришел ко мне третьего дня вечером от старушки жены из Москвы; прочти и суди, мог ли я вчера утром быть половинщиком в вашем веселии?

Полуектов читал послание с каким-то внутренним судорожным чувством; видно было, что он снесдал грусть свою.

– Последнего! – произнес Кропотов голосом отчаянной скорби. – Хоть бы одного Господь оставил – не мне – престарелой матери опорой и кормильцем. Но... прости мне, боже мой! мне ль роптать на тебя, неизреченное милосердие? Ты наказываешь меня.

– Последнего! – повторил Полуектов, качая головой; слезы заструились по щекам его. – И мой пригожий, разумный крестничек. Сеня!.. А мы ждали уже его на смену отцу!

– Он служит теперь Царю Небесному.

– Велико твое испытание, Господи! Наслал Ты тяжкие раны на сердце моего доброго Кропотова.

– Ведомо тебе, что двух еще прежде взял он сам. Тот, кому владыки земные противиться не могут. Но ты не знаешь: у меня был четвертый – и того я сам погубил. Я... продал его! Ты смотришь на меня с удивлением и ужасом, ты не веришь, чтобы христианин мог продавать свое родное детище? Но это было так!.. Перед тобой торгош своими кровными – этот

ваш вчерашний верный слуга царский, добрый, нежный отец, православный христианин! Ты все глядишь на меня и сомневаешься, как могла земля до сего времени носить такое чудовище? Да, меня носила она, как мать мертвого, гнилого младенца во чреве, пока ей не пришло время разрешиться от мерзостного бремени. За сколько, думаешь, продал я его?.. Нет, не скажу, не смею сказать; ты на бумаге (он указал на лист) лучше все увидишь. О! эти таланты пришли мне дорого, как Иуде-предателю![1] А ведаешь ли, кому я продал свое детище? – Коварной Софии Алексеевне! От нее перешел он к отступнику православной веры князю Мышитскому, а от него прямо – к палачу. Как они все пестовали его, как лелеяли!

– Успокойся, друг! Ты с горя мешаешься в уме.

– Нет, я в полном уме, я говорю тебе правду. Знавал ли ты последнего Новика?

– Мало, но знавал.

– Кто он такой был?

Полуектов молчал.

– А! этого и ты не знаешь? Последний Но-

вик, воспитанный царевною Софиею, умерший на плахе, – сын мой.

– Я это слышал, но не верил...

– Знаю, не ты один слышал и не верил! Такого чудовища на Руси, как я, не было и не будет. Диво ли, что веру не имели к этим слухам? Так знай же: последний Новик был сын, законный сын русского боярина, Семена, Иванова по отце, Кропотова.

Вдруг мутные глаза Кропотова неподвижно уставились против входа в палатку.

– Видишь, – вскрикнул он, – голова моего несчастного сына и теперь висит на перекладине; видишь, как с нее каплет кровь преступника!..

Трясаясь, закрыл он глаза руками и упал на солому.

Ординанц[2] вошел в это время в палатку и доложил Полуектову, что его требует к себе фельдмаршал. Получив ответ, он вышел.

– Горе помутило твой разум, – сказал Полуектов, поднимая своего товарища, – голова *ординанца* показалась тебе бог знает чем. Успокойся; отчаяние величайший из грехов. Кто ведает? может статья, обман... тайна...

– Обман! тайна!.. Какая тут тайна? Не воры же ночью их унесли. Господь, сам Господь двух положил перед глазами матери их: мать не могла же ошибиться в своих детищах. Обман!.. Ге! что ты мне говоришь, Никита Иванович? Она сама обмывала их тела, укладывала в гробы, опускала в землю. Правда, четвертый был тайна для многих; но и того обезглавленный труп мать узнала и сама похоронила.

– Успокойся... хоть ради Христа-спасителя, пострадавшего за наши грехи.

Полуектов оделся.

– Я совсем одет и иду, – сказал он, – фельдмаршал требует меня к себе. Может статься, пошлют меня в передовые. Ты просил меня о чем-то?

При этих словах Кропотков очнулся; он посмотрел на друга с сожалением, будто хотел сказать: зачем шлют тебя? Потом взял бумагу, которую писал, сложил ее бережно, перекрестился и, отдавая ее Полуектову, примолвил:

– Возьми это духовное завещание и, если меня не станет, будь хоть ты моей старушке кормильцем и сыном, будь поминщик по ду-

шам нашим.

Полуектов взял бумагу, спрятал ее осторожно в боковой карман мундира, помолился перед медною иконою, висевшею в углу палатки, прижал друга к сердцу, еще крепко прижал его, и – оба заплакали. Семен Иванович надел епанчу и проводил друга за шатер.

Заря уже разыгрывалась по небосклону.

– Посмотри, – сказал Полуектов, – как хорош божий мир!

– Хорош таков, каким Господь его создал, а не таков, каким сделали его грехи наши, – отвечал Кропотов, вздыхая.

Друзья обнялись еще раз и молча простились.

Полуектов отправился к фельдмаршалу и не возвращался более в шатер свой. Действительно был он назначен в авангард. Семен Иванович с каким-то предчувствием проводил его глазами по дороге в Платор и послал за своим духовником.

Через полчаса по всей армии затрубили побудок; барабанный бой перекатился по всем линиям – и пятидесятитысячное русское войско, помолясь Отцу Всеобщему и вкусив

насущенного хлеба, тронулось и загремело по гати. Знамена развеялись, гобои, трубы, литавры и фаготы зазычали, и песни, без которых русский нейдет на веселье и на горе, на торжество и на смерть, раздались по полкам.

Глава вторая

Битва под Гуммельсгофом

Кому-то пасть?..
Пушкин

Как прекрасно встало солнце семнадцатого июля! Будто после сна расправился этот небесный великан: первый луч его, как блестящий клинок меча, устлался по ровной, широкой лощине, простирающейся на несколько верст от Эмбаха до Гуммельсгофа, и осветил поставленные уступами шведские полки. Едва считается в них до четырнадцати тысяч. Переправу у Эмбаха охраняет небольшой отряд. Все они с душою бесстрашною готовы встретить неприятеля, в несколько раз сильнейшего числом. Дух их окрыляют имя воинов Карла, везде победителя, народная и личная честь, чувство преимущества выгодной

позиции и воинского искусства, мщение за смерть братьев, зарезанных на розенгофском форпосте, и вид родных жилищ, откуда дети, отцы, жены просят не выдавать их мечу или плену татарскому.

Лощина к Гуммельстофу кажется высохшим руслом широкой реки: по обеим ее сторонам, в прямом направлении от Эмбаха, тянутся возвышения, как берега. Правое возвышение круто, ощетинилось мрачным лесом и оканчивается холмами, на которых ель редко и нехотя растет; левое – отлого, усеяно небольшими, приятными рощами, оканчивается бором и примыкает к горе, довольно высокой и, как ладонь, обнаженной. На ней стоит полуразрушенная мельница. Природа и искусство сильно укрепили ее: орудия обглядывают с нее лощину и выжидают оттуда своих жертв. О нее должны опираться все силы шведские: это палладиум их чести и благоденствия. Потеря ее – есть потеря всего войска, гибель целой Лифляндии.

К подошве горы прислонилась мыза Гуммельстоф. Все на ней спокойно: экономка выдает по-прежнему корм для кур; чухонец[3] в

углу двора беспечно долбит горбушку хлеба, начиненную маслом; по-прежнему дымок, вестник человеческих забот о жизни, вьется из труб. Ни одного солдата не видно на мызе.

Глубокая, тяжелая тишина царствует в рядах, как будто сам Бог налег на них Своим таинственным всемогуществом. Войско в томительном ожидании первого выстрела; и вот... он раздался за Эмбахом! Офицеры и рядовые невольно содрогнулись и сняли шляпы. В это время подъехал к ним Шлиппенбах. Он, кажется, переродился и вырос: в нем нельзя узнать маленького, крикливого хлопотуна и полухитреца баронессина праздника. Дух геройства говорит в его глазах, в речи и каждом движении.

– Дети! – восклицает он, обращаясь к войску. – Ваши товарищи начали победу; мы докончим ее. С кем имеем ныне дело? С татарами, калмыками и, пожалуй, с московитами, которые мало чем посмышленее их. Много их, говорят; эка беда! тем больше выроем яму для них в память будущим векам, чтобы незваные гости не совались в Лифляндию. Вспомните, как мы ощипали эту сволочь под

Нарвою: тогда еще не было нам где развернуться, а теперь лихое раздолье штыку и палашу. Не забывать: по лощине каре и каре – стоять плотно, дружно, как эфес при клинке, как голова при теле. В рощах засели наши стрелки: по затылку выскочек пощелкают орешки. Драгуны-молодцы! хе-хе-хе! прошу вас, битого мяса из московитских быков!.. Знайте, на вас смотрит его величество Карл в слуховое окошко из Варшавы и просит вас потешить его геройское сердце. Да здравствует король!

Все отвечают генерал-вахтмейстеру радостным криком:

– Да здравствует король!

– Не худо бы, – сказал один полковник, – поставить отряд на пекгофской дороге для наблюдения за нею.

– Пустяки! Московиты ломают всегда прямо и не умеют пользоваться извилинами: я знаю их хорошо! – вскричал Шлиппенбах и, видя, что другой полковник хотел что-то представить ему, махнул с нетерпением рукой и поспежал вперед.

В свите генерал-вахтмейстера находится

Вольдемар из Выборга. Нынешний день он в шведском мундире, на коне и с оружием. Генерал, шутя, называет его своим *лейбшицом* [4]. Вольдемар усмехается на это приветствие, и в черных глазах его горит дикий пламень, как у волка на добычу в темную ночь.

Калмыки, башкирцы и казаки первые прискакали с ужасным криком на правый берег Эмбаха, обсеяли его и первые закусили смертную закуску, посланную им с левого берега. Толпы валяются, как муравьи, облитые кипятком. Несмотря на эту встречу, азиатские наездники бросаются с конями в реку, десятками гибнут в ней, румяня ее воды, и сотнями переплывают ее в разных местах. Здесь шведские стрелки встречают их и ссаживают метким свинцом и удалым штыком. Но бой, каков ни есть, уже завязался на левом берегу, и этого довольно, чтобы русским укрепиться на правом. Пушки их на нем расставлены; драгуны спешили и посылают шведам свои послышки на разрешение; знамена веют по воздуху; литаврщик в своей колясочке бьет переправу; плотники с топорами и кирками стоят на зубьях разрушенного моста; работа кипит

под тучею пуль и картечи; перекладины утверждены; драгуны перебираются по этому смертному переходу, и — *пасс* Эмбаха завоеван. Честь этого подвига принадлежит Мурзенке и Полуектову. Несколько сотен казаков гарцуют уже позади шведского полка, оставленного на защиту *пасса*. Шведы, не в состоянии будучи противиться силам неприятеля, беспрестанно возрастающим, как головы гидры, и сделав уже свое дело, образуют каре и среди неприятеля, со всех сторон их окружающего, отступают медленно, как бы на ученье. Это движущаяся твердыня: усилия тысяч конных татар не могут поколебать ее. Полуектов остается на левом берегу, пока не наведен мост и не переправлены через него регулярная конница, артиллерия и тяжести его отряда. Но толпы башкирские, татарские и казачьи, ободренные отступлением неприятеля, преследуют его, вьются и жужжат около него своими стрелами и пулями, как рои оводов. Уже Гуммельсгоф в виду. Баталион останавливается, укрепляется на одном месте и на смертном расстоянии обдает огнем нестройные толпы. Вместе с этим выстрелом текут с

обоих возвышений эскадроны шведские и опутывают их со всех сторон. Куда ни обернутся всадники азиатские, везде грозит им гибель. Одно мужество казаков поддерживает еще сечу; но искусство шведов одолевает. Поражение ужасно. Все, что может избежать огня и меча шведского, спасается бегством. Полуектов со своим полком и несколькими орудиями спешит на помощь; за ним вслед и Кропотов; им навстречу толпы бегущих; свои сшиблись со своими, смяли их и внесли между них на плечах ужас и торжествующего неприятеля. Все связи между русскими разрушены; голоса начальников не слушаются, начальники сражаются, как рядовые; пушкари бросают свои пушки; знамена отданы, и там, где еще веют по воздуху два из них, защищают их лично со своими лейбшицами Кропотов и Полуектов. Ни один из них не бежит от верной смерти. Первый, кажется, ищет ее. Наконец, весь израненный, он обхватывает древко знамени и вместе с ним падает на землю, произнося имя друга, Новика и Бога. Шведы дают знак Полуектову, чтобы он сдался в плен.

– Не отдамся живой, не расстанусь с тобою, Семен Иванович! – восклицает он, отправляя на тот свет нескольких переговорщиков о плене. Утомленный, истекая кровью, он спорит еще с двумя палашами и наконец, разрубленный ими, отдает жизнь Богу.

Фельдмаршал устраивал тогда переправу в трех местах и, по вызову Паткуля, отряжал его в обход через мрачные леса Пекгофа (где через столетие должен был покоиться прах одного из великих соотечественников его и полководцев России[5]). Узнав о поражении своих, Шереметев посылает им в помощь конные полки фон Вердена и Боура. Они слятся несколько времени посчитаться с неприятелем; но, видя, что мена невыгодна для них, со стыдом *ретируются*.

– Тут надобно бы горячего князя Вадбольского, – говорит фон Верден своему товарищу, завернувшись в епанчу и наостривая лыжи. Вадбольский легок на помине, где спрашивают его долг и честь. Он летит с полком навстречу торжествующему неприятелю. Мундир и камзол его нараспашку; по мохнатой груди его мотается серебряный крест. Он пы-

шет от досады; слезы готовы брызнуть из глаз.

– Стой! – кричит он львиным голосом, поравнявшись с отступающими полками. – Кто носит крест, стой, говорю вам! или я велю душировать вас, как басурманов.

Полки фон Вердена и Боура, без команды своих начальников, останавливаются и обращивают коней.

– С крестом и молитвою за мною, друзья! – прибавляет Вадбольский.

Все творят крестное знамение и, как будто оживленные благодатию, несутся за вождем, которому никто не имеет силы противиться. Вера сильна в душах простых. Неприятель сдержан, и вскоре бой восстановлен. Вадбольский творит чудеса и, как богатыри наших сказок, *«где махнет рукой, там вырубает улицу, где повернется с лошадыю, там площадь»*. Конница неприятельская опозорена им; но то, что он выигрывает над нею, похищает у него славная пехота шведская. И ему не устоять, если не приспееет помощь!..

Три часа уже шведы победители.

В это самое время пронесся голос в рядах

их:

– Назад! назад! главная армия московитская идет в обход от Пегкофа.

Какое-то привидение, высокое, страшное, окровавленное до ног, с распущенными по плечам черными космами, на которых запеклась кровь, пронеслось тогда ж по рядам на вороной лошади и вдруг исчезло. Ужасное видение! Слова его передаются от одного другому, вспоминают, что говорил полковник генерал-вахтмейстеру об охране пекгофской дороги, – и страх, будто с неба насланный, растя, ходит по полкам. Конница шведская колеблется.

– Назад! – раздаются в ней сотни голосов.

– Вперед, братцы! – кричит Вадбольский. – За нас Господь с Его небесными силами.

Дюмон, очутившись подле него, меняется с ним дружеским взглядом. Удары палаша русского учащены. Конница шведская показывает тыл и обращена в совершенное бегство. Тщетно стараются оба Траутфеттера[6] ободрить их: слова не действуют. Нескольким солдатам, оставшимся около них и сохранившим еще присутствие духа, приказывают они

стрелять по бегущим: ничто не может остановить бегства. Окровавленное привидение будто все еще гонит криком: «Назад!» Сами офицеры собственными лошадьми увлечены за общим постыдным стремлением. Между тем завязался бой у пехоты шведской с тремя русскими пехотными полками, приспешшими на место сражения. Ими предводительствуют Лима, Айгустов и фон Шведен. Лима указывает солдатам на Кропотова и Полуектова, истоптанных лошадиными копытами.

– Врагам не ругаться долее телами наших полковников! – кричит пехота русская и творит чудеса храбрости. Пехота шведская берет над ней верх искусством. Лима убит; Айгустов тяжело ранен. Но сила русская растет и растет, как морские воды, в прилив идущие. Действиями ее управляет уже сам фельдмаршал.

Вадбольский близко гуммельсгофской горы. Преследование неприятеля поручает он Дюмону; сам с остатками своего полка спешивается. Жерла двадцати пушек уставлены на его отряд и сыплют на него смерть. Вадбольский невредим.

– Дети! – восклицает он своим. – Видите знамена на этой содомской горе? Они наши родные; на них лики святых заступников наших у престола Божия; им молились наши старики, дети, жены, отпуская нас в поход. Попустим ли псам ругаться над ними? Умрем под святыми хоругвями или вырвем их из поганых рук, вынесем на святую Русь и поставим вместо свечи во храме Божиим.

Солдаты отвечают ему:

– Не владеть басурманам нашими угодниками. Укажи нам только, батюшка князь Василий Алексеевич, куда идти.

– За мной, дети, со крестом и молитвою! – кричит Вадбольский и вносит остатки своего полка на середину горы.

На ней, у разрушенной мельницы, стоит Шлиппенбах, мрачный и грустный; он сам управляет артиллериею: этою последнею нитью, на которой еще держится судьба сражения. В защиту горы осталась рота, не бывшая в деле; вся масса шведского войска в бою или в бегстве. Близ него Вольдемар. Перемена успехов сражающихся отливается на лице последнего: то губы его мертвеют, холодный пот

выступает на лбу его и он, кажется, коченеет, то щеки его пышут огнем, радость блестит в глазах и жизнь говорит в каждом члене. Град пуль и картечи и вслед за тем холодное оружие встречаются Вадбольского, ряды его редуют; он невредим. Голос его все еще раздаётся, как труба звончатая.

– Я поклялся Кропотову похоронить его здесь. Здесь, на этом месте, будет его могила и моя, если меня убьют. Так ли, друзья?

– Пускай всех нас положат с тобою, батюшка! а что наше, того не отдадим живые, – кричат солдаты.

В жару схватки рукопашной он один отшатнулся от своих; лейбшицы его убиты или переранены. Трое шведов, один за другим, нападают на него. Могучим ударом валит он одного, как сноп, другому зарубает вечную память на челе; но от третьего едва ли может оборониться. Пот падает с лица его градом; мохнатая грудь орошена им так, что тяжёлый крест липнет к ней.

– Дети! – восклицает он с усилием. – Кто любит свою родную землю, тот подаст мне святое знамя, хоть умереть при нем.

Слова его долетают до Вольдемара; он оглядывается на знамена русские, дрожит от испуга; с жадностью выхватывает из ножен свой палаш и смотрит на него, как бы хочет увериться, что он в его руках. Глаза его накалились кровью. Шлиппенбах, пораженный дикими, испуганными взорами, отодвигается назад; но Вольдемару не до него. Он спрыгивает с лошади, бросает ее, исторгает из земли первое русское знамя, не охраняемое никем (даже шведские артиллеристы с банниками принимают участие в рукопашном бое), и в несколько мгновений ока переносится близ сражающихся. В то самое время Вадбольский падает от изнеможения сил. Могучая рука шведа уже на него занесена. Рука Вольдемара предупредила ее: швед падает мертвый. Русское знамя водружено в землю и развевается над князем Василием Алексеевичем.

– Друзья, братья мои! – восклицает Вольдемар. – Со мною! Еще один удар, и все наше!

В голосе его, во взоре, в движениях нельзя ошибиться: во всем отзывается его родина.

– Он русский! он наш! – говорит Вадболь-

ский ослабевшим голосом, силясь приподняться с земли; смотрит на знамя со слезами радости, становится на колена и молится. В этот самый миг прибегает несколько русских солдат. Еще не успел Вадбольский их остеречь, как один из них, видя шведа с русским знаменем и не видя ничего более, наотмах ударяет Вольдемара прикладом в затылок. Вольдемар падает; солдат хочет довершить штыком. Вадбольский заслоняет собою своего спасителя.

– Дети мои! Наш он, наш, говорю вам! Что вы сделали! – кричит князь и, заметив, что в несчастном остались признаки жизни, ищет, чем возбудить ее.

Миг этот – миг решительной победы русского войска. На гору входит Карпов с преображенцами; бегут последние защитники ее; по лощине бегут главные силы шведские, поражаемые Шереметевым. С холмов противоположного возвышения, со стороны Пекгофа, Паткуль встречает их, сечет, загоняет в леса, втоптывает в болота и преследует до самого Гельмета. Шлиппенбах, видя уничтожение своего корпуса, поверяет свое личное спасение ло-

пади своей и первой попавшейся ему тропинке. Распоряжаться уже нечем: пушки, знамена, обозы – все покинуто в добычу его. Крики торжества русских раздаются на высоте у разрушенной мельницы и в долине.

Грустный Вадбольский стоял над бесчувственным Вольдемаром, в кругу офицеров и солдат; с нежностью отца старался он оказать ему возможную помощь, развязал галстух, расстегнул его камзол. При этом движении открылась у Вольдемара грудь, и литый из червонного золота складень[7] ярко блеснул пред глазами изумленных зрителей. На главной доске складня изображены были великомученица София с дочерьми своими, а на другой стороне святой благоверный князь Владимир. Вадбольский спешил задернуть ворот рубашки, застегнуть камзол на таинственном незнакомце и тем закрыть богатый залог любви и веры от любопытных глаз толпы. Вольдемар наконец пришел в себя. Ударом приклада отшибена у него была память. Когда он оправился и стал различать предметы, немало встревожился, увидев себя в кругу русских! Каким образом попался к ним, не

мог себе растолковать. Наконец мало-помалу начал припоминать себе происшествия настоящего дня. Привстав с земли, робко осязал он руку то у того, то у другого из окружавших его и, потупив взоры в землю, дрожал, как преступник, пойманный на месте преступления. Его ободряли, ласкали, спрашивали с нежным участием, кто он такой, откуда родом, зачем в войске шведском. От этих вопросов, от приветов и ласки простых сердец хотел бы он бежать, хотел бы уйти в землю...

– Братцы! я русский... – едва мог он произнести, скидая с себя шведский мундир и бросая его под ноги. – Ради бога не спрашивайте меня более.

Вадбольский спешит его обнять.

– Ты спас меня от смерти: чем тебя возблагодарить? – говорит он ему.

– Вспомнить об этом при случае, – отвечает Вольдемар.

Его хотят вести в торжестве к фельдмаршалу. Он отговаривается, просит именем Господа отпустить его и наконец объявляет им, что не может явиться к Шереметеву – он злодей!

– Это мой братец, ребятушки! – закричал кто-то в толпе, и вдруг перед изумленными русскими воинами явилась высокая женщина, окровавленная, с распущенными на плечах черными волосами.

– С нами крестная сила! – переговаривались солдаты, крестясь.

– Не бойтесь! это сестра Ильза, – прибавляли другие. – Да тебя узнать нельзя!

– Моя также ныне дралась за русской. Не забудь Ильзы, когда ее не будет, – сказала она печально.

– Мы помолимся за тебя, добрая сестрица! – раздалось несколько голосов дружно и с чувством.

– Молиться! да, много молиться! – присовокупила она со вздохом, качая головой; но вдруг, взглянув на Вольдемара, грозно вскричала: – Отдай мне братца! – и, не дожидаясь ответа, раздвинула толпу – и увлекла его за собою в ближайшую рощу.

Долго, задумавшись, следовал за ними Вадбольский глазами; припоминал себе таинственного провожатого к Розенгофу, таинственного певца, спасителя Лимы и русского

войска под Эррастфером; соображал все это в уме своем, хотел думать, что это один и тот же человек и что этот необыкновенный человек, хотя злодей, как называл себя, достоин лучшего сотоварищества, нежели Ильзино.

– Злодей? злодей? – твердил про себя добрый Вадбольский. – А не любить его не могу. Кабы он был в такой передрыге, как я ныне, ей-ей, вырвал бы его из беды, хотя бы мне стоило жизни.

Солдаты переговаривали также промеж себя:

– Хорошо, братцы, что мы его скоро отпустили. Пожалуй, разом налетел бы какой мастер: цап-царап под военный артикул да и к ручке Томилы. Не посмотрят, что отнял русское знамя у шведа и спас нашего князя. Ау, братцы!

Ударили сбор; полки построились в лощине у самой мызы. «Фельдмаршал, проезжая их, изъявлял офицерам и рядовым благодарность за их усердие и храбрость, обнадеживал всех милостию и наградою царского величества; тела же храбрых полковников, убитых в сражении: Никиты Ивановича Полуек-

това, Семена Ивановича Кропотова и Юрья Степановича Лимы, также офицеров и рядовых, велел в присутствии своем предать с достойною честью погребению»[8].

В боковом кармане мундира у Полуектова нашли завещание: оно было отнесено к фельдмаршалу, а этот передал его князю Вадбольскому, как человеку, ближайшему к покойному завещателю. Когда тайна Кропотова была прочтена, князь сильно упрекал себя, что накануне так бесчеловечно смеялся над его предчувствиями. Трудно было исторгнуть слезы у Вадбольского, но теперь, прощаясь с товарищем последним целованием, он горько зарыдал.

Тела трех храбрых полковников, убитых в гуммельсгофском сражении, преданы земле на том самом месте, которое завоевал для них герой этого дня. Оно тогда ж обделано дерном; на нем поставлены камень и крест. И доныне, посреди гуммельсгофской горы, зеленеет холм, скрывающий благородный прах; но камня и креста давно уже нет на нем.

Глава третья

Тот же полдень в другом виде

*...И слабостями людскими
Не надобно пренебрегать:
Во время, в пору нужно знать
Лишь пользоваться ими.*
Аноним

Неподалеку от Гельмета, за изгибом ручья Тарваста, в уклоне берега его, лицом к полдню, врыта была закопченная хижина. Будто крот из норы своей, выглядывала она из-под дерна, служившего ей крышею. Ветки дерев, вкравшись корнями в ее щели, укунопатили ее со всех сторон. Трубы в ней не было; выходом же дыму служили дверь и узкое окно. Большой камень лежал у хижины вместо скамейки. Вблизи ее сочился родник и спалзывал между камешков в ручей Тарваст.

С незапамятных времен хижина эта была родовым имением нищеты, передававшей ее в наследство нищете без судов, без актов и пошлин. Ныне принадлежала она бабке Ганне, как звали ее в округе по ремеслу ее; не одна

сотня людей вошла в мир через ее руки. Но как в мире этом все подлежит забвению, еще более человек, в котором перестали иметь нужду, то и Ганне, прежде жившая в достатке и всеми уважаемая, ныне хилая, была забыта и кое-как перебивалась подаянием. В обладании ее дворцом был половинщиком мальчик, внук ее. Чтобы скорее ознакомить читателя с этими лицами, скажем, что Ганне была одна из старух, которые в роковой для Густава вечер поджидали своего посланного у вяза с тремя соснами, внук был рыжеволосый Мартышка.

На дворе чуть брезжилось, а в хижине слышался уже говор. Дверь, растворенная настежь от духоты, пропускала в нее слабый свет занимавшегося утра. В углу, на кровати из нескольких досок, положенных на четырех камнях и пересыпанных излежавшеюся соломой, сидела хозяйка. Безобразие старости выказывалось на ней теперь сильнее, потому что шея, сморщенная, как подбородок индейского петуха, была открыта. В другом углу, на соломе, постланной просто на земле, возился Мартышка: то ложился он, то вставал опять,

то, сидя, дремал. Глаза его были мутны от бессонницы; на лице изображалось беспокойство. Старуха, заправляя под платок хлопки седых волос, бормотала сквозь зубы утреннюю молитву и между тем бросала сердитые взгляды на товарища.

– Аль ты меня съесть хочешь? – сказал злой мальчик, передразнивая ее.

– Авита Иуммаль! (Господи помилуй!) – проворчала старуха. – Нелегкое держало тебя ныне в замке; целую ночь напролет шатался.

– Чтобы тебе самой нелегким поперхнуться! Разве ты не знаешь, что московиты и татары будут ныне сюда?

– Татары! Московиты!.. А нам какая до них забота? Чай, и им до нас дела не будет. Придут да уйдут, как льдины в полую воду. В избушке нашей не проживятся и выеденным яйцом.

Злая насмешка выползла из сердца Мартына и блеснула в глазах его.

– Сказывают, – перебил он с коварною улыбкой, – что московиты, лакомые до красоток, увозят их с собою на свою сторону: берегись и ты, любушка! хе-хе-хе!

– Эх, Мартын! грех тебе ругаться над старостью: Господь не даст тебе долгого века. Пришибет, уж пришибет тебя и за то, что моришь меня с голоду по целым суткам. (Старуха постучала сухим кулаком по доске своей кровати.) Смотри, чтобы твоих голубушек в кубышке не отыскали! Перекладывай с места на место, а врагу достанутся. (Мальчик задумался.) Сама не возьму, не притронусь, а укажу, укажу... чтоб убил меня дедушка Перкун[9], коли я лгу!..

У мальчика глаза разгорелись и запрыгали. Он вскочил с земли, схватил лежавший подле него булыжник и, подняв руку на старуху, закричал:

– Попытайся, попытайся-ка; тут тебе и дух вон!

– Что ты делаешь, проклятое семя? – вскричала женщина, вошедшая в избу так тихо, как тень вечерняя. Взглянув на пришедшую, мальчик обомлел и выпустил камень из рук.

– Ты это, Елисавета Трейман? – спросила старушка с радостным лицом. – Голос-ат твой слышу, а глазами плохо тебя смекаю.

– Я, бабка Ганне! – отвечала Ильза, поцело-

вав старушку в лоб, села возле нее на кровать, развязала котомку, бывшую у ней за плечами, и вынула кадушечку с маслом, мягкий ржаной хлеб и бутылку с водкой. – Вот тебе и гостинец, отвесть душку.

Старушка дрожащими иссохшими руками схватилась за подарки, не зная, за который прежде приняться; потом бросилась было целовать руку у маркитантши.

– Ну, что нового, бабка Ганне? – продолжала Ильза, отняв у ней руку.

– Нового, нового, мать моя? Дай, Господи, мне память! – сказала голодная старуха, вынув с трудом из стены заржавленный нож и подав его маркитантше, чтобы она отрезала ей хлеба. – Да, у скотника в Пебо отелилась корова бычком о двух головах.

– Э, бабка, это случилось в запрошлом лете.

– А мне кажись, в прошлом месяце. Ахти, мать моя, как времечко-то летит! Постой же, вот тебе новинка горяченькая. Знаешь девку Лельку, что на краю деревни живет?

– Знаю, ну что ж?

Прислонившись к уху гостьи, старушка шепотом проговорила:

– К ней летает по ночам огненный змей...

Ильза махнула рукой в знак нетерпения и обратилась к мальчику, все еще неподвижно стоявшему на одном месте, как будто пригвожден к нему был суровым взором матери.

– К тебе, сынок баронский, чай, вести ползут свыше? Что слышно в ваших краях?

Приосанясь, отвечал Мартын:

– По крепкому наказу твоему подбирать все, что простачки роняют, я наполнил тебе со вчерашнего дня мешочек вестей. Придумай сама, на что они тебе годятся.

– Развязывай, малый, да смотри, ни одной нечистой порошинки!

– Вот видишь: вчера, когда бароны с кучерами высвободили своих лошадей из путов, в которые мы, с дядею Фрицем, их загнали; когда двуногие гости баронессыны ускакали на четвероногих, поднялась в замке пыль столбом. Выкопали из кладовых заржавленные пушки, вычистили их песочком, расставили в развалинах, против господского дома, против дороги в Гуммель, роздали дворовым и крестьянам ружья, пистолеты, кинжалы, большие, большие шпаги, которые только двум с

трудом поднять. Баронесса говорила им, бог весть что, о короле, о любви к отечеству, о преданности к господскому дому; а новобранные, вместо всего этого, требовали вина. Правду сказать, многие сделали побоище прежде настоящего сражения, так что вынуждены были отобрать у них оружия и с трудом могли унять их воинский жар. Воротились в Гельмет многие студенты и дворяне, как будто для того, чтобы опорожнить недопитую бутылку, и вызвались защищать его, пока голова будет держаться на плечах. С вечера расставили часовых по всем дорогам: теперь и мышонку не пробежать в замок. Слышишь, как мяучат они, словно черт их давит? Давай-ка, думал я, обманем этих драбантов, как обманул Красный нос маленького шведского генерала, которому и от меня досталась порядочная закуска; посмотрим, что делается в крепости. Было близко к часу духов, крики становились реже. Пополз я на брюхе оврагом, кустами, через лазейку под ограду и очутился в синели, у амтманова окошка. Ни одна бешеная собака меня не заметила. Вижу, окно раскрыто и огонек светит. Слышу и голос

амтмана. «Благодарю, – сказал он, – за гостинец: только напрасно, право напрасно убытились. Вперед, смотрите, этого не делайте». А я себе на ус: где заказывают да принимают, там примут и в другой раз.

– Полно орехи щелкать; рассказывай дело, – сказала сердито Ильза.

Мартын, заметя, что шуточками не угодить матери, продолжал просто:

– «Вот видите, – говорил амтман, – таких добрых госпож, как наша баронесса, под землю искать надо. Она прощает вам вашу глупость, принимает вас к себе в верховые, по-прежнему, и позволяет малому жениться на твоей дочери, лишь бы вы ей сослужили теперь службу». Потом стал он говорить что-то шепотом, так что мне расслушать нельзя было. «Ради за нее голову положить!» – отвечали два голоса. Голоса были знакомые, а чьи – вдруг разобрать я не мог. Немного погодя застучали ключами и вышли из дому с фонарем амтман, да – кто еще? Как бы ты смекала? – скотник, бывший кастелян Готлиб и товарищ его, пастух Арнольд.

– Может ли статья? Их ли ты видел?

– Их или людей во плоти и образе Готлиба и Арнольда. Я сам диву дался. Пошли они по дорожке, прямо к кладовой, что в саду. Прыг, прыг и я за ними между кустами. Отперли кладовую и выкатили оттуда несколько бочонков. «Поосторожнее с огнем!» – говорил амтман.

– С огнем? – вскричала Ильза, вдохновенная необыкновенною догадкой. – Это были, наверно, бочонки с порохом. Злодейка! Она хочет подорвать Паткуля, Шереметева, русских! Нет, этому не бывать, не бывать, говорю... пока в Елисавете Трейман есть капля крови для мщенья, пока блаженствует рингенский асмодей[10].

– Что с малым сделалось, – сказала старуха, – не дурману ли он объелся, что выпучил так белки свои?

В самом деле, Мартын повел вокруг себя дикими глазами и, повторив раза два: «Подорвать! подорвать!» – бросился вон из двери.

С бешенством посмотрела маркитантша вслед сыну, но след его уже простыл.

«Негодяй! – думала она. – Верно, боится, чтобы вместе с замком не взлетели на воздух

любезные денежки его. Иначе не может быть! или он не сын отца своего». Догадываясь также, что Паткулю предстоит в Гельмете опасность, если победа окажется за русских и он явится к баронессе вследствие обещания своего, Ильза ощупью хваталась за разные способы помочь этой беде. Большая часть средств по обстоятельствам не годилась. Думать да гадать, и наконец она придумала: не теряя времени, отправиться с бабкою Ганне в замок, откуда ей, кстати, надо было выпроводить слепца и доставить его к Вольдемару и где надеялась подробнее разведать о замыслах баронессы через Аделаиду Горнгаузен, которой она некогда предсказывала суженого. Как рассчитано, так и сделано.

Гарнизон гелеметский был врасплох застигнут нашими посетительницами. Начальники и солдаты, вероятно после сильного ночного сопротивления Морфею[11], заключили с ним перемирие: пушкари исправно храпели у своих орудий; стражи в отводных пикетах около замка, зевая, перекликались. Караульный у подъемного моста, через который надобно было проходить двум подругам,

Чухонец лет двадцати, обняв крепко мушкет и испустив глубокий вздох, вместо оклика, только что хотел, сидя, прислониться к перилам, чтобы в объятиях сна забыть все мирское, как почувствовал удар по руке. Это был камешек, искусно брошенный Ильзою с противного берега. Чухонец встрепенулся, изловил падший из рук мушкет, привстал, готовился взбудоражить весь страшный гелметский гарнизон; но Ганне успела отвести тревогу вопросом, нежно произнесенным:

– *Июрри, Июрри! йокс ма туллен?*[12]

Названный по имени и слыша родные слова, караульный ободрился, потер себе глаза и, выглядев, от кого шло воззвание, протяжно отвечал, усмехаясь:

– *Арра тулле, эллакенне!* (Нет, милочка, не приходи!) Мы сердиты: голова болит с похмелья; еще ж на карауле и за себя не ручаемся, чтобы не прожгли вас обеих одним поцелуем этого дурачка (он показал на мушкет). Бултых, бабка, в воду козьими ногами вверх; ступай принимать деток у водяных рожениц.

– Что ты, Юрген, душечка, в уме ли? – сказала старуха нежным голосом, вынув из-за

пазухи бутылку с водкою и показав ее чухонцу. – Голова болит? полечим.

– Оно так бы; чего лучше? – пробормотал караульный, почесывая себе голову. – Да кто с тобой?

– Я иду принимать... смекаешь? А это у меня школьница.

Убежденный чухонец опустил мост. Разумеется, что Харону[13] за пропуск заплачено несколькими добрыми глотками водки и столько же обещано на возвратном пути. Подруги очутились за углом господского двора, у первого окошка в сад. Оно отворено. Все тихо. Только неутомный сверчок, назло властолюбивой баронессе, тешился, распевая барски в ее палатах. Старушка легонько постучалась в раму раз, два и три; на стук этот выглянула из окна горничная Аделаиды. Переговорщицы были в связях, и переговоры не длились. Помешанная на гаданьях и волшебстве, дева была вне себя, услышав, что Ганне привела к ней ту самую ворожею, которая за год тому назад обещала ей суженого, богатого, знатного, пригожего, только что не с крыльшками, и теперь, отправляясь за тридевять

земель, мимоходом принесла ей вести, по приказанию благодетельной волшебницы, об ее суженом оберсте. Пудрамант[14] кое-как накинут на плеча, и посланница феи со своею подругою осторожно впущены задним крыльцом в спальню Аделаиды.

Ильза, вошедши в комнату, подняла сухощавую руку над головой Аделаиды, наклонившейся в глубоком смирении, и, не зная, какое приличное варварское имя дать волшебнице, нашлась, однако ж, следующим образом:

– Илья Муромец, – сказала она, – моя повелительница, живущая в Карелии, прислала меня сюда из особенной любви к тебе. Слушай. Русские будут ныне или завтра в Гельмете. Но не бойся и не огорчайся: судьба замка совершается, но вместе с этим должно совершиться твоему счастью. Так положено в совете высшем. В русском войске при фельдмаршале Шереметеве находится брат моей повелительницы, столетний карла. Как скоро он явится в замок, улови его, хватай, не выпуская из рук, щекочи и не давай ему покоя. Знай, он во злобе своей запер твое благополу-

чие. Измученный тобою, он должен будет привести сюда твоего суженого, оберста... оберста Балтазара фон Вердена, который несколько лет тому назад видел тебя во сне, умирает от любви по тебе, странствует везде, чтобы тебя отыскать; сражается, проливает кровь и бедствует, лишь бы получить руку и сердце твое. Полюби его: вы оба созданы друг для друга. Да будет союз ваш счастлив! Этого желает моя высокая повелительница.

В удостоверение своих слов Ильза взяла из рук старухи белый посох, вынула уголь из кармана, положила его к себе на голову и, очертя посохом круг по воздуху, произнесла таинственным, гробовым голосом:

– Клянусь в истине слов вами, духи невидимые! Если не сбудется, пусть клятва моя поразит мое тело и душу и род мой по девятое колено; пускай почернеет и истлеет, как уголь, этот посох, я и утроба моя.

Аделаида знала, что в простонародии нет ужаснее этой клятвы, внимала ей, дрожа, как в лихорадке, верила обещанию, но еще более верила своему сердцу.

В награду за добрую весть требовала Иль-

за: во-первых, послать горничную немедленно отыскать путь в спальню Бира, откуда вызвать слепца именем волшебницы Ильи Муромца и сказать ему, что сестра Ильза ждет его у вяза с тремя соснами; во-вторых, дать ей перо, чернильницу и бумагу и, в-третьих, прежде свидания с карлою, вручить по принадлежности письмо, которое напишет она генералу Паткулю, начальнику фон Вердена. Легковерная девушка должна была клясться хранить тайну.

В исполнении этого требования всего труднее было выучить имя, конечно халдейское или арабское, Ильи Муромца. Затруднение наконец преодолено, и немедленно приступлено к вызову слепца.

Между тем Ильза употребила всю хитрость свою, чтобы выведать, какие были намерения баронессы в случае, если русские придут в Гельмет.

– Она хочет защищать Гельмет, – сказала Аделаида, – но в случае неудачи останется дома, чтобы принять и угостить победителя.

– Но зачем же, – спросила Ильза, решаешь на последнее, – назначать ему заранее квартиру

на виселице? Хорошее угощение после такого приема не поможет.

– Я ей сделала тоже этот вопрос и по намекам ее догадалась, что виселица – дипломатическая ловушка; что по ней увидят только глупую месть женщины, а по защите Гельмета – дух геройский в теле женском; но что всю ее, лифляндку Зегевольд, узнают по следствиям. «Хитрость за хитрость. Время покажет, кто кого победит» – вот слова госпожи баронессы, как я их слышала; а что они значат...

– Все, все мне известно до подноготной, – перебила хитрая маркитантша, – я хотела только испытать тебя, дочь моя. Еще один вопрос. За несколько десятков миль отсюда слышала я вчера вечером, что дочь кастеляна Лота выходит замуж?

– И после того, – вскричала Аделаида, смотря на свою гостью с особенным уважением, – после этого придут мне сказать, что нет людей, награжденных чудесным даром предвидения! Только вчера вечером объявлена нам эта неожиданная новость, и ты в то ж время проведала о ней?

– О! мы знаем многое, что еще впереди, –

тайнственно произнесла Ильза и принялась писать на лоскутке бумаги немецкими буквами по-русски послание такого рода:

«Любезнейший мой каспадин Фишерлинг! здесь недобре твой, бочонок порох под дом, и ты умереть. Велеть твой поймать молодой, нынче женил, и отец девки. Смотреть, о! смотреть все: боярыня недобре твой. Здесь в замок девка Аделаида письмо это отдать: очень хочется замуж. Послать твой карла Борис Петрович. Мой сказал: сто лет карла, сыскать ей жених богат, полковник фон Верден. Пожалуй, хорошенько женить. – Верная Ильза».

– Отдай эту записку, чтобы никто не видел, – примолвила она, – и помни, что твое благополучие зависит от верного и благоразумного исполнения моего поручения. Будь счастлива.

С последним словом Ильза важно простерла длинную, сухощавую руку над головою правнучки седьмого лифляндского гермейстера, махнула Ганне, чтобы она за нею следовала, и, обернувшись в хитон свой, спешила к

месту свидания, назначенному для слепца. Сам Бир проводил Конрада из Торнео и сдал его маркитантше с рук на руки.

Как покорное дитя, старец шел всегда, куда его только звали именем друга. Ныне путево-
димый своею Антигоною[15], он ускорял ша-
ги, потому что каждый шаг приближал его к
единственному любимцу его сердца. Сначала
все было тихо вокруг них. Вдруг шум, подоб-
ный тому, когда огромная стая птиц летит на
ночлег, прорезал воздух.

– Что такое? – спросил слепец.

– Вдали к Гуммелю мчится эскадрон швед-
ский, – отвечала Ильза.

Опять все утихло, и опять через несколько
времени послышался как бы подземный
гром, глухо прокатившийся.

– Это что такое? – спросил слепец.

– Туда ж несутся пушки шведские, – отве-
чала Ильза.

Снова нашла тишина, как в храме, где дав-
но кончилось богослужение, и вдруг раздался
в отдалении первый удар пушки.

– Война! битва! – произнес Конрад с глубо-
ким вздохом, торопясь вперед.

– Война! битва! – повторила его спутница с диким удовольствием. – Пусть дерутся, режутся; пусть сосут друг у друга кровь! и я потешусь на этом пиру.

Старец, казалось, не слышал этих слов; беспокойство надвинуло тень на лицо его.

– Где-то теперь мой Вольдемар? – сказал он, покачав головой. – Дни его начинают быть бурны. Он чаще покидает меня.

– Он у своего места; мы к нему идем, – отвечала Ильза. – Работай, друг! И я для тебя довольно поработала! Пора и награду!.. Мне Ринген, погибель злодея, его страдания; Вольдемару...

– Не отравляй устами порочными святой награды моего друга, – перебил Конрад, – не прикасайся к чистому венку его рукою, оскверненною злодеяниями. Ильза! ты не имела никогда родины.

Хохот был ответом ее; будто отголоски нечистого духа, он раздробился в роще, по которой они шли. Сильная стрельба покрыла адский хохот.

Вскоре поравнялись они с гуммельсгофскою горою, над которой качалось облако по-

рохового дыму. Обошед ее, путники остановились в одной из ближайших к ней рощей, откуда можно было видеть все, что происходило в лощине.

– Боже! – вскрикнула Ильза голосом отчаяния, протянув шею. – Они бегут!

– Кто? – спросил с тревожным духом слепец.

– Русские бегут! нет спасения! – продолжала Ильза, ломая себе руки. – Злодей будет торжествовать! злодей заочно насмеется надо мной!.. Оставайся ты, слепец, один: меня оставило же Провидение! Что мне до бедствий чужих? Я в няньки не нанималась к тебе. Иду – буду сама действовать! на что мне помощь русских, Паткуля; на что мне умолять безжалостную судьбу? Она потекает злодеям. Да, ей весело, любо!

Глаза Ильзы ужасно прыгали; отчаяние перехватывало ее слова. Не слушая молений старца, она бросилась к гуммельсгофской горе, целиком, сквозь терновые кусты, по острым камням.

– Ильза, Ильза, где ты? – спрашивал жалобно слепец, ловя в воздухе предмет, на кото-

рый мог бы опереться. – Никто не слышит меня: я один в пустыне. Один?.. а Господь Бог мой?.. Он со мной и меня не покинет! – продолжал Конрад и, преклонив голову на грудь, погрузился в моление.

Ильза явилась на горе, в изодранной одежде, вся исцарапанная и израненная шиповником, без повязки, с растрепанными по плечам волосами – прямо у боку Вольдемара. Дорогою бешенство ее несколько поутихло.

– Вольдемар! – сказала она голосом, который, казалось, выходил из могилы. – Мы погибаем!

Вольдемар и без того был бледен, как смерть; слова, подле него произнесенные, заставили его затрепетать. С ужасом оглянулся он и окаменел, увидев маркитантшу.

– Что это за женщина? – спросил Шлиппенбах, заметив ее.

– Сумасшедшая чухонская девка. Я с нею скоро справлюсь, – отвечал Вольдемар, повернул свою лошадь и махнул Ильзе, чтобы она за ним следовала. Долго думал он, что предпринять, отведя ее за мельницу, откуда не могли они быть видимы генерал-вахтмей-

стером. Счастливая мысль блеснула наконец в его голове. – Не спрашиваю, откуда ты в таком виде, – сказал он маркитантше, – довольно; мы погибаем; но ты можешь спасти русских, меня и себя.

– Спасти?.. говори, что нужно сделать. Вели идти прямо в огонь, и ты меня там увидишь. Мне все равно умирать. Буду убита, ты отмстишь за меня. Клянись всем, что для тебя дорого, ты отмстишь тогда.

– Клянусь!

– Приказывай.

– Видишь, конь не имеет седока: излови его и лети на нем прямо в ряды шведские, промчись только мимо них, как дух, и прониеси весть, что главная армия русских идет в обход от Пекгофа.

Ильза на коне; она мчится, как вихрь, в пыл самой битвы; она сеет ужасную весть по рядам шведским. Мы видели, какое действие произвела между ними эта весть. Вдали, на противном возвышении, Ильза свидетельница поражения шведов. Ринген и месть опять в сердце ее; опять зажглись ее черные очи адскою радостью. В торжестве она забывает

свои раны, но вспоминает о слепце, которого оставила одного. «Лошади бегущих и поражающих могут истоптать его!» – думает она; скачет обратно на гummельсгофскую гору, бросает свою лошадь и, как мы также видели, вырывает Вольдемара из толпы русских, его обступившей.

Свидание последнего со слепцом было самое радостное. Мир, опустевший для Конрада, снова наполнился и оживился. Все трое принесли благодарение Вышнему, каждый от души, более или менее чистой. Вольдемар то погружался в сладкие думы, положив голову на колена слепца, который в это время иссохшими руками перебирал его кудри; то вставал, с восторгом прислушиваясь к отголоскам торжественных звуков русских; то изъяснял свою благодарность Ильзе. Казалось, он в эти минуты блаженства хотел бы весь мир прижать к своему сердцу, как друга.

Отдохнув несколько часов, музыканты поплелись по направлению к Менцену; Ильза провожала их до сооргофского леса, где она оставила свою походную тележку у тамошнего угольника.

Глава четвертая

Комедия и трагедия

Споркина

Ах! я охотница большая до комедий.

Свахина

А я до жалких драм.

Чванова

А я так до трагедий.

Комедия «Говорун», Хмельницкий

Не стану описанием осады Гельмета утомлять читателя. Скажу только, что крестьяне-воины при первом пушечном выстреле разбежались; но баронесса Зегевольд и оба Траутфеттера с несколькими десятками лифляндских офицеров, помещиков и студентов и едва ли с тысячью солдат, привлеченных к последнему оставшемуся знамени, все сделали, что могли только честь, мужество, искусство и, прибавить надо, любовь двух братьев-соперников. Между тем как женщины, собравшись в одну комнату, наполняли ее стенаниями или в немом отчаянии молились, ожидая ежеминутно конца жизни; меж-

ду тем как Бир под свистом пуль переносил в пещеру свой кабинет натуральной истории, своих греков и римлян и амтман Шнурбаух выводил экипаж за сад к водяной мельнице, баронесса в амазонском платье старалась всем распорядиться, везде присутствовала и всех ободряла. Наконец, видя невозможность сопротивляться отряду Паткуля и страшась не за себя – за честь и жизнь своей дочери, она решилась отправить Луизу под защитою ее жениха. Русские с ужасным криком перелезали через палисады, окружавшие замок. Один из студентов, преданных дому Зегевольдов, послан был в ряды сражавшихся для вызова Адольфа и вместе для переговоров с начальником русским о сдаче замка на таких условиях, чтобы позволено было дочери баронессиной выехать из него безопасно, сама же владетельница замка предавалась великодушию победителя.

Предводитель осаждающих на этих условиях приказал остановить наступательные действия и не занимать дороги к Пернову.

– Иди, спасай Луизу, пока еще время, – кричал Густав своему брату, сплачивая у главно-

го входа в замок крепкую ограду из оставшихся при нем солдат. – Спасай свою невесту.

– Пускай бегут женщины! – возразил с твердостью Адольф. – Мое место здесь, возле тебя, пока смерть не выбила оружия из рук наших.

– Видишь, что все потеряно.

– Все, милый Густав! Что скажет о нас король?

– Король скажет, что лифляндцы сражались за него честно до последней возможности... Но Луиза?.. но... твоя невеста? Дай ей, по крайней мере, знать, чтобы она бежала.

– Сделай это ты.

– Когда бы мог! Тебя требуют. Слышишь? крик женщины!.. Это она. Ради бога, беги, спасай ее. Разве ты хочешь, чтобы татары наложили на нее руки?

В самом деле послышался крик женщины: несколько русских солдат всунули уже головы в окошки дома и вглядывались, какую добычею выгоднее воспользоваться. Адольф, забыв все на свете, поспешил, куда его призывали. Баронессу застал он на террасе; Луизу, полумертвую, несли на руках служители.

– Спаси дочь мою! – закричала баронесса Адольфу умоляющим голосом. – Поручаю ее тебе, сдаю на твои руки, как будущую твою супругу. Не оставь ее; может быть, завтра у ней не станет матери.

Луиза открыла глаза.

– Вот тебе муж, – продолжала Зегевольд, поцеловав с нежностью дочь. – Люби его и будь счастлива. Благословляю вас теперь на этом месте, как бы я благословила вас в храме Бога живаго.

Луиза, пришед в себя, хотела говорить – не могла... казалось, искала кого-то глазами, рыдая, бросилась на грудь матери, потом на руки Бира, и, увлеченная им и Адольфом, отнесена через сад к мельничной плотине, где ожидала их карета, запряженная четырьмя бойкими лошадьми. Кое-как посадили в нее Луизу; Адольф и Бир сели по бокам ее. Экипаж помчался по дороге к Пернову: он должен был, где окажется возможность, повернуть в Ринген, где поблизости баронесса имела мызу.

Между тем у главного входа в замок началось вновь сражение. Несмотря на то что ба-

ронесса махала из окна платком, давая знать, чтобы прекратили неровный бой, и приказала выставить над домом флаг в знак покорности, Густав не хотел никого слушаться, не сдавался в плен с ничтожным отрядом своим и, казалось, искал смерти. Раненный в плечо и ногу, он не чувствовал боли. Почти все товарищи его пали или сдались. Наконец он окружен со всех сторон русскими, которые, как заметно было, старались взять его в плен, сберегая его жизнь. Командовавший ими офицер пробрался к нему с словами любви и мира. Густав ничему не внимал: отчаянным ударом палаша выбил он шпагу из рук его, худо приготовившегося.

– Густав! – закричал русский офицер. – Именем Луизы остановись. (Будто околдованный этими словами, Густав опустил руку.) Видишь, храбрые твои товарищи сдаются в плен.

– Именем ее бери и меня, – вскричал Густав, бросив свой палаш. – Не спрашиваю, кто ты, что мне нужды до того! Ты должен быть Паткуль; но я не Паткулю сдаюсь! Теперь влечи меня за собою в Московию, на край света,

куда хочешь – я твой пленник!

Паткуль спешил его успокоить, сколько позволяли обстоятельства, и, зная, как тяжело было бы несчастному Густаву оставаться в Гельмете, велел отправить его под верным прикрытием на мызу господина Блументроста, где он мог найти утешение добрых людей и попечение хорошего медика. Сам же отправился к баронессе, чтобы по форме принять из собственных рук ее ключи от Гельмета.

– Вы приготовили мне квартиру слишком высоко и слишком воздушную; признаюсь вам, боюсь головокружения, – сказал Паткуль дипломатке, вступив с многочисленной свитой в комнату, где она ожидала его. – Но я не пришел мстить вам за вашу насмешку; я пришел только выполнить слово русского генерала, назначившего в вашем доме свою квартиру на нынешний и завтрашний день, и еще, – прибавил он с усмешкою, – выполнить обещание доктора Зибенбюргера: доставить к вам Паткуля живьем. Кажется, я точен. Слишком постыдно мне было бы мстить женщине; я веду войну с королем вашим, и с ним только хочу иметь дело.

Баронесса, преклонив голову, отвечала с притворным смирением:

– Вверяю свою участь и участь Гельмета великодушную победителя.

– Будьте спокойны, – сказал Паткуль; потом присовокупил по-французски, обратившись к офицеру, стоявшему в уважительном положении недалеко от него, и указав ему на солдат, вломившихся было в дом: – Господин полковник Дюмон! рассейте эту сволочь и поставьте у всех входов стражу с крепким наказом, что за малейшую обиду кому бы то ни было из обитателей Гельмета мне будут отвечать головою. Помнить, что почтеннейшая баронесса не перестала быть хозяйкою дома и что здесь моя квартира! Я уверен, что вы успокоите дам с тем благородством, которое вашей нации и особенно вам так сродно.

Дюмон поспешил было исполнить волю своего начальника; но Паткуль, остановив его, сказал ему по-русски:

– Не забудьте, полковник, что мы имеем дело не с женщиною, а с бесом. Хозяйка в необыкновенном духе смирения: это худой знак! Прикажите как можно быть осторожнее

и не дремать!

В самом деле, казалось, великодушные Паткуля победило дипломатку и вражда забыта. Вскоре завязался между ними разговор живой и остроумный; слушая их, можно было думать, что они продолжают вчерашнюю беседу, так нечаянно прерванную. Дав пищу уму, не заставили и желудок голодать; кстати, и обед вчерашний пригодился. Сытно ели, хорошо запивали, обещались так же отдохнуть и пожалели, что бедный генерал-вахтмейстер, любивший лакомый кус и доброе вино, начал и кончил свои дела натоцак. Этому замечанию всех более смеялась баронесса.

– Зато вы, генерал, – говорила она Паткулю, – исполнили обет нашего пилигрима, захромавшего на пути к хорошему столу и к храму славы: вам, конечно, сладко будет и уснуть на миртах и лаврах.

За столом, подле Паткуля, сидели с одной стороны хозяйка, с другой Аделаида Горнгаузен. Последняя, видимо, искала этого почетного места. Победив свою сентиментальную робость, она решилась во что бы ни стало вручить своему соседу роковое послание, по-

тому что начинало смеркаться и день ускользал, может быть, с ее счастьем. Паткуль заметил ее особенное к нему внимание, слышал даже, что его легонько толкало женское колено, что на ногу его наступила ножка.

«Чем не шутит черт, превратясь в амура! – думал он. – Соседка ведет на меня атаку по форме. Ага! да вот и цидулка[16] пала ко мне в руку. Конечно, назначение места свидания!»

– Будет прекрасный вечер! – сказала баронесса.

– Да, – отвечал Паткуль, обернувшись к окну, будто рассматривая небесные светила, – звезда любви восходит, отогнав от себя все облака. Она сулит нам удовольствие; но, признаюсь вам, приятнее наслаждаться ее светом из своей комнаты, нежели под открытым небом, в нынешние росистые ночи.

Аделаида покраснела. Паткуль начал особенно любезничать с ней; но, к удивлению его, соседка вдруг обернула лист.

– Знаете ли вы Илью Муромца? – спросила она.

Это роковое имя, этот пароль, известный

только преданнейшим его агентам, обдал его холодом. Куда девалось его остроумие? До окончания стола он сидел как на иглах. Загадка разрешилась после обеда, когда он, удалясь в другую комнату, развернул врученную ему так осторожно записку и прочел в ней предостережение Ильзы. Как обязательно умел он отблагодарить Аделаиду! При ней же тотчас послано было за карлой Шереметева.

– Еще раз спасен я от гибели! – говорил он наедине Дюмону. – Этому нельзя иначе быть: час мой не приспел! Знаете ли, полковник, – продолжал он таинственным голосом, показывая ему ладонь правой руки своей, – знаете ли, что судьба моя здесь давно прочитана мне одним астрологом так ясно, как мы читаем дороги на ландкартах? Вы смеетесь! Верьте, что я не шутя говорю. Надо только быть посвящену в астрологические тайны, чтоб уметь различать бредни от истины. Вот, например, как не смеяться было мне предсказанию прусского тайного советника Ильгена, который по моей ладони пророчил мне насильственную смерть!.. Знаю, звезда моя должна пасть, но не здесь, в Лифляндии. Ви-

дите черточки: одна, две, три, четыре, пять... потом сближение двух венцов, и наконец... Но что будет, то будет! По крайней мере, я проживу довольно, чтобы отомстить Карлу и не умереть в истории.

С трудом мог Дюмон поверить, чтобы Паткуль, хитрый, благоразумный дипломат, храбрый полководец и человек просвещенный, мог до такой степени запутать свой рас­судок в астрологических бреднях; но, как вежливый француз, согласился с ним наконец, что астрология есть наука, напрасно пренебрегаемая людьми нового века.

Допросили молодого служителя, который за будущие заслуги успел только сделаться мужем пригожей Лотхен: грозили увезть его подругу в Московию, если он не откроет заговора. Чего не выпытали бы телесные муки, то высказала любовь. В самую полночь, когда все улеглись бы спать, баронесса должна была на веревочной лестнице спуститься из окна, бежать через сад, там переодеться крестьянином и под этим видом достигнуть ближайшей рощи, где должен был ожидать ее проводник с надежным конем; между тем

огонь, по проведенной неприметно пороховой дорожке, пробежав сквозь разбитое в подвале окно, коснулся бы нескольких бочонков с порохом. Из рожи баронесса видела бы взрыв дома и свое торжество. Хороши расчеты, но человеческие!

Разумеется, что счастливым соперником ее приняты были все меры к уничтожению этого замысла; но дипломатке не показывали, что тайна открыта. Русские офицеры, собравшиеся в замке, и хозяйка его, как давно знакомые, как приятели, беседовали и шутили по-прежнему. К умножению общего веселия, прибыл и карла Шереметева. С приходом его в глазах Аделаиды все закружилось и запрыгало: она сама дрожала от страха и чувства близкого счастья.

– Туда ли я попал, братцы? – сказал карла, кланяясь умильно и важно на все стороны. – Меня звали в главную квартиру генерала русского; а здесь, эге! вижу я, один иностранец между вами. Не мигай мне, Иван Ринальдovich, на молодиц: дескать, забыл ты немецкое учтивство. Понабрались и мы его, около немцев-русских и русских-немцев с утра до ночи.

О! мы знаем политику: умеем не хуже каспадина обриста фон Верден улизнуть назад, когда жарконько бывает в иной час; зато на приклад в таких хоромцах, где есть фрау фон и фрейлейн фон, постоим за себя.

Здесь карла охорошил, поправил свой парик, расшаркался и, как вежливый кавалер, подошел к руке баронессы и потом Аделаиды. Первая от души смеялась, смотря на эту чудную и, как видно было по глазам его, умную фигуру, и охотно сама его поцеловала в лоб; вторая, вместе с поцелуем, задержала его и, краснея от стыда, который, однако ж, побеждало в ней желание счастья, полегоньку начала увлекать его в другую комнату. Он – выпутываться из рук ее; она – еще более его удерживать.

– Что ты делаешь? – спросила с сердцем баронесса.

– Мне нужно сказать ему слово, – отвечала решительно Аделаида, боявшаяся упустить в карле свою судьбу.

– Барышня желает поговорить с тобою в другой комнате, – сказал Паткуль по-русски, – невежливо не исполнить ее желания.

Со страхом пополам решился Голиаф от-
даться в плен своей Цирцее[17], которая, осто-
рожно притворив за собою дверь и не выпус-
кая его из рук, села на кресла и посадила его к
себе на колена.

– Покуда не худо! – говорил карла, покачи-
ваясь на коленях Аделаиды. – Что-то будет да-
лее? Жаль, что коню не по зубам корм.

Сначала все шло хорошо. Аделаида упра-
шивала, умоляла его жалобным голосом, что-
бы он отпустил к ней ее суженого, целовала
его с нежностью, целовала даже его руки; но
когда увидела, что лукавый карла не хотел
понимать этих красноречивых выражений и
не думал выполнить волю благодетельной
волшебницы, тогда, озлобясь, она решитель-
но стала требовать у него жениха, фон Верде-
на, щекотала, щипала малютку немилосердо.
Бедный мученик защищался сколько мог, но
потом, выбившись из сил, начал кричать не
на шутку и, когда на крик его отворили дверь,
возопил жалобным голосом:

– Помогите, родные мои, помогите! Спроси-
те эту русалку, чего она хочет? Уф! она меня
замучила, защекотала, защипала. Батюшки

мои! да, видно, в здешнем краю нет вовсе мужчин. Пошлите хоть за Верденом, которого она то и дело поминает: малой дюжий, ражий, не мне чета!

Все, не выключая баронессы, хохотали до слез, смотря на эту сцену. (За тайну было объявлено многим из присутствовавших, что воспитанница ее помешана на карлах, рыцарях и волшебниках.)

Комедия была искусно приготовлена. Доложили о прибытии фон Вердена, и сцена переменилась. При этом магическом слове карла был выпущен из плена, и Аделаида поспешила исправить свой туалет, несколько поизмятый упорством Голиафа. Между тем Паткуль вытвердил фон Вердену его роль. Но кто бы ожидать мог? При появлении отрасли седьмого лифляндского гермейстера у нашего Марса разгорелись глаза, как у кота на лакомый кусок. Он признался, что никто не *приходил* ему так *по нраву* и что он непременно завтра же возьмет ее к себе в обоз.

– Помните, господин полковник! – сказал Паткуль. – Она хотя и дальняя мне родственница, но все-таки родственница, и вы не ина-

че получите ее, как в церкви.

– А почему ж и не так, ваше превосходительство? – говорил фон Верден, лорнируя глазом свою красавицу. – Почему ж и не так? Когда-нибудь мне жениться надо; случай предстоит удобный: лучше теперь, чем позже, и тем лучше, что я вступаю в родство вашего превосходительства.

Представили суженого невесте. Жениху считали под пятьдесят, но он был свеж, румян и статен, к тому ж оберстер, ждал с часу на час генеральства, которое едва ли не равнялось с контурством[18]; страдал, резался за нее несколько лет и, вероятно, оттого и состарился, что слишком подвизался в трудах за нее; вдобавок, оставленный с Аделаидой наедине, объяснился ей в любви с коленопреклонением, как следует благородному рыцарю. Достоинства эти оценены. Рыцарь осчастливлен вздохом и признанием во взаимной любви. Оставалось веселым пирком да и за свадебку; но Аделаида хотела еще испытать своего жениха и не иначе решила идти с ним в храм Гименея, как тогда, когда Марс[19] вложит меч в ножны свои. Такая отсрочка,

несносная, особенно для военного, который любит все делать на марше, пахнула зимним холодом на счастливого любовника, и с этого рокового объявления он уже только из угождения своему начальнику играл роль страстного рыцаря.

– Теперь, – сказал Паткуль иронически, – мы отпразднуем сговор достойным образом. Почтеннейшая хозяйка была так любезна, что приготовила нам чудесный фейерверк. Мы не будем дожидаться полуночи, не допустим какого-нибудь слугу зажечь его, но, как военные, сами исполним эту обязанность. (Баронесса побледнела.) О! стоит его посмотреть; только издали эффект будет сильнее. Программа этой потехи: здешний замок и с ним ваш покорнейший слуга – на воздух.

– Господин генерал-кригскомиссар! Я только теперь признаю вас таким, – произнесла баронесса с видимым смирением. – Вы победили меня. Горжусь, по крайней мере, тем, что, имев дело с могучим царем Алексеевичем и умнейшим министром нашего века, едва не разрушила побед одного и смелой политики другого. Надеюсь, что для изображения

этой борьбы история уделит одну страничку лифляндке Зегевольд.

— Покуда скажу вам, госпожа баронесса, что сороке нейдет мешаться там, где дерутся коршуны. Впрочем, будьте спокойны: Паткюлю постыдно мстить женщине. Это самое избавляет вас от качель, которые мне приготовили. Как бы то ни было, дело кончено. В доказательство же искреннего к вам расположения предлагаю вам немедленно выехать из Гельмета и взять с собою кого и что почтете нужным. Охранная стража проводит вас до черты, нами не занятой. Предупреждаю вас, что завтра утром замок ваш будет разграблен: добыча эта принадлежит солдату по праву победы.

Можно догадаться, что баронесса воспользовалась таким великодушным предложением, дав себе слово не мешаться впредь ни в какие политические дела.

Через час после ее отъезда все уже спало в замке; только одни усталые стражи русские перекликались по временам на тех местах, которые вчера еще охраняли немцы и латыши. Так все на свете сменяется: великие и ма-

лые входят в него только на часовой караул. Все спало, сказал я; свет месяца, пригвожденного к голубому небу, как серебряный Оссианов[20] щит, переливался на волнующейся жатве и зелени лугов, охрусталенной густою росой; но вскоре и месяц, казалось, утратил свой блеск. Новый, красноватый свет разлился по земле, и кругом небосклона встали огненные столбы: это были зарева пожаров. Из тишины ночи поднялись вопли жителей, ограбленных, лишенных крова и тысячами забираемых в плен. Таков был еще способ русских воевать, или, лучше сказать, такова была политика их, делавшая из завоеванного края степь, чтобы лишить в нем неприятеля средств содержать себя, – жестокая политика, извиняемая только временем!

– Подожди еще гореть ты, Ринген! подожди, пока месть Елисаветы Трейман не погуляла в тебе! – говорила Ильза, приближаясь вторично в один и тот же день к Гельмету. Поутру она была пешая: теперь катила на своей походной тележке, далеко упреждавшей о себе стуком по битой дороге. Стражи окликнули маркитантшу; но, узнав любимицу

свою, тотчас ее пропустили и доложили ей именем Мурзенки, что он, взяв проводника, поскакал опустошать окрестные замки и что к утру ждет ее в Рингене.

В виду стояла хижина бабки Ганне. Отправляясь в поход против злейшего своего врага, не проститься с нею, может быть, прощанием вечным, почитала она за грех. Вздумано – сделано. Конь привязан к кусту, и маркигантша на пороге хижины. Дверь была отворена настежь; зарево пожаров вместе со светом месяца освещало вполне все предметы. Ильза переступила порог. Все было тихо гробовою тишиной; хоть бы вздох или дыхание сонного отозвались жизнью! На кровати лежала Ганне; она смотрела в оба глаза с кровавыми полосами вместо ресниц и улыбалась, как будто хотела говорить: «Юрген! Юрген! не пора ли мне к тебе?» На левом ее виске было большое темное пятно. Ильза подумала сначала, что это тень, отбрасываемая с потолка круглым предметом. Она подходит ближе, будит Ганне... но Ганне спит сном непробудным. Она берет ее за руку: рука – лед.

– Умереть ей когда-нибудь надо было, – говорит сама с собою Ильза, – но черное пятно на виске не тень. Злодейская рука ее убила!

Она смотрит на пол – роковой голыш у кровати; оглядывается – вдоль стены висит Мартын... Посинелое лицо, подкатившиеся под лоб глаза, рыжие волосы, дыбом вставшие, – все говорит о насильственной смерти. Крепкий сук воткнут в стену, и к нему привязана веревка. Нельзя сомневаться: он убил Ганне по какому-нибудь подозрению и после сам удавился. Русским не за что губить старушку и мальчика, живших в нищенской хижине.

– Сын разврата! – восклицает ожесточенная Ильза, не проронив ни одной слезинки, потому что слезы подавлены были камнем, стоявшим у сердца ее. – Ты умер настоящею своею смертью: тебе иначе и умереть не должно! Но зачем погубил ты эту несчастную?

Она бежит на ближайший пикет, берет из костра пылающую головню, упрашивает трех солдат идти за нею. Солдаты ей повинуются; один из них берет головню в руки.

– Видите ли этого злодея! – сказала она, приведя их в хижину. – Он убил свою бабушку и сам удавился.

Солдаты, привыкшие к ужасам смерти, с робостью отступили назад при виде мертвецов; но, вскоре ознакомившись с этим зрелищем, подошли к ним ближе.

– Черту баран! – закричал один, вглядываясь в мальчика.

– А, да это знакомец? – прибавил второй со смехом, светя головнею в лицо удавленника и опаливая у него волосы. – Ведашь, рыжий, бойкой мальчик, у которого Удалый из третьей роты отнял подле разломанной башни кувшин с мешочком, набитым серебряными копейками.

– Он и есть, – продолжал третий. – Диву дались, где он, окаянный, эку пропасть денег набрал. Хоть бы у боярина немецкого столько поживиться. Этакой добычи Удалому спать было не выспать.

– И то правду сказать, – перебил второй, – кабы мы с тобой не пришли на помощь, изъел бы его мальчишка зубами; вишь, и теперь скалит их, будто хочет укусить. На, ешь, соба-

ка!

Тут солдат ткнул головнею в зубы мальчику.

В каком-то безумном молчании Ильза смотрела на старушку; но, когда услышала, что солдаты ругаются над ее сыном, природное чувство не любви – нет! – но крови пробудилось в ней – и она оттолкнула рукой солдата, вооруженного головнею.

– Прочь! – он сын мой! – вскричала иступленная, вытащила клин, на котором висел удавленник, положила Мартына на землю, сбегала за своей тележкой и уложила его на нее.

– Куда ж везешь дитятку? – спросили солдаты.

– К отцу-сатане в гости! – отвечала она. – Теперь помогите мне похоронить старушку. Пускай же дом, в котором она жила, будет и по смерти ее домом. Не доставайся ж он никому в наследство.

Тут она просила солдат отнять два столбика, подпиравшие крышу; желание ее было выполнено, и в один миг вместо хижины остался только земляной, безобразный холм,

над которым кружился пыльный столб. Солдатам послышался запах серы; им чудилось, что кто-то закричал и застонал под землей, — и они, творя молитвы, спешили без оглядки на пикет.

Ильза, сев на свою лошадку и погнав ее по дороге в Ринген, запела протяжным похоронным напевом следующую старинную песню; к ней, по временам, примешивались вопли ограбленных, разносимые ветром:

*Отворяй, барон, ворота:
Едем в гости к тебе.
Высылай навстречу ты нам
Кастеляна с ключом,
Меченосца в латах златых,
Пажа, нес чтоб привет.
Отворяй, барон, ворота:
Едем в гости к тебе.
Ты задай на славу нам пир!
Вот как, скажут, барон
Угощает сына, жену.
Столько лет не видал!*

*Отворяй, барон, ворота:
Едем в гости к тебе.
Ты поставь на стол, у тебя
Что ни лучшего есть:*

*Свое сердце в желчи, в крови,
Очи милой своей.*

*Отвори, барон, ворота:
Едем в гости к тебе.*

Двухколесная тележка шумела по битой дороге; долго горело зарево пожаров; месяц глядел в открытые очи мертвеца; и раздавался в отдалении похоронный напев Ильзы.

Глава пятая

Приговор

*То было привиденье.
Враждебный дух, изникнувший из ада,
Чтобы смутить во мне святую веру!
Но мне, с мечом владыки моего,
Кто страшен? Нет, иду, зовет победа!
Пусть на меня весь ад вооружится:
Жив бог – моя надежда не смутится!
«Орлеанская дева», перевод Жуковско-
го*

Через несколько дней после Гуммельсгоф-ской битвы, в глухое ночное время, пробирались к стороне Менцена (русскими названного Черною мызою) слепец и его товарищ. С

самой роковой победы русских, избегая мести Шлиппенбаха, Вольдемар избирал это время для своего путешествия. Ночь была темная; но он знал хорошо местность и не боялся заплутаться. Весело и легко шел он, ведя одною рукою своего спутника, другою помахивая узловатым дубовым кистенем. Оставалось им до Менцена близ полумили; но путь их не туда был: за оврагом отделялась от большой дороги тропинка в леса. Там, под густою сенью их, в бедной хижине лесника, ожидало наших странников спокойное перепутье. Следующий день должен был их увидеть на мызе господина Блументроста, близ Долины мертвецов.

Слепец начал приостанавливаться.

– Что с тобою? – заботливо спросил его младший путник.

– Чудные видения обступили меня теперь, – отвечал Конрад. – Я видел край, доселе неведомый мне. Каменная зубчатая стена белелась на берегу реки; за стеною, на горе, рассыпаны были белокаменные палаты, с большими крыльцами, с теремами, с башенками, и множество храмов Божиих с золотыми вер-

хами в виде пылающих сердец; на крестах их теплился луч восходящего солнца, а крыши горели, подобно латам рыцаря; в храмах было зажжено множество свечей. Я слышал: в них пели что-то радостное; но то были песни неземные...

– Друг! – сказал Вольдемар, пожимая товарищу руку. – Ты видел мою родину.

При этом слове оба путника поникнули душою, как перед святынею. Молчал благоговейно слепец; молчал младший странник; слезы омочили его лицо, и сладостные видения друга перешли в его сердце вместе с надеждою, залетною гостьею, еще никогда так крепко не ластившеюся к нему.

Не заметил Вольдемар, как поднялась черная туча, как насунулась на них. Сделалась темь, хоть глаз выколи. И слепой и зрячий видели почти равно: оба вели друг друга, ощупывая дорогу ногами и посохом. Они подошли к оврагу и почти сползли в него. Вправо были кусты, в них мелькнул огонек, еще раз мелькнул и скрылся; черные тени ходили, поднимались и упали. «Что бы это значило? – думал Вольдемар. – Волк не сверкает так

глазами, ища добычи. Разбойников не слышать в Лифляндии. Может быть, нечистые бродят в полуночные часы?» Кровь у него потекла быстрее. Три раза перекрестился он, три раза прочел: *«Да воскреснет Бог и расточатся врази его!..»* – и успокоился. Выбравшись из оврага, он невольно оглянулся. Что ж? Таинственный огонек показался опять, вышел из кустов в овраг и следил его. Вольдемар от него по тропе в лес – он повернул за ним, но вдруг на новом повороте исчез. Бесстрашный в самых трудных и грозных случаях, когда имел дело с живыми людьми, гуслист оробел перед духами, которые его преследовали. Ему казалось, что его хватают сзади за плеча, что его кличут; увлекая старца, он торопил свои шаги, нередко спотыкался и читал про себя молитву.

Туча сдвинулась с полнеба, звезды заискрились, предметы несколько выступили из земли, и вход в лес означился. Вольдемар с трудом повернул шею, сжатую страхом: нигде уж не видать было огонька. Члены его развязались, грудь освободилась от тяжести, на ней лежавшей; ветерок повеял ему в лицо

прямо с востока, и сердце его освежилось. Смело вошел он в лес и через несколько минут очутился в хижине лесничего.

Дверь в нее, по обыкновению латышей, была отворена; лучина горела в светце и тускло освещала внутренность дымной избы, зажигая по временам на воздухе сажу, падавшую с закоптелого потолка. Сквозь дым, по избе расстилавшийся, можно было еще различить доску на двух пнях, заменявшую стол, на ней чашу с какою-то похлебкою, тут же валяную белую шапку и топор, раскиданную по земле посуду, корыто для корма свиней, в углу развалившуюся свинью с семьею новорожденных, а около стола самого хозяина-латыша, вероятно только что пришедшего с ночного дозора, и жену его. Оба подпарились древностию лет[21], распущенными по плечам волосами, светлыми, наподобие льна, и одеждою, столь нечистою, что можно было высечь из нее огонь, как из трута. Они прихлебывали из чаши и при отдыхах вели нехитрую речь. Услышав, что вошли в избу, старуха велела мужу *нишкнуть*, сняла лучину со светца, обломала нагар, выставила ее

вперед и приложила левую руку над глазами, чтобы лучше видеть.

– А! это *старшина*[22],– сказала она, вложив опять лучину в светец, и по-прежнему стала вкушать от скромной трапезы и приправлять ее беседою. Хозяин едва кивнул вошедшим и, не заботясь о них, продолжал хлопотать около чаши с похлебкой.

Вольдемар усадил слепца на одной из скамей, к углу избы прислоненной, и сам сел подле него.

– Не слышать ли в вашем краю солдат? – спросил он после краткого молчания.

– Авита, Иуммаль, авита! (Помилуй, Господи, помилуй!) – отвечал латыш, не поворачиваясь. – Давеча, только што солнышко пало, налетело синих на мызу и невесть што, словно весною рой жуков на сосну.

– Не видал ли, откуда шли синие? – с беспокойством спросил опять Вольдемар.

– Отколь? Да, кажись, из *Алуксне*[23].

Вольдемар задумался. Он догадывался, что пришедшие в Менцен шведы принадлежали отряду, вышедшему из Мариенбурга вследствие путешествий цейгмейстера Вульфа; он

знал также, что русский отряд должен был вскорости явиться под Менцен, чтобы не допустить крота возвратиться в свою нору, и спросил крестьянина, не слыхать ли об *зеленых*? Долго ждал он ответа. Латышу и разговор был в тяжелый труд. Выручить его решилась наконец его нежная половина и верная помощница.

– Чуть было намнясь, – сказала она, зевая и потягиваясь, – катали они с синими чертовы шары. С того денечка ни гугу о них, *братец*, будто мухи померли в бабье лето.

– Не заходили ль к вам еще нечаянные гости?

– В потаенность тебе сказать, – продолжала хозяйка, – толкнулись к нам позавчера...

– Старуха! а старуха! – закричал латыш. – Повесь язык на палку.

– Беда невесть какая! – продолжала супруга его, качая головой. – Чай, мы от старшины не с эстуста дрянь видали. Не потачь, *братец*, вот видишь, позавчера...

В стену застучали палкой, и раздался со двора жалобный голос:

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по-

милуй нас!

Будто кипятком обдало сердце Вольдемара. Голос этот объяснил ему тотчас, кто был злой дух, его недавно преследовавший; в этом голосе прочел он целую старинную повесть, которую несчастный хотел бы забыть навеки.

– Ну, завыли, окаянные! – закричала старушка с неудовольствием; потом, наклонившись назад к младшему страннику, присовокупила шепотом: – Они-то и есть, мой родной! все о тебе поспрошали; видно, така луна нашла!

Не было зова новым гостям, не было и отказа; но без того и другого вошли они в избу. Это были русские раскольники. Впереди брел сутуловатый старичок; в глазах его из-под густых седых бровей просвечивала радость. За ним следовал чернец с ужимками смирения. Трое суровых мужиков, при топорах и фонаре за поясом, остановились у двери.

Старичок, кряхтя, сел на пустую скамейку, прочитал шепотом молитву, потом, обшарив сверкающими, кровавыми глазами во всех углах, остановил их с ужасом на Вольдемаре, медленно, три раза перекрестился двуперст-

ным знамением и воскликнул:

– С нами крестная сила! Владимир! тебя ли очи мои видят?

– Да, князь Андрей Мышитский! – отвечал с твердостью Владимир (так будем звать его с этого времени). – Наконец-то ты нашел свою жертву.

Андрей Денисов (ибо это он был) обратился к своим спутникам. В одном из них, чернце, легко нам узнать Авраама. Старик приказал им отойти несколько от хижины, одному стать на страже, другим лечь отдохнуть, что немедленно и с подобострастием выполнили они, исключая Авраама, который возвратился прислушивать сквозь стенку. Сам хозяин, не заботясь о гостях, ушел спать на житницу.

Опираясь на посох обеими руками и на них подбородком, осененным пушистою бородой, сидел слепец. Не зная, кто говорил с его товарищем, и не понимая языка их, он в звуках их разговора, которому степени страстей давали различную силу, ловил для себя близкий смысл и верные образы. В беседе своего друга видел он уродливого, лукавого старичишку с рогами; постигал, что этот бес –

хранитель тайны, располагавшей судьбою Владимира, и потому страх, грусть и негодование попеременно отзывались на лице святого старца, как на клавишах разнообразные звуки равно печальной песни. Товарищ его хотел казаться твердым; однако ж заметно было, что в прямой дуб ударил гром; он стоял еще прямо, но, сожженный огнем небесным, представлял только остов прежнего своего величия. Губы несчастного помертвели; два багровые пятна, подобные тем, какие видим у чахотных, выступили на его щеках; глаза его горели тусклым пламенем: все в нем сказывало, что появление нечаянного гостя убило его надежды. Прямо против него сидел ересиарх. По удовольствию, проницавшему в глазах его сквозь оболочку сожаления, видно было, что он поймал жертву, долгое время от него ускользавшую. Она в сетях его; трудно, может быть, невозможно ей вырваться из них; но лукавый показывал, что она свободна и что от нее самой зависит быть зарезанной или белым светом наслаждаться. Не о благе Владимира хлопотал он, но о том, чтобы угодить своим страстям и отчасти своей покровитель-

нице. Между тем он показывал, что счастливо других жертвует собою. Андрей Денисов не простой раскольник. Из рода князей Мышитских, наученный искусству красноречия в Киевской академии и всем приемам ухищренной политики при дворе коварной Софии, которой был он достойным любимцем, умевший поставить себя на степень патриарха поморских раскольников, он знал очень хорошо, с кем имеет дело, и потому оправлял свое лицемерие, властолюбие и вражду к роду Нарышкиных в сладкую, витиеватую речь, в чувства любви, признательности и святости. Присоедините к этой группе лицо хозяйки, на котором свет от горящей лучины озарял вполне глупость, неудовлетворенное любопытство и по временам сожаление о молодом страннике, по-видимому обижаемом.

Несколько времени с сожалением смотрел Андрей Денисов на Владимира; наконец, покачивая головой, произнес:

– Ни в уме было, ни в разуме, гадать бы, не разгадать, чтобы моего питомца, того, который был некогда золотою маковкою царевни-на терема, зеницу ока ее, от кого надрыва-

лись завистию боярские дети, стольники, сам Петр, кому готовил я передать ключи выговского вертограда... чтобы его найти мне в курной латышской избе, в сонме нечестивых, на одной веревочке со слепым бродягою!..

Андрей Денисов остановился, опять с сожалением долго осматривал Владимира и продолжал:

– Помню еще, как ты, статный, гордый, красивый, бегал по теремам Софии Алексеевны. Словно теперь вижу, как ты стоял перед ней на коленях, как она своей ручкой расчесывала кудри твои. О! как вилось тогда около нее вверх твое счастье, будто молодой хмель около киевской тополи! А теперь... худ, состарился, не дожив века... в басурманской одежде, бос... Господи! легче было б мне ослепнуть до дня сего. (Тут Денисов утер слезы, показавшиеся на его глазах.)

Владимир молчал.

– Ты ничего не говоришь, сын мой?

– Пожалуй, – сказал Владимир с усмешкою, – давай перекидываться вопросами. Так, в свою очередь, скажи мне, по какому случаю в этой самой курной избе, в нищенском виде,

в образе отступника своего отечества и веры, с какими-то разбойниками, встречаю князя Мышитского, украшение Киевской академии, сподвижника князей Хованских и Милославских, задушевного друга той же царевны, наконец, преподобного отца Андрея, светильника поморской церкви и главу ее?

– Отступника! с разбойниками! Вот чем платят ныне тому, который на руках своих принимал тебя в божий мир, отказался от степеней и чести, чтобы ухаживать за тобою! И я сам не хуже твоего Бориса Шереметева умел бы ездить с вершниками[24], не хуже его управлял бы ратным делом, как ныне правлю словом Божиим; но предпочел быть пестуном сына...

– Что еще? прибавь.

– Да, сына греха, говорю тебе, неблагодарный! Хороша за все награда!.. Вот чему обучили тебя супостаты наши!.. Оголив, изуродовав твое обличие, данное тебе по образу и подобию Иисуса Христа и спасителя нашего, они в то же время содрали с души твоей все благолепие, ее украшавшее. Оскорбляй меня, именуй меня чаще князем; ибо ты ведаешь, что

мне давно ненавистны лжеименные почести мира сего, что я променял их на смиренное отшельничество и служение моему Господу и единому владыке. Пожалуй, назови меня князем ада! Называй разбойниками братьев моих, твоих братьев о Господе, за то, что они носят орудия, которые земному отцу Бога и Спаса нашего, Иосифу-древodelателю, не были в стыд. Ругайся надо мною; мечись, как василиск, на грудь, согревшую тебя от смерти телесной и душевной: я открою тебе эту грудь. Все, все тебе прощаю. Иисус Христос то ли еще терпел от своих? Что ж, ты видишь меня здесь странником, между латышскими псами и погаными немцами, но знай, неблагодарный! для тебя, собственно для тебя покинул я паству, Христом мне вверенную, этих агнцев Божиих, бежавших из России от кровожадного волка, этот народ православный, отделившийся от народа развращенного. Я, владыка и брат их, старец, глядящий в гроб, вместо того, чтобы последние дни жизни моей провести в молитве и изготoвиться ко дню предстоящего нам всем Страшного суда, – я таскаюсь по чужим землям, где на каждом шагу или

встречают меня соблазны, укоризны и оскорбления, или готовится мне насильственная смерть. Чего б в смиренной обители не видели очи мои в полвека, на то должен я ныне взирать беспрестанно. С басурманами, с содомитянами, новщиками[25] должен я нередко вести беседу, служить им, угождать... и все это для того, чтобы возвратить на путь истины заблудшуюся овцу! Все это для тебя, неблагодарный!

– Неблагодарным я и буду. Напрасны твои труды, твои подвиги и жертвы; я останусь, я хочу остаться при моем заблуждении: оно для меня сладко, составляет мое счастье, и я не променяю его ни на какие блага, которые ты мне готов посулить и можешь дать. Узнал я довольно хорошо твою истину. Она вооружила руку мою на злодеяние, привела меня под плаху, перебросила в скит твой, гнездо заблуждения и невежества, и заставила двенадцать лет шататься из края в край безродным сиротою. Кто ж, как не твоя истина довела меня до того состояния, которым меня упрекаешь?.. Не пришел ли вложить снова в руку мою нож, из нее выпавший? Теперь, дума-

ешь, эта рука не отроческая, отвердела в несчастиях, искусилась в делах крови – не сделает промаха. На кого направляешь ее теперь? где укажешь мне жертву? Не опять ли у алтаря Бога живаго освятить ее?.. Посули опять плаху! Авось теперь не увернусь.

Андрей Денисов покачал головой, встал, посмотрел у двери, не видать ли кого; но так как лукавый Авраам, остереженный его походкою, успел завернуть за угол избы, то ересиарх, успокоившись, что никто не услышит его беседы с Владимиром, сел опять на свое место и продолжал.

– Не вмени ему, Господи, словес его в прегрешение, – сказал он, возведя очи к небу и перекрестясь: – *Суетный* не ведает, что говорит и что творит. До того еретики отуманили его разум и опутали душу его, что он забыл все святое на земле. Отцепенец православной церкви, сообщник слуг антихристовых, он и благодарность, и кровь топчет в грязи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! То, что он сделал, что обязан был сделать из любви и преданности к своей законной царице, благодетельнице, одним сло-

вом... второй матери своей, называет он злодейством?

– Да, злодейством и все-таки злодейством, для кого бы я его ни сделал. Неужели ты, князь Андрей Мышитский, или, просто, Андрей Денисов, думаешь говорить ныне с отроком и по-прежнему медоточивыми устами отравлять его неопытную душу? Вспомни, что прошло много лет с того времени, когда ты играл моими помыслами и сердцем, как мячиком, когда я слушал тебя, как безрассудное дитя. Вглядись-ка в меня хорошенько: ты говоришь с мужем, на голове моей проглядывают уж седины, я был в школе несчастья, научился узнавать людей и потому тебе просто скажу: я тебя знаю, ты обмануть меня не можешь. Оставь для других свою хитросплетенную речь. Говори просто: чего хочешь от меня?

– Спасти тебя, несмысленный, назло тебе же, спасти твое тело от казни земной, а душу от вечного мучения.

Владимир с горькою усмешкою перебил речь Денисова:

– Благое же начало ты этому спасению сде-

лал, послав своего *старца* в стан русский под Новый Городок с подметным письмом! Чего лучше? В нем обещал предать меня, обманщика, злодея, беглеца, прямо в руки палача Томилы. Я копаю русским яму; голову мою Шереметев купил бы ценою золота; сам царь дорого бы заплатил за нее! И за эту кровную услугу ты же требовал награды: не тревожить твоих домочадцев зарубежных. То ли самое писал ты тогда?

– То самое, – отвечал с наружным спокойствием Андрей Денисов.

– Что ж ты говоришь теперь?

– То же самое хотел я сказать и теперь. Но прежде, нежели я решился погубить тебя, я послал к тебе старца Афиногена, этого мученика, положившего за Христа живот свой.

– Скажи лучше: за свою бороду.

– Что предлагал он тебе?

– То, чего не исполню никогда: возвратиться в скит твой.

– Я и ныне пришел тебе то же предложить: вот путь к твоему спасению. А буде не слушаешь, я должен тебя известить; да, я должен тогда сам, своими руками, предать ослеплен-

ного, засутившегося, достойной казни. Одна строка твоему же Шереметеву – и ты пропал.

– А Бог?..

Это слово, с твердым упованием выговоренное, смутило и пустосвята. Он старался освободиться от уз, в которые сковало его это великое слово, сотворив обычную свою молитву:

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! – молитву, разрешающую, по мнению раскольников, все их напасти. Потом, оправившись несколько от своего смущения, он присовокупил: – Прежде, нежели вымолвлю твой приговор, спрошу тебя: кому ты служишь?

– Лукавый должен бы тебе это сказать.

– Неправда. Дух, вразумляяй и старца и младенца, побораяй по верным своим, сказал мне, кому ты служишь: вестимо, русскому воинству!

– Кому ж иному может служить русский? Искуши, Мать Божия, руку того, кто поднимет ее на помощь врагам отечества! И ты, если истинный христианин, если любишь святую Русь, должен не губить меня, а помогать

мне.

Глаза ересиарха приметно разгорелись; возвыся голос, он перервал речь Владимира:

– Постой, дитяtko мое, не так прытко. Служа русскому войску, не Петру ли Нарышкину ты работаешь?.. И мне пособлять тебе? Мне, целовавшему крест законной царевне Софии Алексеевне; мне, взысканному ее милостями и дружбою, православному христианину, пойти в работники к погубителю царевны, к матросу, табашнику, еретику?.. Легче отсохни и моя правая рука, чтоб я не мог ею сотворить крестное знамение! Разорви лютым зелием утробу мою! Чтобы меня в смертный час, вместо страшных Христовых таин, напутствовал хохот сатаны!..

– Только теперь узнаю в тебе прежнего князя Мышитского, врага рода Нарышкиных, друга Милославских. Вот речь, которая тебе пристала! Она твоя, не заемная. Давно бы так!

– Умирая, буду ее говорить. (Андрей от гнева трясся с судорожным движением.) Из могилы подам голос, что я был враг Нарышкиным и друг Милославским не словом, а делом; что я в царстве Петра основал свое царство, враж-

дебное ему более свейского[26]; что эта вражда к нему и роду его не умерла со мною и с моим народом; что я засеял ее глубоко от моря Ледовитого до Хвалынского[27], от Сибири до Литвы, не на одно, на несколько десятков поколений. Знай и ты, радушный человек, жертвующий собою величию Петра Нарышкина! знай... (Денисов лукаво посмотрел на Владимира), что в тебе самом течет кровь Милославских.

– Милославских? – повторил Владимир, в недоумении связывая в уме своем разные догадки. – Нет, нет! ты смущаешь меня! Каким образом Кропотов в родстве с Милославским? Я этого никогда не слыхал.

– В тебе Кропотова нет ни капли крови.

– Для чего ж мне в детстве сказывали за тайну, что я сын какого-то боярина Кропотова? На что ж князь Василий Васильевич Голицын и ты сам мне об этом нередко напоминали?

– Так надо было. Открою тебе более: ты родился почти в один час с сыном Кропотова; ловкая бабка подменила его тобою; он отвезен в Выговский скит, там воспитан, и, если

хочешь знать, это тот самый молодой чернец, Владимир, по прозванию Девственник.

– Этот агнец, эта непорочная душа, которая ничего не знает, никого не любит, кроме Бога? Может ли статья?.. Потом что?

– Ты слыл года два сыном Кропотова; потом мнимый отец уступил тебя князю Василию с тем, чтобы никто об этом не знал; ты рос богатырски: тебе придали с лишком два года. Человека два тайно проведали все это и под клятвою рассказали за тайну Нарышкиным; ложь пошла за истину. Сами Нарышкины, по любви к Кропотову, выдавали тебя за сироту, издалека вывезенного; а всего этого мы и домогались.

– Для чего ж вся эта кутерьма?

– Нужно было вывести тебя в люди и скрыть грех твоей матери.

– Моей матери! Поэтому я сын?..

– Беззакония.

– Сын беззакония?.. Как это любо!.. Порадовал ты меня! Сын преступления?.. Высокое отродие, достойное Милославских!

– Да, отроком ты уже чувствовал в себе кровь Милославских; тогда уже рука твоя ис-

кала вырвать злой корень.

– Час от часу легче! Отрок-злодей!.. Эка честь! Эка благодать! Ну, пестун мой! скажи же ты мне, как я попал к царевне?

– Царевна София Алексеевна, с малолетства подруга твоей матери, взяла тебя на свои руки, когда тебе минуло десяток лет. Как она тебя любила, ты сам знаешь. Сына нельзя более любить.

– Сына? Да! стоило царевне заботиться о таком поганом семени; лучше бы втоптать его в грязь, откуда оно вышло! И тебе пришла же охота повивать грех, ухаживать за ним, чтобы он вырос на пагубу чужую, свою, твою собственную! Ты бы...

– Я друг Милославских, преданный моей благодетельнице, моей царевне... я более... – присовокупил с притворным участием и любовью Андрей Денисов.

– Не говори, не говори мне ничего, старик! – вскричал Владимир, дрожа от испуга. – Не искушай меня!.. Или – нет, благодетель мой, утешитель, порадуй меня еще ответом на один вопрос, – только один вопрос: кто родившая меня?

– На этом свете ты этого не узнаешь.
– По крайней мере, жива ли она еще?
– Жива, и в заточении.
– Видно, так же бедствует, как и я. Несчастливая мать несчастного сына!.. Впрочем, так и быть должно: грехом порожден грех, что ж может произойти, кроме зла? Кто ж заточил ее?

– Петр Нарышкин.
– Царь Петр!.. (После минуты задумчивости.) Так он погубил ее?

– Он.
– Правду ли говоришь?
– Покарай меня всемогущий Бог и Его небесные силы, коли я говорю тебе ложь!

– От сего часа бросаю все. Иду, следуя за тобою. Скажи, что мне надобно делать! Клянись, что пойду за тобою, как ребенок за кормилицею своею, как струя за потоком. – Нет, нет! я не клянусь; я не клялся еще... Ты сказал мне, что я на этом свете не узнаю имени матери и никогда ее не увижу.

– Никогда.
– Как блестят маковицы церковей твоей родины! – произнес слепец по-шведски вдохно-

венным голосом. – В храме пылают тысячи огней; двери растворяются, и пастырь выходит с крестом навстречу молодому страннику.

Владимир затрепетал.

– Что говорит этот сумасшедший? – спросил ересиарх, боявшийся, чтобы жертва, которую он загнал в свои сети, не вырвалась из них: ибо он догадывался, что слепец в чем-то остерегал Владимира.

– Что он говорит?.. – отвечал гордо и с чувством Владимир. – Тебе этого не понять, черствый старик! Я не иду за тобою, искушитель; я не слушаю тебя. Что мне в матери, которая отрекается от сына, не хочет знать его, не хочет его видеть? Волчица не покидает детей своих, а моя?.. Нет у меня матери ныне, как и вчера; забытый родом и племенем, я сам забуду их. И что мне помнить, что мне любить?.. Разве слова матери, отца – звуки языка непонятного, тени невиданных вещей? Отступись от меня; оставь меня моей судьбе, отец Андрей! Сжался надо мною: не загораживай мне пути к моему счастью; не отнимай у меня того, чего ты мне не дал, чего не можешь дать – что уже мое! Прошу тебя, умо-

ляю тебя пречистою Божьею Матерью, Христом, распятым на кресте, – скажи мне, как просить тебя, – ты знаешь, я ни перед кем в жизнь мою не падал в ноги – пожалуй, я упаду перед тобою!..

– Я не допущу до того сына... ее. Чем могу тебе помочь?

– Не препятствуй мне быть на родине.

– На родине? тебе?.. Тебе не видать родины!

– Не видать!.. Кто это сказал?.. – вскричал Владимир голосом, от которого задрожали стены, и вскочил со скамейки, будто готовился вступить в бой с враждующими ему силами. – Кто это говорит: не видать? А?.. Господь Бог мой! стань за меня и посрами моих врагов.

– Не призывай имени Господа твоего всеу, не беснуйся и прочти лучше вот эту грамотку: ты увидишь из ней, что я должен с тобою сделать.

Андрей Денисов вынул из пазухи кожаную сумочку и из нее сложенную бумагу, которую подал Владимиру. Дрожащими руками последний схватил листок и, взглянув на под-

пись его, произнес с восторгом и горестию:

– Рука царевны Софии Алексеевны!

– Да, – примолвил, вздохнув, лукавый старик, – бывшей царевны, ныне инокини Сусанны! [28]

Глаза Владимира остановились на подписи. Равнодушный к имени Софии в устах коварного старца, он теперь приложился устами к этому имени, начертанному ее собственной рукой. Как часто эта рука ласкала его!.. Тысячи сладких воспоминаний втеснились в его душу; долго, очень долго вилась цветочная цепь их, пока наконец не оборвалась на памяти ужасного злодеяния... Здесь он, как бы опомнившись, повел ладонью по горевшему лбу и произнес с ужасом:

– Чего она хочет от меня?

– Твоего спасения, непокорное, но все еще дорогое ей дитя! – отвечал ересиарх. – И меня избрала она твоим спасителем. Увидишь сам из грамотки.

Листок бумаги, который держал Владимир, был следующего содержания:

«Всемогущего Бога избраннейшему иерею и таин его верному служителю,

благочестивому господину, господину киновиарху[29] Выговской пустыни, пречестному и возлюбленному отцу Андрею кланяюсь: временно и вечно ему радоваться и долгоденственно светить миру с верными всякого возраста и звания, не токмо в Поморьи, но и во всей России пребывающими. А про нас изволите о Христе любовно ведать, и мы, дал бог, в добром здравии в обители пребываем.

Писание ваше чрез старца Митрофана, Большой нос, получили верно. И мы, прочитав то ваше писание, немало слез пролили. О, коль печаль внезапная и скорбь великая, что мой возлюбленный, мой Яков, появился в Лифляндах, связался с злодеями и, подслуживаясь им, ищет пути в отечество! В какой глубины преисполненный невод рыба сия мечется! Мой злобствующий брат и враг может ли ведать прощение? Сердце его поворотится ли на милость к тому, кого я любила и все еще люблю так много?.. Скорее обратится солнце вспять. Казнь, от коей я его спасла, ожидает его неминуемо. О! кабы я могла сказать Владимиру изуст-

но, что для него нету родины, как для меня нету венца и царства! Злодей нас всего лишил. Во что ни стало, молим тебя, преподобный отец и друг наш, отыщи его, изжени[30] из него всяк лукавый и нечистый дух, явный и гнездящийся в сердце; поведай ему, что для него нет родины; убеди его идти в Выговскую пустынь, сие спасительное и крепкое пристанище, где ожидают его блага земные и небесные, где он может, по смерти равноапостольного жития и чина пастыря, пасти на евангельских и отческих пажитях избраннейшее Христово стадо. От имени моего накажи ему сие по любви и по власти; а буде он явится противен, проклятие мое над его главою. Сами вы тогда суд примите и сотворите с ним, что рассудишь, не жалея... (Здесь несколько строк было зачерчено.)

Ежели бы сердечного сокровища ключи, кроме Бога, в человеческих руках обретались, тогда бы тебе, о священная глава, и братии твоей, и совокупно всем верным, в отверстых для вас персях моих возможно было прочесть, какую к вам любовь денно и ношно пи-

таю. Во свидетельство же сей любви... (здесь опять несколько слов было по-марано) понеже благочестие церковное любит благолепие.

За сим будете вы покровенни десницею Вышняго Бога от всякого искушения вражия до конца жития своего. Спасайтеся все о Христе в любви; бодрствуйте, укрепляйтесь, подвизайтесь, и тако тецьте, да постигнете. Сие оканчивая, пребываю грешная о вас молитвенница, недостойная сестра Су-санна».

Долго, в угрюмом молчании, держал Владимир прочитанное им письмо Софии Алексеевны. То представлялись ему счастливые дни его отрочества и материнская любовь Софии; то чудилось ему его преступление; то волновало его душу сожаление о слепце или манила к себе родина, к которой, ему казалось, он был так близок. Если б говорила в письме одна любовь, то он, может быть, склонился бы на убеждение ее. Но он читал в нем угрозы, проклятия – и для нетерпеливой, гордой души его, необычной носить ярмо, довольно было этого, чтобы ее раздражить.

– Что ж ты намерен делать? – спросил Денисов. – Решайся: или теперь же за мною, или ступай с проклятиями своей второй матери под плаху палача.

– Я давно решил, – отвечал с твердостью Владимир. – Прежде чем проклятия царевны гремели надо мною, я поклялся умереть на родной земле. Пиши об этом инокине Сусанне. Скажи ей, что милости Софии Алексеевны к сироте для меня незабвенны и дороги; что я лобызая ее руки, обливаю их горячими слезами; что я ей предан по гроб, но... ее не послушаюсь! Твои ж угрозы меня не устрашат. Ты должен бы знать меня лучше. Я сам явлюсь в стан русский, явлюсь к Шереметеву, и тогда увидишь, кому Бог поможет. Он станет за меня, Бог сильный!

– Так ни прошение, ни убеждения ничего не могли над тобою, непреклонная душа?

– Ничего.

– Знай же, я могу тебе приказать.

Владимир с презрительною усмешкою посмотрел на Денисова и произнес:

– Ты?.. когда не могла ничего просьба самой царевны!.. ты, дрянной старичишка?..

Эта усмешка, эти слова взорвали все брэнное существо властолюбивого старика; досада завозила в груди его, как раздраженная змея; скулы его подергивало, редкая бородка его ходила из стороны в сторону, злоба захватывала ему дыхание. Он весь разразился в ответе:

– Так... Знай, бездельник!.. я... твой отец.

– Отец, отец! – вскрикнул Владимир голосом, от которого приподняло Конрада; вскочил со скамьи и дико озирался, хватая себя за горящую голову. – Скажи еще что-нибудь, старик, и я задушю тебя!

Последовало несколько минут молчания. Владимир долго смотрел с ужасом и робостью на Денисова взором, который, казалось, обвоорожил его своею неподвижностью, и наконец дрожащими губами вполголоса выговорил:

– Нет... не может быть!.. ты не отец мне. – Потом, в судорожном движении схватив Конрада за руку, прибавил тихо: – Не выдержу! пойдём отсюда, Конрад!.. я продрог до костей...

Еще с ужасом и робостью посмотрел он на Денисова и, беспрестанно озираясь, вывел

слепца из хижины.

Проклятия бесновавшегося Денисова долго гремели вслед Владимиру.

– Не пощажу, не пощажу крови ее! – кричал он.

На крик этот прибежали его служители. Составлено наскоро совещание и постановление: догнать слепца и его товарища, разлучить их силою и, связав, увезти последнего с собою; но адский совет был расстроен послышавшимися издали двумя голосами, разговаривавшими по-русски. Они довольно внятно раздавались по заре, уже занимавшейся. Раскольники стали прислушиваться к ним, завернув за избу.

– Эй, брат Удалой! – говорил голос. – Послушай меня: брось добычу. Право слово, этот рыжий мальчишка был сам сатана. Видел ли, как он всю ночь щерил на нас зубы? то забежит в одну сторону, то в другую. Подшутил лихо над нами! Легко ли? Потеряли из-под носу авангардию и наверняк попадем не на Черную, а на чертову мызу.

– Добытое кровью не отдам, хоть бы сам леший вступился за него! – слышался дру-

гой голос. – Отложу долю на местную свечу Спасу милостивому, другую раздам нищей братии, а остальными и Бог велит владеть. Да вот и жильё: смотри в оба, трус!

– Вижу-ста избушку на курьих ножках. Избушка, избушка, встань к нам передом, а к лесу задом! Чур, да не Баба ли яга, костяная нога, ворочается там на помеле? А что-то возится, с нами крестная сила!

Авраам схватил осторожно Денисова за рукав кафтана и сказал ему вполголоса:

– Отойдем от зла, отце Андрей, и сотворим благо.

Ересиарх успел разглядеть, что приближавшиеся к избе были два солдата русские и что один из них прихрамывал, а у другого перевязана была голова. Не говоря ни слова, он пошел им навстречу.

– Кажись, не латыши и не шведы, – говорили между собою солдаты, – однако ж на всякий час настроим свои балалайки.

Тут солдаты остановились, изготовили свои мушкеты к бою, тронулись, опять тихим шагом, и, поравнявшись с раскольниками, оба разом крикнули молодецки:

– Что за люди?

– Пустынножители! – отвечал Денисов. – Мир вам от Бога, православные!

– Ай, да это наши, русские! – вскричал один солдат. – Шли на волков, а попали на баранов. Да вот и чернец. Благослови, отче!

Солдат подошел под благословение Авраама; товарищ последовал его примеру. Авраам с важностью благословил их.

– Куда же вы путь держите, добрые люди? – спросил Денисов.

– А вот изволишь видеть, – отвечал один из солдат, – в славной баталии под Гуммелем, где любимый шведский генерал Шлиппенбах унес от нас только свои косточки, – вы, чай, слышали об этой баталии? – вот в ней-то получили мы с товарищем по доброй орешине, я в голову, он в ногу, и выбыли из строя. Теперь пробираемся на родимую сторонку заживить раны боевые.

– Ведомо ли вам, – сказал ересиарх, – что за несколько поприщ отсель, на Черной мызе, стоит отряд шведский?

– На нее-то мы и маршируем, прямо-таки на шведский караул; да, хвастать нечего,

идем-то не одни, за отрядом князя Василия Алексеевича Вадбольского.

– Кой лукавый завел вас сюда! Ведь вы с дороги сбились.

– Вот те на! Удалой, говорил я тебе, что рыжий сыграет штуку...

– Коли хотите, – продолжал ересиарх, – я укажу вам путь на мызу, только попрошу за труды.

– Ну, распоясывайся, камрад!

– Господи упаси, за услугу своим братьям православным брать деньги! Нет, не об этом хочу вас просить.

– А что же надо тебе, ваше благородие?

– Экий болван! – прервал своего товарища солдат, дергая его за мундир. – Говори, преподобный отче!

– Вот видите, добрые люди, и я был некогда князь.

Солдаты сняли с почтением шляпы и стали во фронт.

– Надевайте-ка своих жаворонков на голову и выслушайте меня. Мне есть до фельдмаршала Бориса Петровича слово и дело; царю оно очень угодно будет; узнает о нем, так

сердце его взывает, аки солнышко на светлое Христово воскресенье.

– Говори, боярин, что за дело, – сказал один из солдат.

– Ради царю нашему батюшке службу сослужить, – прибавил другой.

Здесь Денисов отвел солдат в сторону и сказал им вполголоса:

– В Лифляндах бегают один стрелец, злодей, какого мир не родил другого; подкуплен он сестрою царя, Софиею Алексеевною, избыть, во что ни стало, его царское величество. Петра Алексеевича богатырское сердце не потерпит не побывать у своей верной армии. Тутто бездельник уловит час добратся до всепресветлейшего нашего, державнейшего государя. Я послан царскою Думою с наказом, как можно, дать знать о злодейском умысле фельдмаршалу; но боюсь с ним разойтись. К тому ж силы меня покидают: долго ли смертному часу застигнуть на дороге? и тогда немудрено, что всекраснейшее, всероссийское солнце скроется от очей наших и покинет государство в сиротстве и скорбех. Коли вы верные слуги царские и хотите получить

награду, то доставьте грамотку в собственные руки Бориса Петровича. Может статья, и я встречу его; все-таки и тогда ваше усердие не пропадет.

– Беремся за это дело, – закричали оба солдата.

– Награди их Господи Своими милостями! – сказал Денисов, возведя очи к небу.

С ним была чернильница и все принадлежности для письма. Из хижины вынесена доска и поставлена на два пня: она служила письменным столом. Послание было наскоро изготовлено, отдано одному из солдат, который казался более надежным, и привязано ему на крест. Служивые выпровожены с благословением на дорогу к Менцену, дав клятву исполнить сделанное им поручение. С другой стороны, начальник раскольников, довольный своими замыслами, отправился с братьею, куда счел надежнее.

Хозяева хижины проснулись, когда и следы гостей их простыли. Пальба к стороне Менцена дала им знать, что синие с зелеными опять катают чертовы шары.

Глава шестая

Кажется, многое объясняется

Ужель загадку разрешили?

Ужели слово найдено?

Пушкин

На мызе Блументростовой, по-видимому, не было никакой перемены с того времени, как мы ее оставили.

Так же, как и в начале повести нашей, сидела в задумчивости на балконе пригожая швейцарка; одинаково расположились в саду, на скамье, слепец, товарищ его и швейцарец; а Немой, раскинувшись на траве, слушал их с большим вниманием и по временам утирал слезы. Будто и речь вели собеседники все ту же, что и тогда. Зато окрестности мызы во многом изменились. На огромном кресте, который господствовал над *Долиной мертвецов* и загораживал собою полнеба, сиял медный складень. Вероятно, набожные русские повесили эту святыню, чтобы охранить им от наветов нечистого могилу товарища. К стороне Менцена курился дымный столб над развали-

нами этой мызы, и белелся стан русский. По окольной дороге, прежде столь уединенной, вместо баронской кареты, едва двигавшейся из Мариенбурга по пескам и заключавшей в себе прекрасную девушку и старика, лютеранского пастора, вместо высокого шведского рыцаря, на тощей, высокой лошади ехавшего подле экипажа, как тень его, пробирались к Мариенбургу то азиатские всадники на летучих конях своих, то увалистая артиллерия, то пехота русская. По временам слышна была песня:

*Из славного из города из Пскова
Подымался царев большой бо-
ярин,
...Борис сударь Петрович Шереме-
тев.
Он со конницею и со драгуны,
Со пехотными солдатскими пол-
ками,
Не дошедши Красной мызы, ста-
новился...*

Еще надо прибавить, что у ворот мызы, в раме за проволочной решеткой, прибит был охранный лист уже не с подписью гене-

рал-вахтмейстера Шлиппенбаха, но с подписью фельдмаршала Шереметева. Все эти обстоятельства показывали, чья сторона взяла верх: так победитель все оборачивает на свою сторону и влечет за собою. Едва я не забыл сказать, что в окошко нижнего этажа мелькали два новые лица. Одно из них был шведский офицер, молодой, привлекательной наружности, но такой бледный, что походил более на восковое изображение, нежели на живое существо. Казалось, он смотрел, ничего не видя, слушал, не внимая. Изредка глаза его оживлялись; он вздыхал и улыбался, как умирающий продолжительною болезнию, когда ему говорят, что он скоро выздоровеет. Эти признаки жизни возбуждали в нем магические слова, произносимые человеком, сидевшим против него. У этого человека сквозь сладость серо-голубых глаз и речей проникало лукавство беса – не того, который с шумом вооружался, как титан[31], против своего творца, но того, который вкрадчиво соблазнил первую женщину. Один был Густав Траутфеттер, потерявший все, чем красятся дни человека, – свободу и надежду, – все, кроме

любви, не покидавшей его назло обстоятельствам. Утешитель был Никласзон, с осторожностью врача рассказывавший то, что знал о чувствах к нему Луизы. По временам продажный секретарь баронессы Зегевольд и подкупленный агент Паткулев с изумлением поглядывали сквозь стекло окошка на Владимира, этого мнимого шпиона генерал-вахтмейстера. Мирно с ним сойтись под кровом, равно для них гостеприимным, казалось ему чем-то чудесным. Один человек мог только объяснить эту странность, и его-то поджидал он с нетерпением.

Перемежавшаяся по дороге из Менцена пыль, которую установили было на ней шедшие мимо русские полки, снова поднялась, и сердце Розы сказало глазам ее, что едет тот, кому предалось оно с простодушием, свойственным пастушке альпийской, и страстию, редкою в ее лета. Как она любила *его*! Для него швейцарка могла забыть свои горы, отца и долг свой.

Роза была уже у ворот мызы, потому что к воротам подъехал господин Фишерлинг (имя, которое давал себе Паткуль в Швейцарии, во

время своего бегства, и удерживал на мызе друга своего Блументроста, где укрывался от преследований власти и своих врагов и откуда действовал против них со своими друзьями и лазутчиками). Бледнея, вспыхивая и дрожа, швейцарка схватила за узду бойкого коня приезжего. Животное без сопротивления ей отдалось.

– Здорова ли ты, милая Роза? – спросил Паткуль, с нежностью остановив на ней взоры.

– Теперь здорова! – отвечала она и спешила проводить лошадь, чтобы скрыть радость свою от проницательных глаз Фрица, следовавшего за своим господином.

Никласзон, чутьем узнавший о приезде своего высокого доверителя и бежавший сломя голову, чтобы его встретить, вдруг остановился; но, видя опять, что он не помеха, сделал несколько шагов вперед, превратился весь душою и телом в поклон и спешил поздравить его превосходительство с благополучным прибытием в свою резиденцию после таких трудов и одержания столь знаменитой победы над Карлом XII. Генерал-кригскомиссар, со своей стороны, поздравил его тем, что

велел составить счет, сколько затрачено им собственных денег из усердия к пользе общего дела, назначил ему богатую награду, обеспечивавшую его на всю жизнь; но советовал ему скорее удалиться в Саксонию, куда обещал дать ему рекомендательные письма.

– Такие люди, как ты, – сказал Паткуль, положив ему руку на плечо, – нужны мне при тамошнем дворе. Там можешь продолжать служить мне и России. Здесь, в армии, пост мой кончился, и с этим изменяется твоя должность. Доволен ли ты?

Никласзон кланялся и показывал, что от радости не в состоянии говорить. Действительно, распоряжение его патрона не могло быть для него лучше, ибо избавляло его от виселицы и давало ему способы начать жизнь *честного* и значащего человека. Видно, однако ж, было, что во все время разговора, исполненного милостей, Паткуль избегал с ним сближений: червя, на котором ловят рыбу, брать в руки гадко. На вопрос Элиаса, каким образом главный агент Шлиппенбаха находится в одном с ним обществе, ему сделали также вопрос, каким образом верный секре-

тарь дипломатки очутился в обществе ее врага.

– Ныне люди так хитры, – сказал Паткуль, – что трудно узнать, кто какой стороны держится...

Закусив язык и внутренне негодуя, что имели для него тайну, Никласзон поспешил между тем согнать морщины со лба своего и, униженно согнувшись в дугу, последовал за Паткулем к скамейке, где сидели собеседники, о которых мы упомянули.

Владимир в глубокой задумчивости чертил палкой по песку слова: «*Софьино, Коломенское, Москва*» – слова, непонятные окружавшим его, но милые ему, как узнику привет родного голоса сквозь решетку тюремную. Никто из них не слышал приезда высокогостя.

– Бог помочь! – закричал Паткуль, подкравшись сзади и ударив Владимира по плечу. – Так-то встречают друзей?

На это приветствие, родным языком Владимира выговоренное, привстал он слегка, поклонился и радостно произнес:

– Милости просим, гость желанный!

Дружеское пожатие руки было ему ответом. Товарищей его приветствовал также Паткуль ласковыми словами; но, заметив, что швейцарец холодно и угрюмо кивнул, спросил его о причине его суровой задумчивости.

– Э! господин, чему веселиться? – отозвался этот сухо. – Пора старым костям на покой; а здесь некому будет и похоронить меня, как швейцарца.

– А дочь? – перебил Паткуль.

Не было ответа; но спрашивавший прочел его в тревожной душе своей. Дипломат смешался, хотел сказать что-то слепцу, все еще сидевшему на одном месте, но, встретив также на лице его укор своей совести, спешил, схватя Владимира за руку, удалиться от доказчиков преступления, которое, думал он, только Богу известно было.

Горестно пожал Фриц руку благородному сыну Гельвеции[32], и этот приветствовал его тем же.

Когда Паткуль остался в саду один с Владимиром, первый вынул из бокового кармана мундира две бумаги и, отдавая одну своему агенту, сказал ему:

– Не думай, друг, чтобы я не понимал тебя и не умел ценить. Чувствую, что ты сделал для меня, для России, и стараюсь отблагодарить тебя. Не предлагаю тебе денег: это цена заслуг Никласзона. Вот свидетельство за подписью Шереметева. В этой бумаге означено, чем обязан тебе царь русский. Поздравляю тебя с паспортом в твою родину.

Владимир дрожащими руками схватил бумагу и прижал ее к своим губам.

– Я оставляю армию и мое отечество, – продолжал Паткуль, – и потому спешил с тобою расчесться. (Это известие, казалось, встревожило Владимира.) Судьбе моей нужен я в другом месте: она сближает меня с Карлом к его или моей гибели. Что делать? Я должен с тобой расстаться. Холодная математическая политика Шереметева делает из моего отечества степь, чтобы шведам негде было в нем содержать войско и снова дать сражение, как будто полководец русский не надеется более на силы русского воинства – воинства, которого дух растет с каждой новой битвой. Я не мог смотреть на это обдуманное, цифирное потворство грабежу и зажигательству. Душу

мою взорвало; она передала фельдмаршалу все, что ей противно было. Может статься, я сказал слишком много; может статься, я должен был более уважить в нем заслуги, благообразие и дух истинно геройский, когда он лицом к неприятелю, а не в палатке своей; но я видел пожар моего родного края – и не видал ничего более! Мы поссорились. Давно государь предлагал мне командование корпуса в Польше или значительный пост при дворе Августа, известном мне более стана русского. Там буду представителем русского царя, а здесь я только докладчик его генерала; там мы сблизимся с моим приятелем Карлом! – Вот тебе еще письмо к самому царю. Не ищи к нему доступа через вельмож его; старайся найти случай встретить самого Петра. Прямо к нему – без посредников, кроме твоих заслуг и сердца его! Это не Карл. Верь мне, царь грозен для одного зла; великий умеет ценить все великое; он забывает себя, когда дело идет о благе отечества. Но не думай, чтобы, исполняя твое желание и свой долг, я хотел оторвать тебя от войска русского. Прошу тебя, Вольдемар, друг мой, не покидай его своею

помощью. Все, кто ни служил общему нашему делу, потеряли свое назначение. Фриц более не кучер у баронессы и не коновал в шведском полку; Никласзон кончил свою роль при дипломатке; Блументросту некого лечить в земле опустошенной; любовь моего племянника не поможет нам более, а разве сама потребует нашей помощи; несчастная Ильза все для нас сделала, что могла, и, вероятно, исполняет теперь свое предопределение. Ты один у меня здесь остаешься, ты должен заменить меня в Лифляндии. Хотя кора снята с глаз Шлиппенбаха и связи с ним расторгнуты твоим нетерпением, но ты держишься еще волшебною нитью за Мариенбург. На днях начнется его осада. Об измене твоей делу шведскому там не узнают; все сношения с этою крепостью уже пресечены. Ретивый выходец Брандт захвачен со всем отрядом по милости твоей и бывшего баронессина кучера. Свидетельство, данное тебе Шлиппенбахом и предъявленное цейгмейстеру в *Долине мертвецов*, служит ключом, которым можно еще отпереть Мариенбург. Пользуйся этими обстоятельствами; пользуйся всеми

тонкостями политики, мною преподанной тебе, ученик, не всегда покорный ей! Старайся войти в милость к пастору Глику, к воспитаннице его, которых Вульф, после короля, более всех любит, хотя чувства его не пробиваются наружу сквозь тройную броню солдатчины. Все прочее довершит любовь твоя к родине.

Владимир весь горел благодарностью. Изъяснением ее доставил он Паткулю чистейшее удовольствие, какого впоследствии этот не испытывал уже более. Драгоценные бумаги положил Владимир за свои штиблеты.

– Как легко буду теперь ступать на эту ногу! – сказал он с восхищением, пожимая руку того, кто наградил его таким сокровищем.

– Кстати, – продолжал Паткуль, – я должен поздравить тебя с новым опекуном.

– Я доволен и тем, которого теперь имею, – отвечал Владимир, – не о добром ли Бире говорите вы?

– Нет, совсем не об этом благородном чуде. Твой новый опекун русский, полковник, чудо-богатырь.

– Не отгадаю.

– Это князь Вадбольский.

– Понимаю, тот самый князь, который первый из русских взошел на гуммельсгофскую гору?

– Он в этот день стал выше всех. Только ты, верно, не понимаешь его отношений к тебе. Я не намерен тебя долее томить. Слушай же: тайна твоей жизни разоблачается. В сражении убит полковник Полуектов. Когда стали его хоронить, нашли в мундире его завещание, писанное его другом Кропотовым.

– Кропотовым? – произнес робко Владимир, побледнев.

– Да! и этот Кропотов, герой, падший вместе со своим другом на той полосе земли, где навсегда похоронен ужас шведского имени, наконец, этот рыцарь христианских и гражданских добродетелей... твой отец.

– Господи! о, когда бы это так было!.. Но нет, не верю, не может быть; есть важные доказательства против этого. Я не сын благороднейшего воина, а незаконное отродье какого-нибудь преступника, мне подобного.

– Каких лучше доказательств нужно тебе, неверующий, как не признание самого отца? Князь Вадбольский, по дружбе своей ко мне,

давал мне читать завещание. Видя, что оно имело к тебе несомнительные отношения, я сделал из него выписку. Вот она, – присовокупил Паткуль, вынув из камзола бумагу и подав ее Владимиру, – прочти ее и удостоверься, что судьба, лишив тебя отечества и отца, возвращает тебе первое, благородное имя и мать, которой ты можешь быть еще подпорою и утешителем.

Выписка из завещания Кропотова была читана и перечитана Владимиром с нетерпением и вниманием, свойственными его положению. Вот она, почти слово в слово. Надо помнить, что Паткуль переделал большую часть слог завещателя на свой лад.

«В 16... году... дня (писал Кропотов), во время кратковременной отлучки моей из дому, жена, после трудных родов, произвела на свет сына, нареченного Владимиром, по обычаю наших предков, именем святого, приходящего в осьмой день. Жена говорила, что это будет необыкновенный ребенок, потому что он, увидев свет в первый раз, закричал странным голосом, как будто два ребенка кричали разом. Ему было два года, когда приехал ко мне

Андрей Денисов, из рода князей Мышитских. Нечаянно увидел он дитя на руках у мамки, долго любовался им и стал находить в нем сходство с князем Васильем Васильевичем Голицыным[33]. Мы этому смеялись; однако ж с того времени в самом деле приискивали это сходство и не дивились тому, ибо князь Василий был мне близкий родственник по жене. В скором времени он сам посетил нас из любопытства увидеть дитя, которое было на него так похоже. Маленький Владимир за ласки его платил тем же по-своему; он пошел к нему охотно на руки и неохотно сошел с них. Долго утешался им князь Василий. Чаще и чаще начал он посещать нас, что немало удивляло всех и возбудило во многих зависть; немудрено, он был тогда при царе Алексие Михайловиче во времени. Наконец он так полюбил нашего Владимира, что стал просить его к себе вместо сына, обещаясь вывезть его в люди, отказать ему по записи свою Красную отчину близ Рязани и мне на покупку крестьянских дворов дать тысячу рублей. Со своей стороны, я должен был таить нашу сделку не только от его жены, которую он не

любил, но и от всех вообще, совершенно расстаться с сыном и никогда не сметь называть его своим, что обязывался я подтвердить клятвою. Я и жена сначала испугались было такого предложения; но, подумав, что у нас еще два сына, все погодки, один краше другого, надеясь, что наше семейство приумножится и вперед, и посоветовавшись с Андреем Денисовым, решился не мешать благополучию Владимира нашего. В это время нужды окружили нас со всех сторон, и к мысли о счастье сына присоединилось проклятое желание себе добра. Жена моя – таков был уговор – поехала в Коломну к своей родственнице; на дороге, именно в Софьине, оплакав Владимира, которого в последний раз назвала своим, сдала его новому отцу его; возвратись же домой, распустила слухи, что сын ее по дороге помер. Казалось мне, только два человека, князь Василий и Денисов, знали нашу тайну; но, видно, где два человека замешаются, там вмешается наверно и лукавый. Вскоре, к удивлению нашему, дошли до нас вести, что слухам, нами распущенным, не имеют большой веры. Не смели говорить, что я уступил или продал

своего сына, ибо временщик по власти своей мог тогда зажать рот железною рукой; однако ж самые приближенные Нарышкиных намекали мне глазами и усмешкою о том, что я желал скрыть. К стыду от людей примешались угрызения совести. Везде начал преследовать меня голос: ты продал своего сына! Утраты последовали за утратами: жена моя хотя и родила еще сына, но в течение пяти лет померли у нас два старшие; дворы, купленные на кровные деньги, полученные от князя Василья за наше детище, сгорели; в две жатвы собрали мы одну солому; скот падал; начались стрелецкие мятежи, и я едва не лишился тогда головы за преданность мою дому Нарышкиных; воспитатель и второй отец моего сына пал в безвременье, и село Красное, назначенное воспитаннику, отдано Гордону [34]. Несколько лет не видали мы Владимира; однако ж вести о нем не урежали. Пригож, не по летам силен и разумен, он одолевал в борьбе мальчиков, старших его несколькими годами, за что прозвали его Ильею Муромцем, и в рассуждениях со стариками заставлял их умолкать своими убеждениями. Но он

же был вспыльчив, не любил никому уступать, поднимал голову выше детей княжеских и говорил, что будет первым боярином русским. Гордостью не в род наш, говорили мы с женою. Наконец мы увидели Владимира: жена в доме княжеском, я в храме Божием. О! никогда не забуду я дня этого! Черные, живые очи его устремились раз на меня и врезались в моей памяти и сердце. Жене позволено было видать его потаенно: она целовала его, обливала своими слезами; но, клятвы не смея нарушить, не называла его сыном. Мы мешали вместе наши слезы и казались счастливее. Раз пришли нам сказать, что воспитанник князя Василья взят в терем царевны Софии Алексеевны и что он сделался ее любимцем. Это нас огорчило тем более, что нам известен был нрав ее, избалованный отцом и матерью, и ранние страсти, не знавшие препятствий уже с четырнадцатилетнего возраста. Можно сказать, что душа и тело ее и брата ее Петра Алексеевича рано возмужали, одной на гибель, другому на славу и благо России. Жене моей, на прежних условиях, дозволено было изредка видеть Владимира. Она

подарила ему маленькие гусли, на которых приклеена была картинка с изображением Ильи Муромца. Этот подарок привел его в восторг. С того времени в нем оказался необыкновенный дар музыки: со слуху разыгрывал он духовные песни и песни хороводные так, что его заслушивались. Царевна была от него без ума; но вскоре привязанность ее к нашему сыну сделалась ревнива. К 1683 году вовсе запрещен был вход жене моей в терем Софии Алексеевны».

Здесь кончалась выписка из завещания Кропотова.

– Остальное я не почел нужным приобрести, – сказал Паткуль, увидев, что Владимир кончил чтение бумаги, – повествование дальнейшего пребывания твоего у царевны и твоих несчастий не сходно с описанием, которое ты мне сделал. Отец твой, как и многие другие, получил о смерти твоей вымышленные известия. В конце завещания описывает он потерю единственного оставшегося у него сына, служившего в Семеновском полку и посланного за рекрутами в Новгородское воеводство. Этого удара не мог он выдержать и,

по-видимому, искал смерти в битве. Он умолял друга своего Полуектова принять на себя попечения о матери твоей, поставить придел во имя святого, твоего патрона, в церкви Троицкого посада, где совершилась твоя мнимая казнь, учредить поминовение по душе твоей и взять на воспитание беднейшего сироту вместо сына. Что скажешь на это, друг? Ты и теперь будто сомневаешься?

– Справедливо многое, что здесь описано, – сказал Владимир, читавший доселе выписку из завещания Кропотова с жадным и грустным вниманием. – Пригожая, добрая женщина, подарившая мне гусли, и теперь представляется мне, как в сновидении; но и теперь скажу: она не была моя мать. Выслушайте, что открыл мне сам Андрей Денисов, встретившийся со мною на днях в хижине здешнего лесника.

Тут Владимир пересказал Паткулю разговор свой с коварным стариком. Выслушав повесть, Рейнгольд углубился в размышления; казалось, он был поражен новым открытием. Не отвечая ничего, повел он в дом Блументроста Владимира, остававшегося по-прежнему

сиротою.

Глава седьмая История завещания

*Не в первый раз мертвец дела творит,
Какие вживь ему на мысль не приходи-
ли!..*

Аноним

*Готово все: жених приходит;
Идут во храм...
Но, ах! от сердца то, что мило.
Кто оторвет?
Что раз оно здесь полюбило,
С тем и умрет.
Жуковский*

Свидание Густава с Паткулем было трогательно. Племянник видел теперь в нем только своего ближайшего родственника, благодетеля, второго отца, единственную надежду, и в объятиях его спешил скрыть свои слезы.

– Густав! – сказал Паткуль, когда они могли беседовать спокойнее. – Представляю тебе моего друга. Не смотри на бедную его одежду:

под нею скрывается возвышенная душа, с которой я не смею своей поравняться; она не знает мести. Еще прибавлю: он русский!

И Владимир и Густав померяли друг друга взглядом; связи русского с Паткулем поняты Траутфеттером, и мысль о них возмутила было душу последнего; но другая мысль, что новый знакомец его сделался шпионом из любви к отечеству, и благородный взгляд Владимира заставили его с ним помириться. Оба поняли друг друга и единодушно пожали друг другу руки.

– Теперь, – сказал Рейнгольд, когда все они сблизилась искренностью разговора, – теперь, любезный Густав, могу исповедаться тебе в своих поступках. Тяжба моя со шведским королем оканчивается. Сам бог брани за меня. Жребий моего отечества брошен, каков ни есть он: Лифляндия принадлежит уже России. Крепости среди опустошенного ее края не оплот шведам. Суди Всевышний! не я первый затеял эту тяжбу. Соотечественники мои избрали меня своим представителем у престола неумолимого Карла Одиннадцатого и ходатаем за права их, освященные временем, зако-

нами и клятвою царей. Я исполнил, что мне поручено было, как благородный лифляндец: никто не упрекнет меня в противном. За это осужден я потерять голову и честь. Бежав от жестокого, незаслуженного наказания, ужели я сделался преступником?.. Сколько раз молил я двух венчаных судей моих простить мне вину, которой не знаю, и обещал честным словом Паткуля служить им верноподданнически; но я не обещал изменять обету, данному отечеству моему, любить его выше всего – и не был прощен. Мщение молодого короля за оскорбление будто бы отца не велит и теперь палачу опускать топора, занесенного на меня. Лишенный имения, прав гражданина, отечества, с одною честью, которой не в силах отнять у меня соединенные приговоры всех владык земных, я вынужден был, после нескольких лет изгнанничества среди гостеприимных, свободных Альпов, искать себе гражданской жизни. Отечества никто не мог мне заменить. Август предложил мне свое покровительство; я принял его. Из мирного круга пастухов Гельвеции перенесенный в кипучую, шумную жизнь двора, с

душой пламенной и нетерпеливой, какова моя, я должен был действовать. На политической дороге своей встретил я самонадеянность Карла и ненависть его ко мне. Карл перестал быть моим государем; он сделался только личным моим врагом; я не пошел назад и стал ему поперек. На это чувствовал я в себе довольно силы: успехи оправдали мою отвагу. Отечество мое предано было своей несчастной судьбе: я хотел спасти его от совершенной гибели. Меры спасения были тяжелы, но верны, я схватился за них. С медленным умом Августа и холодной, шаткой душой его я не сошелся. Я его называл застоєм прошедшего века; он меня – горячкой века нового. Надо было нам расстаться. На севере вставал исполин. Подпирая под невежество России сильный рычаг, он захватил им основание Швеции и готов уже был пытаться над нею силы свои. Гений Петра пленил меня: он один мог примкнуть к себе Лифляндию и сделать ее счастливою. Положение ее, ее раны, поделанные властолюбием Карла Одиннадцатого и растравленные удальством его сына; силы, средства, обширность России, которая, рано

или поздно, должна была поглотить мое отечество своим соседством и которая – поверьте мне – не позже столетия будет могущественнейшею державою в мире; величие Петра, рущающееся за благосостояние стран, ему вверенных, – все подвинуло меня оставить Августа и броситься в объятия царя, для меня открытые. Я сделался его подданным, его другом. Нет воли его, нет желания, которых бы я не почел для себя долгом. Если бы он заставил меня смолить корабли, я выполнил бы это, потому что этого желал бы Петр. Помогая его видам, я созидаю вместе благосостояние Лифляндии. Вот мои вины перед нею! Суди меня в них, Густав, как бы судила Европа, как будет судить потомство.

– Дядюшка! – отвечал Густав. – Трудно решать дело, на которое, по чувствам нашим, мы можем смотреть с разных точек. Скажу вам только: разум мой соглашается с вами, но сердце вас осуждает. Первым будет для вас потомство, вторым – современники, еще более – соотечественники наши. Не знаю вперед судьбы своего отечества: может статься, ваша политика доставит ему счастье, которо-

го истинно ему желаю. Но теперь истоптанные жатвы, сожженные села, скитающиеся без пристанища жители, тысячами гонимые, как стада, в Московию бичом татарина, города, опустошенные на несколько веков, – неужели все эти бедствия не вопиют против вас? Какая истина, какие надежды зажмут вопли несчастных?

– Против этих жестокостей я первый восстал в стане русском и старался облегчить участь несчастных. Скажу более: за эту бесчеловечную политику поссорился я с Шереметевым – и, чтобы не быть в ней невольным соучастником, удаляюсь к Петру. Вспомни также, Густав, что не я присоветовал войну, не я привел войска русские в Лифляндию.

– Но все в этом вас упрекают. Говорят вообще, что Рейнгольд Паткуль отмщает королю на своих соотечественниках.

– Неправда! неправда! Война была начата до меня; она прежде меня созрела в уме царя, желавшего облокотить свою державу о берег моря Балтийского. Я поспешил управлять ходом этой войны не для отягощения моего отечества, но для освобождения его от ига швед-

ского и безумного удальства нового Дон Кихота, предавшего его собственной защите. Не отменя все эти пожары, эти переселения, о которых ты говоришь. Не было б ныне Паткуля в Лифляндии – разве она освободилась бы от этих бедствий? Они были б еще жесточе, длились бы долее. Пускай же упрекают меня теперь, клянут те, которые не хотят разобрать моих действий. Отечество мое заключается не в одном настоящем поколении; оно и в потомстве, а потомство будет благословлять имя того, кто устроил его благосостояние. Лифляндия, ныне отторженная против собственной воли ее или, лучше сказать, некоторых закоснелых баронов, связанных узами родства и подкупом со Швециею, будет счастлива под скипетром России. Голова моя в этом порукою.

– Голова! да, голова! – сказал, глубоко вздохнув, слепец, приведенный Немым в комнату, где находились наши собеседники.

Конрада посадили на кресла, и Немой удалился.

Слова, произнесенные слепцом, видимо, сделали неприятное впечатление на дух Пат-

куля, хотя он не мог изъяснить себе причину этого неудовольствия. Вскоре, однако ж, успокоился он и продолжал снова оправдание своей политической жизни. Густав не мог согласиться с дядею; но, зная пылкий нрав его и потому не желая ему противоречить, замолчал.

– Вижу, что ты не соглашаешься со мною, – сказал Паткуль с нетерпением.

– Я подданный Карла Двенадцатого, – отвечал с твердостью Густав, – а вы неприятель его.

– То же ли ты скажешь, молодой неопытный упрямец, налитанный героизмом скандинавского рыцаря, когда узнаешь, что с судьбой твоего отечества я устраиваю твое собственное счастье? Спрашиваю тебя: любишь ли ты еще Луизу Зегевольд?

– Вы мой дядя, благодетель мой; я в плену, я весь ваш и не думаю, чтобы вы насмехались над несчастьем и моими отношениями к вам.

– Дядя твой, – возразил Паткуль с иронической усмешкой, – хотя жесток до того, что привел русских в свое отечество, чтобы его жечь, палить, грабить, опустошать; *хотя за-*

был права государственные и законы Божии до того, что не пожертвовал собой несправедливости и властолюбиво двух королей, захотевших выпотрошить его физически и нравственно, чтобы сделать из него чучелу на позор Лифляндии; хотя он таков...

– Дядюшка! ради бога, не оскорбляйтесь моими мнениями, моими чувствами. Вы не требовали, чтобы я говорил против себя.

Паткуль не слушал его и продолжал:

– Хотя он таков; но не был никогда зол до того, чтобы смеяться над несчастьем, особенно тех, кого любит больше всех после своей чести. Что говорит Рейнгольд Паткуль, то он и делает. Я обязан тебя в этом удостоверить. Вольдемар не лишний в нашей беседе. Слушай же меня и отвечай на мои вопросы.

– Слушаю, дядюшка!

– Помнишь ли утро, когда, одолеваемый мучениями любви и жаждой узнать о состоянии Луизы, ты шел, как сумасшедший, по дороге из Оверлака в Гельмет?

Вопрос этот поразил Густава неожиданностью его. Собрав рассеянные мысли и стараясь успокоить чувства свои, встревоженные

разнообразными воспоминаниями, он отвечал:

– Дорого бы я заплатил, чтобы забыть день этот!

– Нет, помни его, запиши его в своем сердце; он для тебя день счастья. Тише! не говори ничего и отвечай только на мои вопросы. Кто встретил тебя тогда?

– Кучер баронессы, Фриц.

– Фриц! – закричал Паткуль из окна, и верный служитель, который, казалось, дожидался призыва и потому находился в нескольких шагах от дома, явился пред изумленным Густавом.

Не знал последний, что говорить; слезы заструились по лицу его; глаза старика были также мокры – и Густав, бросившись его обнимать, воскликнул:

– Он, он сулил мне счастье!..

– Чьим именем обещал он тебе это счастье?

– У моего благодетеля не было тогда имени, но я узнаю его теперь. Безыменный были вы – мой второй отец!

– Теперь отвечай ты, Фриц! – посредством

кого назначил ты исполнение моих обещаний?

– Через *русских* и *чухонскую девку*, – отвечал Фриц.

– Когда, говорил ты, можно будет приступить к этому исполнению?

– Когда русские и чухонка побывают вместе в Рингене.

– Дней с пять они должны быть уже там. С часу не час ожидаю известия, что перелом твоей судьбы, Густав, совершился. За это теперь отвечаю; но пока не побывал в Гельмете доктор Падуанского университета, пока я не увидал Адольфа, твой стряпчий мог еще бороться за успех своих планов. Еще один вопрос: заключаешь ли ты свое счастье в том, чтобы Луиза не принадлежала никому другому, кроме тебя?

– Если она меня еще любит, чего мне более?

– Остальное предоставим Богу!

– Только изо всего этого я ничего не могу понять, дядюшка!

– А вот мы сейчас все дело объясним. Выслушай мой рассказ. Адольфу не было еще

шести лет, – так начал Паткуль свое повествование, – а тебе осьми, когда отцы ваши померли, один вслед за другим, в течение нескольких месяцев. Они оставили вдовам и детям своим благородное имя, не запятнанное ни одним черным делом, и довольно большое поместье. Первое наследство, благодарение Богу, вами сохранено в целости; второе – вырвано из слабых рук женских ревнивою властью Карла Одиннадцатого и редуccionною комиссией. Изобретательное усердие этой комиссии не столько в поправлении государственных финансов, сколько в угождении власти превзошло меру несправедливости, какую можно только вообразить себе. Чтобы обогащать казну, судьи опирались сначала на законы; далее, пренебрегая и этой благовидною опорой, стали отнимать только именем короля, даже комиссии и, наконец, одним именем Гастфера. Так несправедливость, ослабленная свыше, делает быстрые успехи! Это государственный антонов огонь; он заражает все тело, если в начале его не примут мер сильных и скорых.

Мать Адольфа пережила своего мужа дву-

мя годами: после нее сирота перешел на мои руки. В способах воспитания его помогал мне ваш дед по матери, барон Фридрих Фюренгоф. Я нарочно распространюсь об этом достойном человеке, как для удовольствия говорить о нем, так и для того, чтобы показать тебе прекрасный образец жизни честной. Дед ваш был честный человек в строжайшем смысле этого слова. Не только делом, думаю, и мыслью он ни перед кем не солгал. Редко и неохотно, по принятым им правилам, ручался он за кого; но, когда ручался, тогда не требовали залогов. Сколько он был честен, столько и бережлив: можно было б назвать его хозяйственностью скупостью, если бы в домашнем быту не окружало его довольство. Во всю жизнь свою не был он никому должен; ссужал деньгами только людей точных и никогда без процентов, хотя брал самые умеренные; никому особенно не благодетельствовал; считал своими неприятелями только тех, кто жил не по состоянию и беспорядочно. Для своего стола он не был скуп, любил угостить хорошим куском и старым вином доброго приятеля, но званых обедов не делал. Дворо-

вые люди его были хорошо обуты, одеты, сыты; но каждый из них вознаграждал эту часть хозяйственных расходов своими трудами, потому что каждый был обучен какому-нибудь ремеслу. Все, что для дома было потребно, находилось у него в поместьях и делалось дома, все, от фундамента до черепицы, от гвоздя до щеголеватого и прочного берлина, от берды ткача до затейливой шкатулки, в которой он прятал свои деньги и над которой незнающий попотел бы несколько часов, чтобы открыть ее. Сам он был всегда одет чисто, хотя нашивал свои платья по несколько десятков лет; роскошь знал он только одну, именно — белья, которое вовремя, через усердных должников своих, выписывал из Голландии. Старость его была приятная, потому что он опрятность считал одною из добродетелей человека. Имел он дом поместительный, но чрезвычайно странный фасадом и внутренним расположением; обделывал его постепенно, смотря по надобностям своим, из маленького домика. Все пристройки к нему делались так, что хозяин не имел никогда нужды из него выходить. Прибавление каждой

комнаты было памятником какой-либо эпохи из жизни Фридриха. Собирался ли он жениться: выстраивали на дворе спальню и девичью, первую только с тремя стенами, придвигали их к одной стороне дома, подводили под них фундамент, нахлобучивали их крышею, огромными, железными связями скрепляли все с главным зданием, которое можно было назвать родоначальным; наконец вырубали, где нужно, двери и закладывали окна. Родился сын: таким же образом примыкали для него комнату. Та же история для двух дочерей, для дядек, для прислуги. Можно судить, каков был этот многоугольник. Говорят, что железо, которое пошло в него, стоило целого дома, и потому-то Балдуин, получа его в наследство, спешил сломать на продажу.

Кроме плодovitого сада, приносившего хороший доход, старик Фюренгоф никакого не имел; не отягощал он барщиною крестьян для вычищения дорожек, которые сам протапывал, гуляя там каждый день аккуратно два раза, поутру и после обеда, летом и зимою, в ясную погоду и дождь. Кедр, посаженный им еще в малолетстве, служил ему приятней-

шим павильоном. Он имел избранную библиотеку, и все новое в области литературы и наук делалось собственностью его пытливого ума. Соседей, без разбора состояния, принимал он ласково и умел каждого занять так, что умный и глупый отъезжали от него довольные им и собою. Сам же ездил только по разу в год к двум, трем приятелям, особенно им уважаемым, в день их рождения: ни гроза, ни буря не могли помешать ему исполнять эту обязанность. В городе же, именно в Дерпте, был он только раз в двадцать лет, и то по случаю смерти своей сестры. Это путешествие сделалось эпохою по всему протяжению дороги его; теперь еще в деревнях, чрез которые он проезжал, и в самом Дерпте вспоминают о его раззолоченном берлине и двух долгих егерях на запятках, как об осьмом чуде.

Окрестное дворянство, знавшее его ум, твердость и благородство души, прибегало к нему за советами и помощью: где нужно было научить, защитить от притеснений сильного, вышколить судей за несправедливость, он вызывался охотно на услугу и выполнял ее с пользой для обиженного, лишь бы не требо-

вали от него никаких расходов. Но лучшим ему панегириком служат слезы крестьян над могилою того, кого прозвали они отцом своим. Надо заметить, что его точность в образе жизни изменилась, видимо, под конец ее, по причине, которую не замедлю объяснить.

Изо всех детей своих Фридрих Фюренгоф любил предпочтительно мать твою: это была его милая дочь, его утешение в старости, его Ревекка. Никто, кроме нее, не мог старику угодить, когда он бывал болен; никто не умел, как она, оживить его пустыню. Любовь к ней старался он выказать во всех случаях. Мать твоя не возгордилась этим предпочтением; мать Адольфа им не огорчалась. Последняя скоро умерла. Фридрих, точный во всем, заранее составил завещание, которым отказывал порядочную часть недвижимого имения Адольфу, наследнику после умершей матери его, а лучшую главную часть и все движимое имение – своей Ревекке. Сыну же своему, Балдуину, которого он к себе на глаза не пускал за его распутство, жестокосердое обращение со своими людьми и покражу у него значительной суммы денег из комода, ничего не да-

вал, кроме мызы Ринген, преданной беспутному на жертву еще при жизни старика. Надо сказать тебе, что, несколько времени после того, как мать твоя вышла замуж и покинула дом родительский, старик, грустя по ней и скучая своим одиночеством, выпросил у моего отца дворовую десятилетнюю девочку Елисавету, из семейства Трейман[35], которое так прозвано за наследственную верность и преданность к нашему дому. Один брат этой Елисаветы – Фриц, имеющий честь быть тебе известным; другой брат – Немой, которого ты, без сомнения, здесь до меня видел.

– Он первый оказал мне самые красноречивые услуги, – перервал Густав.

– Им-то, – продолжал Паткуль, – обязан я много в нынешнюю войну. Но об этом после; теперь слово об Елисавете. Девочка эта за живую физиономию, умные ответы и особенную расторопность чрезвычайно полюбилась твоему деду. Взяв ее к себе, он старался сам образовать ее и в четыре года успел сделать из нее маленькое чудо. В такое короткое время выучилась она читать стихотворцев; бегло и с чувством, писала мастерски, как будто жем-

чугом унизывала бумагу, и вела счета не хуже конторщика. Успехи ученицы радовали наставника. Сначала она служила деду твоему в уединенной старости вместо игрушки; потом привычка и польза сделали ее для него необходимою. Другого чтеца, счетчика и секретаря не имел он. Наконец, по сродной преклонным летам слабости, он начал и баловать ее. Между тем в Елисавете, упредившей возраст необыкновенными успехами в умственном образовании, развивались так же скоро и страсти. В душу ее стоило только забросить искру, чтобы они воспламенялись. Маленький деспот в доме, девчонка понемногу подбирала к себе владычество и над хозяином его: заметив, что необходима для старика, Елисавета каждый день делала новые требования; старик каждый день уступал что-нибудь из прав своих. Впрочем, она пользовалась властью не для отягощения окружавших ее служителей, а, напротив, для послабления их обязанностей. В последнем находила она свое торжество. Домашние любили ее, потому что она всех их баловала. Шестнадцати лет Елисавета узнала скуку, а куда заглянет эта

гостя, туда наверно приходит с нею подруга ее – желание. Балдуин воспользовался этим душевным состоянием ее и бросил на нее свои хитрые виды. Приступ сделан со всеми утонченностями любовной науки. Балдуин, хотя имел близ сорока лет, был недурен собою, красноречив на искушение, казался страстным, и девчонка, склонная к пороку, предалась обольстителю. В это время дед твой сделался болен; он гас медленно и с каждым днем приближался ко гробу – обстоятельство, поторопившее Балдуина к исполнению его замыслов. Уверенный, что обладает совершенно любимицею отца, искустель открыл ей свое положение, свои муки; рассказал, что обязан несчастиями своими единственно проискам сестры, которая поссорила сына с отцом и готовилась будто бы выгнать постыдным образом из Фюренгофа новую владычицу его; просил Елисавету помочь ему в этих несчастных обстоятельствах и обещал на ней жениться, как скоро только отец его умрет. Чего б не обещал он тогда, лишь бы получить желаемое! Елисавета любила обольстителя со всею силою первой и последней страсти; она

носила уже под сердцем залог этой преступной любви, и потому не было жертвы, которую бы не принесла ей. Все, что только мог бы он придумать к своему благополучию, обещано ею выполнить. Составлен был адский совет, в котором главное лицо играл Никласзон, водочный заводчик в одном из поместьев Фюренгофа, молодой ловкий еврей, принявший христианство и готовый каждый день переменять веру, лишь бы эта перемена приносила ему деньги; тот самый Никласзон, которого видел ты секретарем у дипломатки Зегевольд и ныне видишь моим агентом.

– И этот злодей, – прервал с жаром Густав, – осмеливается сквернить своими устами имя ангела земного!.. и он хвалится вашей дружбой, дядюшка?

– Моей дружбой?.. Негодяй! он только мой наемщик, мой слуга. Я могу плюнуть ему в лицо, утереть ногой, бросить ему после того кошелек с деньгами – и он низехонько поклонится мне! Моей дружбой?.. Я проучу его!..

(Никто из собеседников не подозревал, что Никласзон стоит в соседней комнате и слышит все, что в ней говорили.)

«Теперь *выдержу!* – рассуждал сам с собой Элиас. – Но когда-нибудь и ты, гордец, попадешься на мой ноготок!»)

– Как же вы сами, дядюшка, – продолжал Густав, – могли избрать это гнусное орудие для выполнения своих политических видов?

– О! это дело иное, друг мой! Политика неразборчива на средства, лишь бы они вели к предположенной цели. Часто ласкает она существа, которые и задавить гадко. Но мы не философствовать, а просто рассказывать намерены: возвратимся же к нашему рассказу.

Составлен был адский совет, говорил я, и в нем положено было: во-первых, Балдуину явиться к отцу своему, броситься к нему в ноги, умолять его о прощении и между тем подвинуть к посредничеству духовника барона Фридриха. Этот приступ удался. Старик, чувствуя приближение смерти и убежденный христианскими доводами пастора, вымолвил прощение; но в сердце его, не только на устах, не было помину о перемене духовного завещания. С того времени Балдуин, казалось, переродился: нежнейшие попечения о больном отце, милости окружавшим его служителям,

заботы о бедных в округе – все это могло ослепить чернь, но не обмануло умного старика насчет цели, с какой это делалось. Впрочем, дед твой, желая перейти за порог жизни, не отягощенный ненавистью к сыну, показывал при всех если не нежность к нему, по крайней мере, милостивое с ним обращение. Это обстоятельство впоследствии времени немало служило к оправданию злодея. Старик ожидал со дня на день приезда милой дочери своей, жившей с твоим отцом под Ревелем. Она не ехала – и немудрено: письма к ней и от нее были перехватываемы. Мнимое равнодушие ее подтачивало последний корень, которым дед твой держался еще к земле. Как будто нарочно, для лучшего успеха злодейского плана, пришло от дочери письмо, которым уведомляли старика о безнадежности состояния твоего отца. Убийственная посылка была на время задержана. Между тем завещание искусно украдено Елисаветой, знавшей все мышьи норки в доме, и как оно было писано ее рукой, то и составлено этой же рукой новое. Этим завещанием барон Фридрих, будучи в полном уме и памяти, совершенно уничто-

жал старое и, в уважение раскаяния и исправления сына, также, чтобы благоприобретенное имение Фюренгофов не могло перейти в другой род, делал Балдуина главным наследником всего своего богатства, движимого и недвижимого, за исключением небольшой части, назначаемой дочери, оставшейся в живых, и сына умершей дочери. А чтобы вновь составленный акт имел более благовидности, завещатель обязывал в нем Балдуина избрать себе в наследники, по своему благоусмотрению, одного из своих племянников, к которому уже все имение должно было перейти с фамилией Фюренгофа. Элиас, умевший мастерски подписывать под разные руки, подмахнул под руку барона Фридриха так искусно, что лучшие приятели его не могли в подписи усомниться. Когда же это было улажено, предъявили больному письмо твоей матери и новое, вслед за тем пришедшее, которым уведомляли о смерти отца твоего. Убийственная посылка имела действие, предугаданное злодеями, без всяких других насильственных средств, хотя Никласзон и уверял своего доверителя, что химия его в этом случае много по-

могла. Как известно сделалось мне впоследствии, это была выдумка, чрез которую хитрый поверенный думал взять более власти над душой злодея. Водяная, мучившая деда твоего, поднялась в грудь, и он лишился языка. Призваны были в комнату умирающего духовник его, несколько служителей-стариков и один из соседей, только именем дворянин, должник Балдуинов. Послано и за самим Балдуином, нарочно уехавшим дня за два в свой притон. Твой дед держал в костеневшей руке завещание; из другой только что выпало перо. Будучи еще в памяти, он с горестным видом кивнул на роковую бумагу. Пастор, простодушный и торопливый, вынул ее из руки и, увидев, что это было духовное завещание, прочел его при всех. Знаки нетерпения, которые умирающий силился показать при этом чтении, перетолкованы духовнику за желание, чтобы акт был им скорее подписан, пока сохранялась в завещателе жизнь. Дед твой навеки смыкал глаза, а духовник скреплял подложный акт; за ним подписал и дворянин, о котором я говорил. Этот между тем предостерег пастора, что, для избежания вся-

кого сомнения со стороны наследницы, не худо б заставить старых служителей присягнуть, что они все видели и слышали волю покойного на засвидетельствование духовной — и это выполнено в точности простодушным пастором. Акт, сделанный по форме, представлен в суд. Судьи знали хорошо подпись барона Фридриха и удостоверили законность акта. Вскоре родились, однако ж, подозрения; мать твоя протестовала против него; но деньги, сильное ходатайство баронессы Зегевольд, с которой в то время сделано было известное условие, и, наконец, присяга духовника и служителей выиграли спорное дело в пользу преступления, которое владеет именем твоим и доньне. Но бог, рано или поздно, карает злодеев. Час твоего дяди пробил.

Мы бранили Элиаса Никласзона: теперь расскажу тебе об одной черте его дальновидного ума, за которую он годился бы в дипломаты. Он утаил у себя, на всякий случай, истинное духовное завещание, а своему покровителю объявил, что сжег его и развеял даже его прах. Эта догадка была не лишняя. Балдуин в первый год обладания своими сокрови-

цами был признателен к тем, которые помогли ему достать их: Никласзон возведен в степень поверенного по делам; жалованье, по условию, ему исправно выдано. Во второй год оказалась маленькая неустойка, в третий большая, и так постепенно, с каждым годом, до того, что поверенный, в один срок платежа, отпущен с руками, полными одних извинений и жалоб на неурожай, худые обстоятельства и тому подобное. Элиаса, однако ж, боялись еще и, в вознаграждение за денежные недоимки, удовольствовались его самолюбием, определив его секретарем к баронессе Зегевольд. Он казался довольным; но осадка места лежала на дне сердца его, и стоило только дать ему сильный толчок, чтобы возмутить ядовитый настой. С Елисаветой обходились каждый год хуже. Причин много к тому было: надлежало отклонить подозрение, что она участвовала в подложном завещании; великодушным своим к дворовым людям, щедростию и желанием владычествовать в замке беспрестанно сталкивалась она с низкой душой, скупостию и тиранством Балдуина; наконец, нужно было заменить старую любими-

цу новой. Мальчик, которого Елисавета родила, давно сослан был на прокормление к родственнице ее, бабке Ганне, живущей под Гельметом. Это приятель твой, Мартышка, напугавший тебя так много в роковой вечер у *трех сосен*.

– Недалеко же упало семя от злой крапивы, – сказал Густав.

– Никласзон, соболезнуя об участнице его преступления, открыл ей, каким драгоценным сокровищем он обладает. Свобода не столько бы обрадовала заключенного, как Елисавету эта весть. В душе ее, измученной раскаянием, ревностью к сопернице, неблагодарностью ее оболъстителя, жестоким обхождением с ней, встала месть во всем страшном своем вооружении, со всеми орудиями казни. Бывшая любимица твоего деда, прежде столь гордая, пала к ногам Никласзона, обнимала их, умоляла осчастливить ее уступкой рокового завещания и давала клятву, самую ужасную, употребить его в дело тогда только, когда он ей это дозволит и найдет удобным, не жертвуя своею безопасностью. Никласзон сжалился над ней, или, лучше сказать, расчел

выгоды и невыгоды этой уступки, и – завещание было в руках Елисаветы. Этому прошло лет пять. Могу тебе сказать теперь, что к этому времени двое из моих друзей, подавая мне из Лифляндии в Лозань руку помощи, вербовали мне приверженцев и лазутчиков в моем отечестве. Они бросили виды свои на Элиаса. Потомок Иуды был скрытен, умен, лукав; золото ослепило его, и он сделался моим. С того времени, исправно получая условленные деньги и поощряемый наградами не в зачет, он верно служил мне. В этом должен я отдать ему справедливость. Перемена службы немало побудила его к уступке завещания Елисавете, которой оно принадлежало по праву злополучия. Несчастливая, угадывая злодейские над собою замыслы Фюренгофа, решилась в одну ночь бежать; но, успев только сползти из окна по стене, услышала за собой погоню. Увернуться от нее было невозможно. Она спряталась в саду. Уже мелькали исполнители злодея. Что делать? Оставалось только спасти орудие своей мести. Роковая бумага завернута в платок, в другой, потом в башмак, и сунута в глубокое дупло дерева, растущего под

окном кабинета рингенского властелина.

– Может быть, – произнес Густав с каким-то страхом, – дерево это давно срублено или сгнило?

– Провидение хранит его для наказания злодейства. По крайней мере мы не теряем в этом надежды. Пойманная Елисавета заключена в особенную комнату под жесточайший присмотр. Об ее несчастной участи узнал Никласзон и спешил к ней на помощь. Он уговорил Фюренгофа, только для вида, сжалиться над своею пленницею, простить ее и отпустить с ним, будто для свидания с ее сыном, в Гельмет, откуда обещал, через несколько дней, отправить в Елисейские поля[36] этого опасного для них обоих свидетеля. Рингенский барон не знал скорейшего средства избавиться от нее и согласился. Через несколько дней получено им в самом деле известие, что Елисавета не существует. Он так обрадовался этому известию, что сшил своей новой любимице Марте тонкий чепчик, себе сделал модный парик и решился было выдать Никласзону один год недоимки, но, подумав, что этот поверенный не смеет изменить ему собствен-

но для себя, отсчитал ему только кучу благодарностей. Впоследствии секретарь баронессы, продолжавший называться преданнейшим человеком Фюренгофа, действовал заодно с Елисаветою; даже еще в недавнем времени диктовал ей красноречивое письмо, которым грозил ему и вместе себе роковым завещанием. Елисавета укрылась здесь, на мызе моего доброго приятеля доктора Блументроста. Когда же я сам явился инкогнито в Лифляндию, когда мой верный Фриц определился кучером к баронессе Зегевольд, чтобы надглядывать над Никласзоном и получать по возможности своих средств сведения о том, что происходило кругом Гельмета...

– Извините, дядюшка, что прерываю вас. Каким же образом баронесса и другие неприятели ваши не отгадали вашего лазутчика в Фрице, которого они должны были по вас прежде знать?

– Нет, друг мой, они его вовсе не знали. Отец мой в разные времена своей жизни имел пребывание в Стокгольме и умер там. Семейство Треймана было с ним неразлучно. Там отдал он Фрица, еще мальчиком, в берей-

торы и ветеринары. Кончив курс учения, Фриц оставался всегда в резиденции для надзора за лошадьми, которыми отец мой особенно любил щеголять и славился во всем королевстве. Неоднократно служитель умел оказывать своему господину опыты редкой преданности и верности. Господин умел их чувствовать и ценить: со смертного одра своего благороднейший из людей и нежнейший из отцов поручал меня с братом этому служителю, как родственнику, как другу. Я путешествовал тогда. По приезде моем в Лифляндию Фриц жил у моего брата, стоявшего с полком в одной из отдаленных провинций Швеции; поступил же ко мне, когда начались мои несчастья. Теперь моя помощь вам нужнее, говорил он, и оправдал свои слова на деле. Всем был он для меня в черные дни мои: спасителем от позорной казни, меня ожидавшей, потому что он более всех способствовал к моему бегству из Стокгольма. Он питал меня во дни голода, утешал в изгнании; помощник мой в освобождении Лифляндии от ига шведского. Но я замечая, что тронул твою слабую струну...

– Не то читаете вы, дядюшка, на лице моем: я хотел спросить, почему знает меня Фриц?

– Он видел тебя в Стокгольме, у меня в доме, перед вступлением твоим в университет... Итак, когда построены были все мои политические виды в Лифляндии, куда тайно приезжал я нередко, когда русские войска вступили в здешний край, в душе Елисаветы зажглись темные надежды мщения. Войско русское могло быть в Рингене!.. Почему ж и ей не быть там вместе?.. С этою мыслью и разными видами, которые мне сообщила, она поступила маркитантшею в корпус Шереметева, под именем чухонской девки Ильзы. Чего не испытала она там в два года между солдатчины!.. Но близок час ее торжества; может быть, он уже наступил. Секира, лежавшая у корня, должна быть поднята, и древу нечестия пришло время пасть. (Паткуль в благоговении прочитал про себя молитву.) Молись Богу, добрый мой Густав, и Луизу не отнимут у тебя.

– Дядюшка! благодетель мой! если б это так было!..

– Обещался ли б ты тогда оставить шведскую службу и вступить в русскую?

– Никогда, никогда, хотя б это стоило руки Луизы! Я умру верным моему законному государю.

– Даже и тогда, когда отечество твое признает своим государем Петра Великого и присягнет ему на верность?

– Тогда... Это не может быть!..

– Но если бы это случилось?

– Тогда б и я служил Петру, государю Лифляндии. (Паткуль молча пожал ему руку.) Но что я говорю? До какого слова довели вы меня, дядюшка! Я себя не узнаю. Когда мое отечество гибнет в пожарах и неволе; когда мои ближние, мои друзья идут тысячами населять степи сибирские, в то время имя Петра, виновника этих бедствий, на устах моих и, может быть, в моем сердце заменило имя законного моего государя... Луиза! – вскричал Густав, закрыв глаза руками. – Ты это все делаешь! – Потом, немного подумав, сказал он Паткулю: – Воля ваша, дядюшка, я не понимаю, какие надежды могу иметь. Получение имени?.. На что мне оно в неволе, без нее?

Счастливей был бы я в тысячу раз, если бы вместо богатства пришла она без придачи в мою бедную мызу – наследство бедного отца; я принял бы ее тогда, как божество, которое одним словом может дать мне все сокровища мира.

– Я не всемогущ. Могу тебе только сказать: будь покоен. Если Ильза не умерла до прибытия русских в Ринген, так брат твой не женат на Луизе. Все прочее предоставим Богу; а покуда будем ожидать благоприятного послания от нашей феи, обладающей талисманом всемогущим.

Так кончился разговор, открывший многое Густаву. Нельзя выразить мучительное положение, в котором он провел целый день между мечтами о счастье, между нетерпением и страхом. Иногда представлялась ему Луиза в тот самый миг, когда она, сходя с гелметского замка, с нежностью опиралась на его руку и, смотря на него глазами, исполненными любви, говорила ими: «Густав, я вся твоя!» То гремело ему вслух имя Адольфа, произнесенное в пещере, или виделось брачное шествие брата его с Луизой...

Утром следующего дня Паткуль пришел к нему с бумагою, только что полученною от Ильзы на имя господина Блументроста. Принесший ее был чухонский крестьянин, которому заплачены были за эту услугу большие деньги, с обещанием такой же награды при доставлении.

– Друг мой! – сказал Паткуль племяннику своему. – Я не развертывал до тебя рокового послания. Возложим упование наше на Бога и с твердостью, сродною нашему полу, приступим к чтению.

Здесь поднял он глаза к небу и с трепетом сердечным, как бы его собственная судьба заключалась в бумаге, развернул ее. Он обещал много... и горе ему, если он питал напрасно любовь и надежды Густава! Горе последнему, если дядины слова не сбудутся!

– Пойдите, дядюшка! – вскричал Густав. – Подождите читать; не убивайте меня вдруг; дайте мне однажды перевести дух.

– Малодушный! помни: Луиза смотрит на тебя. Человек, не умеющий управлять собою, недостоин ее.

Это волшебное имя придало силы несчаст-

ному, и он готов был спокойнее выслушать свой приговор.

– Письмо это на имя Блументроста, – продолжал Паткуль, пробегая глазами бумаги и перевертывая листы. – Понимаю, предосторожность не лишняя! Но рука незнакомая, и подписи не видно! Боже мой! сколько лоскутов, и что за чепуха!.. Постараемся пройти через этот дедал[37]. Но вот письмецо, вероятно писанное женскою рукою. Оно к тебе адресовано, милый друг, и запечатлено именем, для тебя драгоценным.

Записка была уже в дрожащих руках Густава. Он пожирал на ней глазами и сердцем следующие строки:

«Густав! женщина, посланная от тебя, сказала мне, что ты ранен, болен и умрешь, если на вечное прощание не скажу тебе слова утешения. Какое утешение может дать та, которая сама более имеет в нем нужду, нежели кто-нибудь? Сказать ли мне, что я тебя люблю? Ты это знаешь; и на что тебе теперь это слово?.. что сделаешь из него?.. Повторяя его тебе, я уже преступница: через несколько ча-

сов я жена твоего брата. Велят, и я повинуюсь. Прости! Будь счастлив: мысль об этом усладит немногие дни, которые осталось жить Луизе З.».

– Свершилось все, дядюшка! – воскликнул Густав, целуя записку и рыдая над нею. – По крайней мере, с этим залогом умереть не тяжело. Она меня любит!.. Чего ж мне более?.. Луиза моя!.. Сам Бог мне ее дал.. Она придет к тебе в дом, Адольф, но не будет твоя. Ты не знаешь, что она сердцем сочеталась со мною прежде!.. Скоро уйдет она от тебя ко мне, к законному ее супругу. Ложе наше будет сладко... гроб! Из него уж не повлекут ее силою. В гробу ведь не знают власти матери.

В глазах Густава что-то было дикое; с ядовитою усмешкою он обращал их на все окружавшее его; он весь дрожал. Записка упала из рук. Паткуль поднял ее.

– Успокойся, друг мой! – сказал этот, пробежав ее, и потом, ласково взяв руку своего племянника, прибавил: – Ты прочел не всю записку. Взгляни: вот отметка, сделанная рукою твоего благороднейшего брата. Всмотрись хо-

рошенько. Успокойся, прошу тебя именем Луизы.

При этом имени Густав вздрогнул, потер себе лоб рукою, озирался, как бы не знал, где он находится и что с ним делается. Паткуль повторил ему свое замечание, и он схватил опять записку Луизы. Действительно была на ней следующая отметка: *«Я читал это письмо и возвращаю его по принадлежности. Будь счастлив, Густав, повторяю, – вместе с Луизой. Благодарю Бога, что еще время. Давно бы открыться тебе брату и другу твоему Адольфу Т.»*.

За этой припиской следовала другая: *«Я отмщена. В дни счастья своего не забудьте злополучной Ильзы»*.

Густав не верил глазам своим; читал, смотрел радостно на дядю, углублялся в думы, еще перечитывал. Глаза его просветлели; сладкие слезы полились из них и облегчили его сердце, сдавленное горестию.

– Я еще ничего не понимаю, – сказал он наконец, бросаясь обнимать Паткуля, – но уже счастлив.

– Поищем объяснения в этой бумаге; но

клянись мне прежде не дурачиться более и помнить одно: тебя любят, и твоя любовь известна брату, каких мало на свете. С тебя пока довольно.

– Клянусь быть спокойным, что бы ни было написано в бумагах, еще не прочтенных: после той, которая у меня, я ничего не страшусь. Добрый, благородный, милый Адольф! я тебя постигаю.

Взглянув на Густава с усмешкой, как бы не доверяя ему, Паткуль начал читать вслух по порядку листы, бывшие у него в руках:

– «Вы удивитесь, почтеннейший господин доктор, получив от меня письмо из Дерпта, и так небрежно написанное на нескольких лоскутках. Причиною тому чудесные происшествия, случившиеся в семействе Зегевольд, и поспешность, с которою я извещаю вас о них: они перевернули весь дом вверх дном, вскружили мне голову до того, что я не в состоянии ныне классифицировать порядочно ни одно растение, и так деспотически мною управляют, что я, не имея бумаги, принужден выдирать на письмо к вам листы из флоры, которую составил было во время моего путешествия от

Гельмета до Дерпта. Ах, почтеннейший господин доктор! какую собрал я коллекцию драгоценных растений, по которым нередко вздыхали мы так тяжело! Если бы вы могли видеть чудесный *ganunculus septentrionalis*, который отыскал я – и где ж, как бы вы думали? неподалеку от *salix acutifolia foemina*. А вы знаете, мой любезнейший друг, что женский пол этого рода, бывший доселе у нас неизвестным, почитали только дикорастущим на берегах Каспийского моря...» – Тут Паткуль, потеряв терпение, пожал плечами и сказал: – Спешит же чудак уведомить о делах фамилии Зегевольд!

Потом пробежал глазами несколько строк, бормоча про себя, и вдруг начал читать опять вслух:

– «Вы только можете поверить, с какою любовью обнял я эту прелестную Дафну[38], доселе убежавшую от моих поисков, – вы только, потому что ваше сердце бьется, как и мое, при виде этих прекрасных творений... И что ж? Злодеи, служители баронессины, выбросили...» Тьфу, пропасть! да это целая история ивы. Сколько молчалив он на словах, столько

болтлив на бумаге. Боже мой, пошли мне терпение! Брр, бр... Наконец берег, берег! «Я, кажется, сказал вам в начале письма, что не писал бы к вам так скоро после свидания нашего, если бы не просила меня об этом убедительно одна несчастная женщина, которой имя узнаете из содержания этого письма и в судьбе которой, как она мне изъяснила, вы принимаете такое же искреннее, живое участие, как и в судьбе моей воспитанницы. Повидимому, звезда одной имеет сильное влияние на путь другой. Вы должны, во-первых, знать, мой почтеннейший, что мы с Адольфом Траутфеттером едва довели больную Луизу до Гальсдорфа, поместья госпожи баронессы, неподалеку от Рингена, – поместья, которое обладательница его близ десяти лет не видала и откуда мы выпугнули сотни летучих мышей. Одну из них, весьма замечательную по устройству головы, берегу в банке. Она, – то есть баронесса, хотел я сказать, – до сего времени не любила Гальсдорфа; но в беде пригодится иногда и то, на что мы прежде и смотреть не хотели. Все нежнейшие попечения влюбленного жениха были истощены,

чтобы успокоить страждущую или, лучше сказать, умирающую невесту. Кажется, для спасения ее он пожертвовал бы жизнью. Жаль мне было доброго, благородного Адольфа! Луиза принимала его услуги с признательностью, казалась внимательною к его попечениям; между тем душевный огонь видимо пожирал остатки ее жизни. Адольф приписывал это состояние разлуке с матерью, неизвестности о ней в такое злополучное для Лифляндии, и особенно для Гельмета, время и тому подобному. Но я видел, что болезнь ее имела одинакий источник, как и та, от которой вы излечили мою воспитанницу нынешней весной. День ото дня нежней становился Адольф, день ото дня – Луиза грустнее. Худое выйдет из этого, думал я; но этому худу помочь было нечем. Приехала через двое суток баронесса, скучная, молчаливая, кажется, из доброй школы, потому что отложила в сторону все дипломатические заботы. Она помышляла, говорила только об одном: устроить скорее счастье своей Луизы. А я так думал: этим счастьем ты довершишь ее! Адольфа умела в это время дипломатка ослепить до того, что

он бредил только о своем будущем благополучии. Тогда же получено нами известие, что в Ринген приходили татары с ужасным своим предводителем, и приходили, как антиквари, взглянуть на развалины замка. К удивлению общему, они были смирны там, как ягнята; никого не тронули на волос; ни у кого не взято даже нитки. Можно сказать, что Фюренгоф вышел сух из воды. Вместе с этим известием прошла в околке нашем молва, что с войском азиатским в Рингене была какая-то колдунья, бросила мертвого золотоволосого мальчика пред окнами барона, вынула из дупла какого-то дерева гнездо в виде башмака, с ужасными угрозами показала его издали Фюренгофу, говорила о какой-то бумаге и ускакала на черном коне вместе с татарским начальником. С того времени барон слег в постель и не допускал к себе никого, кроме своей верной Марты. Простой народ говорит, что колдунья утащила гнездо, в котором лукавый нес барону золотые яйца; с того-де и тяжело ему стало. Между тем у нас в Гальсдорфе решено было отпраздновать свадьбу и вслед за тем, вместе с новобрачными, ехать в Дерпт,

куда комендант тамошний приглашал Адольфа укрыться от неприятеля и на службу. Послали к Фюренгофу с испрошением на все это его утверждения, согласно известному условию. Вместо ответа приехал он сам и, что нас немало изумило, требовал, чтобы свадьба была отправлена как можно поспешнее. Этого только и хотела баронесса. Перед роковой церемонией пришла ко мне моя воспитанница. Она была бледна как мертвец; глаза ее помутнились. Она схватила мою руку своей ледяною рукою, и холод смерти сообщился мне. Я не мог удержать слез своих. „Друг мой! мне и плакать не велят, – сказала Луиза, сжимая мою руку. – Я пришла с тобой проститься и... (Тут легкий румянец означился на щеках ее; глаза ее сверкнули погасающим пламенем; она сняла с груди крошечную шелковую подушечку и подала мне ее.) Этот дар прислал мне *он* в последний день моего рождения; никто мне этого не сказывал, но я знаю, что это прислал *он*. У сердца моего хранился милый дар доныне: никто, кроме сердца моего, не знает об этом. Я хотела, чтобы его вместе со мной положили в гроб... Сделавшись женою

другого, я не могу его иметь при себе. Когда меня не будет на свете – а этого ждать недолго, – возвратите его Густаву. Обещаете ли?..” Слова ее раздирали мне душу; я хотел ее успокоить, но только мог плакать. Мы плакали вместе. Я ей все обещал. Луиза хотела еще что-то сказать, но послышались шаги баронессы, преследовавшей свою жертву. Вошедши в мою комнату, она сурово взглянула на нас и повлекла несчастную к алтарю. В эти роковые минуты я не мог покинуть свою Луизу: я присоединился к ней у входа в церковь. Она едва могла с моею помощью и жениха взойти на лестницу. Адольф заметил ее состояние и спросил ее с нежным участием, не больна ли она. „Немножко!” – отвечала Луиза и едва не упала на мои руки; но грозный взор матери оживил ее. В храме находились только баронесса, Фюренгоф, я и домашние. Баронесса была угрюма; миллионер все першил, будто страдал чахоткою. Адольф был невесел; служители плакали так, что некоторые принуждены были выйти на паперть. Церемония походила на погребальную процессию...»

– Поэтому она... – вскричал Густав задыха-

ЮЩИМСЯ ГОЛОСОМ.

– Безумный! – перебил с сердцем Паткуль. – Что обещал ты мне? Разве не имеешь в собственных руках залога своего спокойствия? Начинаю сомневаться, достоин ли ты его. Не прерывай меня или я сам замолчу.

– Нет, нет! ради бога, продолжайте.

Паткуль начал снова чтение:

– «Церемония походила на погребальную процессию. Казалось, сама природа хотела сделать ее еще пасмурнее. День уже вечерел; черные тучи собрались со всех сторон и повисли над храмом; бушевал ветер, и оторванный лист железа на кровле, стоная, раздирает душу. Пастор готов был произнести слово судьбы, как вдруг отворилась с шумом дверь церкви и перед нами явилась высокая женщина, с лицом медного цвета, с черными длинными волосами, распущенными по плечам, в нищенской одежде. Глаза ее ужасно прыгали и, казалось, издавали от себя пламень. Мы все с трепетом отступили от этого привидения; но всех более, видимо, перепугался Фюренгоф: лицо его начало подергивать ужасными конвульсиями. „Стой!“ – закрича-

ла женщина страшным голосом, какого я не слыхивал в жизнь мою, и... (Паткуль с нетерпением схватил последний лист, чтобы читать продолжение) и... *Sphagnum obtusifolium* настоящая губка, поглощающая...»

– Что это значит? – вскричал чтец с неудовольствием. – Наш мудрец не обернул ли в забывчивости вверх ногами лист, на котором начато было его травяное рассуждение? Нет, это не так; и это все не то, – продолжал он, оборачивая лист на разные стороны. – Посмотрим опять: «*Sphagnum obtusifolium* настоящая губка, поглощающая необыкновенно много воды и имеющая свойство расширять свои сосудцы до величины изумительной...» Чтобы черт меня побрал, если я тут что понимаю! Весь последний лист исписан рассуждением об одном и том же растении; а окончания настоящего рассказа о Луизе не видно.

– Что он со мною сделал! – воскликнул Густав, который доселе едва смел дышать.

– Безделицу! От проклятого рассеяния, второпях, он, наверно, смешал листы и вместо того, который нам нужен, всучил свою *Sphagnum obtusifolium*, чтоб ему самому пре-

вернуться в Sphagnum... О! если бы он попался мне теперь, я выжал бы из этой негодной губки все, что он утаил от нас! Негодяй! болван, годный только вместо бюста Сократа на запыленный шкаф деревенской библиотеки!..

Паткуль ходил взад и вперед по комнате широкими шагами, пыхтел от досады и наконец засмеялся.

– И мы, – сказал он, – мы настоящие дети: сердимся на чудака, благороднейшего из людей, за слабость, которой сами причастны. Не все ли мы имеем своего конька? Не все ли поклоняемся своему идолу: я – чести, ты – любви, Фюренгоф – золоту, Адам – своей флоре? О чем ни думает, что ни делает, флора в голове его, в его сердце. И что ж? Когда мы впадаем в безумие оттого, что не можем удовлетворять своей страсти, неужели не извиним в другом припадке безумия от любви, более бескорыстной, более невинной и чистой?

– Дядюшка! но он на волос повесил меч над головой моей.

– Неблагодарный! прочти еще раз записку Луизы и брата своего, – отвечал спокойно Паткуль, – и благодари судьбу за милости, ко-

торые она так явно тебе посылает. Со своей стороны воссылаю Тебе, о Боже всемогущий, благодарение за то, что не постыдил меня и совершил мои обеты.

Густав прочел еще раз письмо Луизы.

– Да! я виноват перед Тобою, Господи! – сказал он и, пав на колена, пролил слезы благодарности перед Творцом своим за любовь к нему Луизы и ниспослание залога, примиряющего его с жизнью и надеждами, хотя темными, но все-таки драгоценными.

Следующий день был днем разлуки горестной. Густав отправлялся в Россию с другими офицерами, взятыми в плен в разных сражениях. При прощании с дядею ему дано слово заботиться и в отдалении о его благополучии. Что случилось с ним, когда он, сидя на двухколесной латышской тележке, подъехал к повороту в землю неприятельскую и взглянул назад на дорогу, которая вела в места, для него столь драгоценные? Едва закрывшиеся раны его сердца вновь растворились... Кто терял свое отечество и оставлял в нем любимую женщину, может судить, что он чувствовал. Когда-то он увидит их? Какие перемены мо-

гут в это время случиться! Теперь Луиза свободна: в этом уверяет письмо ее, засвидетельствованное Адольфом; но Луиза еще не его! Кто поручится, что ее не принудят выйти за другого? Где она? что с нею? Какая судьба постигнет его отечество? Какие собственные его надежды?.. Запросы эти пропадали в мрачной неизвестности. Он посмотрел вперед на дорогу в Россию – в эту бездну должен был он броситься, – и сердце его замерло... Он оборотился еще раз на дорогу в Лифляндию – глаза его наполнились слезами. Тележка двигалась; с каждым шагом лошади цена его потерь делалась для него чувствительнее: он ничего не взвидел и бросился на солому.

Паткуль уехал ко двору Петра. Проводив мнимого господина Фишерлинга, швейцарка шла, рыдая, в свое отечество за угрюмым отцом своим и, казалось, готова была выплакать свое сердце. Ей назначено тайное свидание в Германии: любовь или жалость его назначили, мы не знаем, но известно только нам, что без того б Роза осталась умереть на мызе, где похоронила свое спокойствие и счастье.

Владимира и слепца давно не было на мызе. Опередив ночью русское войско, они отдыхали на последней высоте к Мариенбургу. Сзади оглядывался на них золотой петух опекаленской кирки; впереди показывались им блестящим полумесяцем воды озера, врезанного в темные рамы берегов; чернелся в воздухе высокий шпиг мариенбургской колокольни, и за ней, как искры, мелькали по временам в амбразурах крепости пушки, освещаемые лучами восходящего солнца. Уже был слышен перекатный бой барабана, возвещающий *побудок...*

Глава восьмая

Что делалось в Мариенбурге?

*Деревни, города пылают; тихо
Еще у нас в долинах... но дойдет.
Дойдет и к нам гроза опустошенья!*
«Орлеанская дева», перевод Жуковско-
го

Мы так привязаны к одной из героинь нашего романа, что не будем скупиться на описание местечка, оживленного ее пребыванием. Думаю, что *со временем* читатели за это не посетуют на нас.

Замок мариенбургский[39] основан в 1341 году орденмейстером Бурхардом Дрейлеве-ном для защиты границ Ливонии от русских. Первый комтур[40] замка был Арнольд фон, Фитингоф, по странному стечению случаев, предок и однофамилец нынешнего владельца Мариенбурга. Как и прочие замки в Лифляндии, переходил он из рук в руки то к русским, то к полякам или к шведам: все они точили об его бойницы железо своих мечей и стрел. В 1658 году Мариенбург осажден и взят русски-

ми под предводительством Афанасия Насакина. Через четыре года сдан он шведам вследствие Кардисского договора – прибавить надо – неохотно. При исполнении его обе стороны посчитались довольно жарко, к невыгоде наших предков. В начале борьбы Петра с Карлом XII военачальник последнего, Шлиппенбах, исправил укрепления замка. Только с 1702 года Мариенбург становится для нас особенно занимательным.

Воображение, увлекаемое историческими воспоминаниями этого времени, окидывает его волшебною сетью. Еще не видав Мариенбурга, представляешь его себе каким-то садом Армидиным[41]; увидев – не разочаруешься. Все в нем соответствует той, которая некогда украшала его своим присутствием и украшала потом... Но речь теперь о Мариенбурге. Живописнее мест я мало видывал. Для сравнения с приятнейшими местами Германии недостает ему только европейской населенности.

Хотите ли иметь лучшую точку зрения на окрестности? Ступайте на высоту, где стоит храмик, с большим вкусом сооруженный ны-

нешним владельцем Мариенбурга. Высоты этой не было до 1702 года. Чтобы скорее овладеть замком, Шереметев, так же как и при осаде Азова, рычагом тысячей рук передвинул издалека земляной вал, за которым укрылись осаждавшие; взгромоздил бугры на бугры, засыпал ими берег в уровень замка и, с высоты грома твердыни, требовал покорности. Насыпи, исключая высшую, под храмиком, обросли густыми рошицами. Между ними проведена дорога, по которой можно добраться до него в экипаже. Думал ли полководец русский, что он своими батареями украсит владения лифляндского барона и устроит посетителям Мариенбурга самое выгодное и приятное место для обозрения его окрестностей? Отсюда попросим читателя нашего смотреть на них.

Развалины замка, образующие неправильный шестиугольник, стоят на небольшом острове овальной фигуры, в южном заливе Мариенбургского озера. Они, кажется, выплыли из вод, оставив крайницы земли и мыски, едва заметные. Война будто нарочно взорвала крепость, чтобы сделать еще живописнее

мариенбургскую окрестность: развалин красивее не мог бы создать искуснейший архитектор. Природа-зодчий, соперничая с человеком в украшении острова, с большим вкусом поместила кое-где на берегах его кудрявые деревья, которым дали жизнь семена, с материка заброшенные. Остатки замка, выступая из вод и погружаясь в воды, дуют красоты этой картины. За островом, прямо на противоположном берегу, возвышается кирка. Она построена в новейшие времена и славится в Лифляндии своею огромностью и изяществом архитектуры. Несколько правее, на берегу же озера, из купы деревьев, разделенных цветником, выглядывает простой, но красивый домик пастора [42]. На этом самом месте стоял дом, где жили Глик и его воспитанница. Посещая жилище нынешнего пастора, забываешь, что их не найдешь более. При каждом стуке двери – думаешь: не взойдет ли прекрасная Кете? Так очаровательно воспоминание о ней! Правее от пасторского домика, на холме у загиба озера, красуется березовая, чистая рощица. Время ее засадило. На этом возвышении стояла кирка, в которой патриарх мариенбургский

напутствовал свою паству к добру и Катерина Рабе певала в хоре смиренных прихожан песнь хвалы и благодарения Богу, для нее столь щедрому. Здесь нынешний владетель Мариенбурга, барон фон Фитингоф, пламенно любя все изящное и высокое, предполагал поставить памятник. Вместо двух одиноких корчм, ныне разделенных целою верстою, местечко занимало берег. Левее от нынешней кирки стоит господский домик с принадлежностями; от него по берегу тянется сад, расположенный со всеми затеями вкуса и богатства. Берег озера с многочисленными заливами на пространстве нескольких верст то убран рощицами и холмами, как грудь красавицы пышною оборкою, то усеян рыбачьими хижинами, деревнями и красивыми мызами, которые глядятся в воды и в них умываются. Кое-где, посреди вод этих, выступают зеленые букеты дерев или волнуются по ним полосы раззолоченной осоки. В разных направлениях по временам летят большие лодки, взмахнув крыльями своих парусов, и скользят челноки, едва заметные, как водяные букашки. Иногда всплывают на озере снежные острова,

образуемые стадами лебедей, или над ним тянутся они, воздушные пилигримы, длинною вереницей.

Схватывая опять нить происшествий, которую мы было покинули для описания Мариенбурга, просим вместе с этим читателя помнить, что в последних числах июля 1702 года замок существовал во всей красе и силе своей и вмещал в своей ограде гарнизонную кирку, дом коменданта и казематы, что против острова по дуге берега пестрело множество домиков с кровлями из черепицы. Из них выступало грудцой жилище пастора Глика, и на холме возвышалась кирка, довольно древняя, а вправо, где воды озера наиболее суживаются, остров сообщался с материком деревянным мостом, которого сваи и теперь еще уцелели.

Стемнело на дворе, когда цейгмейстер Вульф возвращался в свои казармы. Он только что отрапортовал, после вечерней зори, своему старому коменданту Тило фон Тилав о благополучном состоянии крепости и выслушал от него грустное сознание, ежедневно повторяемое и ежедневно приправляемое вздо-

хами, что бойницы, в случае нападения неприятеля, не в состоянии будут долго держаться. Скучный и грустный, Вульф взошел на крепостной вал. Голубой свод неба над его головою, испещренный мириадами звезд, и другой свод, в такой же блестящей красе, опрокинутый под его ногами, образовали дивный шар, которого он составлял средоточие.

«Как мал человек в этом нерукотворном храме! – думал Вульф. – Но как возвышается он, умея постигать Тебя, мой Боже, и к Тебе духом приближаться!»

Цейгмейстер скинул шляпу, преклонил колени и с горячими слезами на глазах молился. Никогда еще молитвы его не были так усердны. Встав, невольно взглянул он на противоположащий берег, где стоял дом пастора. Жилище Глика потонуло во мраке: ни один огонек не мелькал в нем, потому что хозяин его еще не приезжал. Цейгмейстер и не ожидал его так скоро. Вздохнув, он собирался сойти с вала, как вдруг в доме пастора блеснул огонек, другой; огоньки начали ходить, вышли на крыльцо и осветили его. Можно было разли-

чить фигуры старика и молодой женщины. Сердце артиллериста не на месте. Это они, это Кете, нельзя сомневаться. Он хотел бы перескочить к ним через воды; но барабан пробил роковой час, и, заключенный в стенах крепости, он должен провести мучительную ночь, прежде чем их увидит.

Наступило утро следующего дня. Высокий цейгмейстер с трепетом сердечным стоял уже у кабинета пасторова, осторожно стукнул в дверь пальцами и на ласковое воззвание: «Милости просим!» – ворвался в кабинет. Глик сидел, обложенный книгами всякого размера, как будто окруженный своими детьми разного возраста. Не успел он еще оглянуться, кто пришел, как приятель его сжимал уже его так усердно в своих объятиях, что сплющил уступы рыже-каштанового парика, прибранные с необыкновенным тщанием.

– Кетхен! – закричал пастор звонким голосом, поправляя свою прическу и разводя кости, – и на этот зов прибежала воспитанница его, в домашнем, простом платье, с черным передником, нарумяненная огнем очага, у ко-

торого готовила похлебку для своего воспитателя. Маленький, проворный *книксен* – и полная беленькая ручка ее протянута на пожирание неуклюжего *цейгмейстера*.

– Какая бомба принесла вас так неожиданно к нам? – вскричал последний с необыкновенным удовольствием.

– А, господин будущий комендант наш! – отвечал пастор. – Благодарите за это русских, которых вы на свою шею нам накликали.

– Русских?

– Да, они не дали нам и понюхать супу госпожи баронессы. Право, такой диеты не запомню. Зато, вероятно, теперь стряпают у нее исправно, по-своему. Едва, едва не попали мы сами под Сооргофом на ветчину к татарам, как вы обещали нам в Долине мертвецов.

Вульф, полагая, что над ним подшучивают, вздумал было сердиться, но рассказ его невесты, переданный со всем убеждением истины, открыл ему глаза. Он бесился, что генерал-фельдвахтмейстер короля шведского допустил себя обмануть варварам.

– Но это еще не беда! – воскликнул Вульф, потирая себе руки. – Наши проучат их за дерз-

кую попытку; наши оциплют это воронье стадо.

Пастор, вместо ответа, вздохнул.

– Мы их встретим, доннерветтер! – продолжал цейгмейстер, все более и более горячась.

– Для этой встречи и я готовлю свои орудия. Во-первых, господин цейгмейстер, во-первых, как говаривал добрый наш Фриц, возьму я под мышку «Славянскую Библию» моего перевода... Слово Божие есть лучшее орудие для убеждения победителя.

– Победителя? – вскричал с сердцем Вульф. – А кой черт шепнул вам, что слава непобедимого войска нашего Карла скинет шапку перед вашими москвитами? Разве сердце ваше? разве ваш пономарь московитский написал вам о том?

– Господи! пошли мне дух терпения и смирения с этим бешеным. Вот видите, господин цейгмейстер: я возьму под одну мышку «Славянскую Библию», «*Institutio rei militaris*» и «*Ars navigandi*»[43] под другую...

– Вы изменник! вы предатель страны, давшей вам гостеприимство! Вы...

Кете бросила на цейгмейстера умоляющий

взгляд, схватила его за руку – и слово ужасное, готовое вырваться из уст его, не было произнесено.

– Говорите, говорите, господин пастор! – продолжал уже Вульф утихающим голосом. – Я готов слушать вас с терпением, к которому мне пора бы привыкнуть.

– Мы, изменники, в дела ваши, в дела верных, нелицемерных сынов отечества, не мешаемся! – сказал пастор, стараясь удерживать свой гнев при виде уступаемой ему спорной земли. – Мы, вот изволите знать, бредим иногда от старости; нами, прости господи, обладает иногда нечистый дух. (Тут пастор плюнул.) Несмотря на это, мы думаем о делах своих заранее. Грете! Грете!

Служанка лет под пятьдесят, маленького роста, круглая, свежая, будто вспрыснутая росой Аврора[44], прибавить надобно, вечерняя и осенняя, с улыбкою на устах прикатила пред своего господина.

– Гретхен! – сказал Глик ласковым голосом. – Нам надо отсюда убираться.

Служанка, открыв заплывшие от полноты глаза и стиснув передник в руках своих, оста-

лась в этом положении: от ужаса она не могла набрать голосу на ответ.

– Да, да, говорю тебе, убираться, и со всеми пожитками. Пуще всего надобно осторожно убрать вот эти славянские книги.

– Кто же нас гонит отсюда? – могла наконец выговорить Грете дрожащим голосом.

– Московиты заполонили нашу Лифляндию, если позволят нам еще так называть ее, заполонили, говорю тебе, по милости нашего всемилостивейшего государя и отца, который для своей славы ловит мух в Польше, между тем как мы бедствуем, преданные невежеству, презрению, беспечности *синих* наших друзей или владык. Я говорил тебе давно: помняни мое слово, Алексеевич – великий монарх. Недаром проезжал он через Нейгаузен двадцать пятого марта 1697 года; недаром изволил гневаться, что ему дали худой форшпанн, что его неловко встретили господа высокоименитые: майор Казимир Глазенап, капитан Дорнфельд и еще какой-то дворянин безымянный, назначенный в переводчики к его величеству; а переводчик этот говорил по-русски, как я по-китайски (пастор ослабил

свои румяные губки и поправил на себе парик). Вообрази, Грете, он сказал царю: «Ваше московитское государство», то есть Ihre Moskowitisches Kaiserthum, вместо того чтобы сказать: «Ваше царское величество», то есть Ihre Zarische Majestät. Понимаешь ли?

– Понимаю, господин пастор! – отвечала грустная слушательница, у которой тогда в воображении плясали кастрюли, столовая посуда, бочонки и прочая домашняя утварь, потревоженная с своей оседлости в неизвестное путешествие.

– Я улыбнулся. Великий Алексеевич усмехнулся также, и через человек десяток, которых он был всех выше целою головою, – ты меня понимаешь, Грете! метафора и не метафора, как хочешь – не одною головою на плечах, хотел я сказать, но головою Юпитера, из которой выступила Минерва. Однако ж дело не в том: через десять человек Великий Алексеевич посмотрел на меня своими быстрыми черными глазами, врезавшимися в мое сердце, как будто хотел сказать: вот этот человек знал бы, как меня приветствовать! С этого времени (здесь пастор гордо посмотрел во-

круг себя) мы познакомились, мы поняли друг друга.

– Вы говорили, – возразила служанка с подобострастием, утирая передником слезу, выкатившуюся из глаз ее, – вам угодно было сказать, что нам должно отсюда... – Далее не могла она говорить и закрыла глаза передником.

– Эка ты дурочка! Хныканьем не поможешь. Что ж нам делать? Московиты, того и гляди, будут сюда; поделают из нас чучел или изжарят нас на вертеле, как говорил некогда один давнишний мой приятель...

– Да когда вам так знаком московитский царь, – прервала Грете с некоторою досадою, – почему же не напишете к нему адреса?

– Адреса! адреса! – вскричал пастор и начал с нетерпением ходить взад и вперед по комнате, двигая и передвигая беспрестанно свой парик. Вскоре он весь горел в огне энтузиазма. – Правда, это не худо б! Написать не диво; но с кем пошлем? где мы его найдем?.. Творец своего государства, он вездесущ. Гм! пошлем, найдем... Адрес! богатая мысль! прекрасное дело!.. Ты вразумляешь меня, Грете! Кабы пришли на помине странствующие му-

зыканыты... тогда б – и дело в шляпе. Грете! ты спасительница Мариенбурга. Да, сяду, сяду, буду писать.

Пастор придвинул к себе стул, взглянул сухо и сурово на Вульфа и хотел с ним раскланяться; но этот подошел к нему, взял его за руку, дружески пожал ее еще раз и сказал:

– Русские еще не пришли, господин пастор; а хотя бы и так, разве у вас нет друга ближе Алексеевича? Замок, мне вверенный, крепок: клянусь богом сил, его возьмут разве тогда, когда в преданном вам Вульфе не останется искры жизни. Но и тогда вы и фрейлейн Рабе безопасны, – прибавил он в первый раз с особенным чувством, посмотрев на нее. – Предлагаю вам квартиру бывшего коменданта, которую нынешний не хотел занять.

Такое дружеское предложение и мысль, что он поставил на своем, обезоружили Глика. Определено, по получении неблагоприятных для шведов известий, перебраться в крепость, туда же переправить членов богадельни и значительных граждан местечка. Грете отпущена из аудиенции, не совсем успокоенная. Хотя и знала она, что весь придворный

штат ее перевезется без тревоги чрез воды мариенбургского Ахерона, но кто мог поручиться, чтоб какая сумасшедшая бомба не чокнулась в крепости с членами ее кухни и погреб, столько сердцу ее близкими?

Когда мир и любовь воцарились в семействе Глика, цейгмейстер, казавшийся спокойным, между тем как неизвестность о судьбе шведского войска щемила его сердце, вызвался рассказать свои похождения с того времени, как они расстались, похождения, говорил он, весьма занимательные. Прежде нежели он начал рассказывать их, сходил он пошептаться о чем-то с Грете.

– Мое повествование, – так начал цейгмейстер, возвратясь в кабинет пастора, – будет продолжением того, которым пугал нас Фриц, когда мы подъезжали к Долине мертвецов. Вы помните, что я дал слово на возвратном пути свести знакомство с тамошними духами. Я и исполнил его. Да, господин пастор, бывал и я в когтях у сатаны. Вы смеетесь и, может быть, думаете, что я подвожу мины под мужество моей бесстрашной сестрицы. Право, нет. Если хоть одно красное словцо скажу,

так я не артиллерист, не швед! Довольны ли вы?

– Верим, верим! – вскричали пастор и воспитанница его. – Просим к делу.

– Жай! пли! вот вам вместо предисловия. Слушайте!

Снабженный нужными приказаниями от генерал-фельдвахтмейстера, которого нашел я на пути в Пернов, и сопутствуемый штык-юнкером[45] и двумя пушкарями, выбранными мне в подмогу его превосходительством из искуснейших и опытнейших в защите крепостей, я спешил в Мариенбург тем более, что хотел еще вас перенять на дороге. Через Валки проехал я в полночь, виделся тайно с Фрицем, который сказал мне, что починка экипажа задержит вас еще там на целые полдня. Дорожа вашим спокойствием, я не смел вас разбудить.

Пастор пожал руку цейгмейстеру; Кете бросила на него такой взгляд, который, вторгаясь в сердце, бьет в нем радостную тревогу. Вульф, ободренный этим вниманием, продолжал живее свое повествование:

– Весь изломанный путевой жизнью на ко-

не и сострадаю к моему Буцефалу, над которым и жало шпор уже не действовало, я приостановился в Менцене. Там отдохнул я крепким сном и проснулся, когда уже ночь порядочно разгуливала над страной. Месяц, как говорят, заставляющий духов плясать на лучах своих, прямо глядел мне в лицо своим волшебным ликом. Я вспомнил о *Долине мертвецов*. Дай-ка перемигаемся с длинным ночным бароном ее! – сказал я сам себе и разбудил своих спутников. Храбрые у лафета и в амбразуре, они не любили возиться с духами и потому, наслышавшись об ужасной долине, неохотно собрались в поход. «Скоро полночь!» – сказал тоскливо один из пушкарей. «Это мне и нужно!» – отвечал я и скомандовал к маршу. Только что въехали мы в рощу, из которой по косоугору идет дорога в Долину мертвецов, наши кони стали упираться и наконец – ни с места, как пушки без колес. Я рассердился на своего Буцефала и прочел ему палашом порядочный урок; но животное мотало головой, прядало и ворочало назад. Это меня взбесило. Кидаю лошадь, штык-юнкер бросает свою, схватываю пистолеты, и – за

мною! пушкари остаются полумертвые при лошадях. Выходим из чащи, и что ж? В самом деле, при свете полного месяца, исполински шагает по долине высокое привидение, выше меня двумя головами, в саване и с мертвецом за плечами. И теперь еще, кажется, вижу, как моталась безобразная мохнатая голова. Невольно охватил меня ужас. Товарищ стоял окаменелый на одном месте, творя молитву. Это шашни! – сказал мне рассудок. Ободрившись немного, толкаю своего штык-юнкера и приказываю ему следовать за мной. Спешу за привидением по долине в ущелье; оно – от меня. Шаги его не человеческие. Казалось мне, мертвец обернул ко мне голову и страшно кивал ею, как будто звал за собою. Чтобы себя ободрить, я крикнул по лесу, и несколько голосов отвечают мне на разные манеры: тут было и вытье собаки, и мяуканье кошки, и крик совы – одним словом, весь сатанинский хор. Вдруг забежали огоньки, и деревья начали ходить. Оглядываюсь назад, ищу товарища: его уже не было. Признаюсь, волосы встали у меня дыбом, но я зажмурил глаза, подумал, что иду на сражение, и, открыв их, уже

смелее шел за мертвецом. Пытаю силу руки своей над деревом, и при взмахе палаша оно с треском валится в сторону. Это меня еще более ободрило. Иду все за своим вожатаем. В стороне мелькнуло косматое чудовище, обставленное уродливыми каменьями. Привидение с мертвецом от него в сторону; я все за ним через кочки, пни и кусты, то настигаю его, то от него отстаю. Уже я с ним свыкся, но усталость готова подкосить мне ноги. Впереди, шагов за пятьдесят, вижу избушку – в ней огонек. Высокое привидение в нее, я за ним, уж там, и – бряк, передо мною на полу ужасный мертвец. Привидение исчезло. Земля подо мною заколебалась, и все закружилось. С трепетом оглядываюсь, махая без цели палашом, кругом стены несколько скелетов человеческих в разных положениях: иные держали какие-то значки, другие – большие зажженные свечи; все грозили мне костянками своими. Я слышал, как они переговаривались между собою на языке мертвых; смрадные пары окутали меня; адский хохот надо мною посыпался. Тут холодный пот меня прошиб; я обмер, споткнулся, запутался в ногах мерт-

веца и упал прямо на ледяную грудь его... и вдруг, слышу, схватили меня когтями и потащили...

В эту минуту рассказчик громко кашлянул, хлопнули с ужасным стуком ставни, и в кабинете, где были собеседники, сделалась темь. Кете вскрикнула и прижалась к своему воспитателю, который и сам порядочно вздрогнул. Но ставни тотчас отворились, и при свете дня испуганные слушатель и слушательница увидели смеющееся лицо Вульфа, и вслед за тем раздался торжественный хохот его. Он поздравил себя с победою над бесстрашною Рабе и признался, что внезапное закрытие с громом ставней была стратагема, устроенная им с Грете, которой за содействие в этом деле обещано безопаснейшее место в замке для ее посуды.

– Поэтому и рассказ ваш выдумка? – сказала прекрасная слушательница, стыдясь минутного своего испуга. – А где слово шведа? – прибавил пастор.

– Я и теперь честью шведа заверяю, что ни одного слова не солгал, – отвечал цейгмейстер.

– Удивительно! – сказал Глик.

– Удивительно! – повторила воспитанница.

И тот и другая просили развязки, каким способом удалось ему выпутаться из когтей сатанинских.

– К ней-то и приступаю со стыдом пополам, – произнес цейгмейстер, вздыхая и понизив голос. – С кем на веку не бывает осечки? И лучший конь спотыкается. Иные, прошу заметить, вскрикивают от одного рассказа о мертвецах, а я оробел только перед сонмищем их. Итак, к развязке. «Что вас несло сюда, господин офицер, да еще в полночь?» – раздался надо мною человеческий голос, прерываемый смехом. Я осмелился открыть глаза: страшные видения исчезли; я лежал на канопе в чистой комнате, хорошо освещенной; подле меня сидел мужчина средних лет, приятной и умной физиономии, хорошо одетый. «Мне кажется, я был в лесу... – сказал я ему, робко осматриваясь, – и видел много ужасного. Не в сновидении ли мне это все представилось? Но каким образом я здесь? Где я? С кем имею честь говорить?» – «Вы, милостивый го-

сударь, – сказал незнакомец, – если не ошибаюсь, господин цейгмейстер Вульф, – находитесь действительно в лесу и в анатомическом театре вашего покорнейшего слуги, доктора медицины Блументроста. А что это за театр анатомический, я вам сейчас объясню, если вы, господин офицер, оправились от испуга вашего», – прибавил он с коварною улыбкой. «Черт побери! – думал я. – Лучше попасть в цепные объятия кителей, чем под ноготок насмешливого доктора». Делать было нечего; я поручил себя знакомству господина доктора медицины и, краснея, просил его растолковать мне свою загадку. Он взял меня за руку, отворил одну из дверей той комнаты, в которой мы находились, и – как бы вы думали? – мы очутились в той самой проклятой избушке, где грозили мне скелеты. Пол из гибких досок действительно подо мною заколебался, и грозные остовы замахали свечами и значками своими. Мертвеца уже не было. Я взглянул на господина Блументроста: он смеялся от души. «Не бойтесь, господин цейгмейстер, подойдите ближе, – сказал он иронически. – Могу похвастаться, что в Европе никто искус-

нее меня не белит человеческих костей, из которых делаются скелеты. С небольшим двадцать лет, как открыто это искусство Симоном Паули, из Ростока. Немалых трудов и издержек стоило мне дойти до такого совершенства, в каком вы видите мои произведения. Вот этот скелет, например, — прибавил он, указывая мне на самого большого, — отличается глянцевитостию своих костей. В свое время он водил шайку разбойников на границах псковских, а ныне, по смерти, пугает шведских воинов. Он назначен для Дерптского университета. Вот и значок с номером и надписью, куда ему следует отправиться. Проволока, пущенная в его руки, дает им необыкновенную гибкость. От этого-то проводника мои куколки так забавно умеют помахивать руками. Заметьте, этот особенно изящен близною костей. Он с ума сошел от честолюбия: ему хотелось попасть в старосты, чтобы иметь волю бить в селе своем палкою всех, кого ни рассудит; а как жезл сельского всемогущества обращался не от него, а на него, то он удавился. Теперь вы видите, что чудак добился своего: он играет на моем театре едва

ли не первую роль. Если бы вы не скучали по-
дробностями, я с особенным удовольствием
объяснил бы вам достоинства каждого из чле-
нов этого общества. Вот и привилегия, – про-
должал Блументрост, указав мне на бумагу в
золотой раме, – данная мне господином гене-
рал-фельдвахтмейстером: она охраняет мое
заведение от нападений невежества. А вот
одобрения разных академий, которым я до-
ставил уже несколько таких молодцов». Дей-
ствительно, прочел я привилегию моего на-
чальника, написанную по форме, и аттестаты
господина доктора. «Но позвольте мне сде-
лать еще два вопроса, – сказал я. – Куда дева-
лось высокое привидение, за которым я бе-
жал, и мертвец, запутавший меня в сетях сво-
их?» – «Немой!» – закричал доктор, хлопнув в
ладоши. На этот зов явился молодой латыш,
необыкновенной величины и так богатырски
сложенный, что мог бы смять доброго медве-
дя. «Немой этот, мой помощник, не в первый
раз разыгрывает ролю привидения, – присо-
вокупил доктор, – но, признаюсь, ныне пре-
взошел себя. Немудрено! – он имел перед со-
бою или, лучше сказать, за собою образован-

ного зрителя. Другие довольствуются только увидеть его в долине; но вы преследовали его в самое святилище его искусства. Для чего все это делается, я вам сейчас объясню. Всякое высшее знание, непостижимое для невежественного класса людей, имеет нужду прикрыться от близоруких очей своею таинственностью. Мудрость была бы побита камнями, если бы показалась черни в своей нагоде. Необходимы и в наше время елевзинские таинства[46]; и в наше время науки имеют свои жертвы, когда не облечены чудесностью».

– Правда, правда! – сказал, вздохнув, Глик. – Давно ли пострадал было как еретик и колдун Георг Стернгиельм за то, что показал сквозь стекло высокоименитому дерптскому профессору Виргиниусу муху с быка, а другим стеклом зажег чухонцу бороду? Едва спасся бедняга от петли, и то по милости королевы Христины: вечная ей за то слава! Ох, ох! все времена имели и будут иметь своих Виргиниусов.

– Не мое дело углубляться в рассуждения, а только передать вам, что я слышал от докто-

ра, правду сказать, зевая. На моем месте, я выставил бы пушку против всей этой чертовщины; жай! пли! – и, доннерветтер, перестал бы у меня цирюльник пугать народ... Но вы ждете конца моего рассказа. Оканчиваю. «Искусство мое, – сказал доктор, – имеет нужду в чудесности более, нежели какое другое. Для этого воспользовался я старинною народною сказкою о здешней долине. В материалах для своего дела не нуждаюсь. Высота креста назначена окружными жителями кладбищем для умерших насильственной смертью. Мое привидение подбирает трупы и доставляет мне ими средства приобретать богатство и славу европейскую. Я показал бы вам теперь свою лабораторию, если бы не знал, что вы более храбры против живых, нежели против мертвых. Слышите ли, как бурлит в адском котле бедняк, так умильно кивавший вам своею косматою головой?» В самом деле, я слышал, как вода клокотала в ближней комнате, и со стыдом догадался, что этот шум почтен мною говором страшным скелетов. Тут же объяснился и пар, обхвативший меня. Мне хотелось узнать, почему актеры анатомиче-

ского театра встретили меня так торжественно, со свечами. «Признаться вам, – отвечал скелетчик, – мы вас поджидали. Один человек (имени его не скажу) дал мне знать о вашем намерении познакомиться с духом долины, и мы поспешили исполнить ваше желание. Кажется, все приготовлено с нашей стороны, чтобы сделать вам приличную встречу. Впрочем, хотя эти господа действующие лица были тем же, чем мы теперь, а мы будем еще тем, чем ныне они, могу догадаться, что общество их для вас не совсем приятно. Пойдем успокоить ваших спутников, ожидающих вас на мызе с нетерпением». Охотно последовал я за своим хозяином из анатомического театра сквозь лес и на мызу. Немой и какая-то пригожая девушка, живая, как порох, освещали нам путь из царства смерти в область жизни. Обласканный и угощенный гостеприимным хозяином, забыв в обществе его, и еще более на добром матрасе, ужасы ночи и, наконец, убежденный, что не надо никогда хвататься своим бесстрашием, выехал я уже на следующее утро из мызы господина Блументроста. Советую и вам, любезная сестрица,

воспользоваться данным мне уроком.

Глик и воспитанница его смеялись много рассказу проученного храбреца.

Недолго смеялась Кете; недолго была она беззаботна: будущий комендант Мариенбурга заговорил о женитьбе и просил вычеркнуть три мучительные недели из назначенного до нее срока. Пастор призадумался. На беду Кете, пришел в минуту этого раздумья мариенбургский бургомистр и, узнав, о чем шло дело, советовал отложить брачное торжество до окончания войны.

– По крайней мере, – говорил он, – это общее мнение ваших прихожан.

Самолюбивый, упрямый Глик не любил советов; пословицу: *ум хорошо, а два лучше* считал он суждением робких голосов; для него то было лучшее, что он в кризисы упрямого самолюбия задумал и определил.

– Вот в первый раз приход хочет быть умнее своего пастора! Я не глупее других; знаю, что делаю, – сказал он с сердцем и, сидя на своем коньке, решил: быть брачному торжеству непременно через двадцать дней. Никакие обстоятельства не должны были этому

помешать. – Только с тем уговором, – прибавил он, – чтобы цейгмейстер вступил в службу к Великому Алексеевичу, в случае осады русскими Мариенбургского замка и, паче чаяния, сдачи оногo неприятелю. – Обещано...

Жаль нам Кете Рабе. Что ж делать? История велит нам вести ее к брачному алтарю. Скоро, скоро придется нам легкое имечко ее заменить полновесным именем госпожи Вульф.

Глава девятая

Осада

*Уж много бомб упало в город...
Весь Орлеан стоит над бездной
И робко ждет, что вдруг под ним она,
Гремящая, разверзнется и вспыхнет...*
«Орлеанская дева», перевод Жуковско-
го

Вечером того же дня пришло в местечко известие, что отряд Брандта, вышедший из Мариенбурга, не нашел на розенгофском форпосте ничего, кроме развалин, и ни одного живого существа, кроме двух-трех изранен-

ных лошадей; что Брандт для добычи вестей посылал мили за три вперед надежных людей, которые и донесли о слышанной ими к стороне Эмбаха перестрелке, и что, вследствие этих слухов, отряд вынужден был возвратиться в Менцен и там окопаться. Дней через пять послышалась и в Мариенбурге пальба к стороне Менцена; она продолжалась несколько суток; но известий ниоткуда не было, как будто смерть оцепила страну. Наконец в один вечер показалось необыкновенное зарево, пальба утихла, и вскоре прибежал шведский солдат с вестью об осаде Менцена, разорении мызы и взятии в плен отряда.

Вздروгнули сердца у жителей местечка; гарнизон приготовился к обороне. Ночь проведена в ужасном беспокойстве. На следующей заре весь Мариенбург тронулся с места. Почетные жители начали перебираться в замок; надежда на милость коменданта заставила и средний класс туда ж обратиться; многие из жителей разбежались по горам, а другие, которым нечего было терять, кроме неверной свободы, остались в своих лачугах.

На главной улице, и особливо к мосту, бы-

ла необыкновенная суматоха. Выбрасывали, выносили и перетаскивали из домов имущества; кричали, бегали, толпились, толкали друг друга, рассказывали, что неприятель уже за милю от города; иные едва не сажали его на нос каждому встречному и поперечному, и все старались быть первыми у моста, чтобы попасть в замок, в котором, казалось им, заключалось общее спасение. Мост трещал под тяжестью возов и людей; озеро было усыпано лодками, нагруженными так, что едва не зачерпывали воду. Все простирали руки свои к стражам замка; все молили на разные голоса о пропуске.

– Отворите! это я! – говорил хриплым голосом толстый человек с важною физиономиею и еще более важным, чопорным париком, постукивая в ворота натуральною тростью с золотым набалдашником и перемешивая свои требования к стражам замка утешениями народу: – Что делать, дети мои! Это жребий войны! Надо поручить себя милосердию Бога. Не поместиться же всем в крепостце; я советовал бы вам воротиться. Видите, и я, ваш бурге-майстер, с трудом туда пробиваюсь.

– А! это вы, господин достопочтенный бургемейстер? – спросил кто-то из-за ворот и, не дожидаясь ответа, впустил важного человека с его семейством, челядинцами и толпою клиентов разного возраста и роста, потянувшись за ним, как многочисленные дети Федула.

Надо знать, что в свете каждый немного значительный человек составляет средоточие своего круга и ведет его всюду с собою; другим уже в этом кругу и места нет.

– Посмотрим, как меня не впустят! – кричала вытянутая, сухощавая женщина, в шелковой кофте радужного цвета, в чепчике, смятом на один бок. – Меня! – повторила она, подперши руки в бока. – Жену первого торговца в Лифляндии! меня, Сусанну Сальпетер!

При этом грозном имени ворота отворились. Сусанна Сальпетер с высоты своего величия гордо посмотрела на толпу, покачала головой, помахала себе в лицо веером, на котором резвились Игры и Смехи, и, толкнув немилосердо вперед несчастную, нахохлившуюся фигуру своего мужа с приветствием: «Voraus, mein Kätzchen!»[47], вступила важно

В крепость.

– Аккредитованный погребщик его высококородия, господина коменданта, – кричал господин, поднимая вверх бутылку. И этот проскользнул в замок. Однако ж не подумай, читатель мой, чтобы в этот роковой день торжествовали только значительность сана, богатства, заслуги или услуги; нет! и дружба, бескорыстная, высокая дружба явила себя также во всем своем блеске.

– Генрих! – сказал жалобным голосом какой-то голяк с фиалковым носом и небритой бородой. – Вспомни, как мы на Иванов день, под вывескою лебеда, чокнули наши чары; что обещал ты мне тогда?

И этот вопиющий голос не был голос в пустыне: усасть Орест протащил своего Пилада[48] сквозь щель едва отворенных ворот. Тут началась толкотня, писк, крик; некоторые с моста попадали в воду.

– Machen Sie keinen Spektakel![49] – закричал штык-юнкер, вышедши из замка с отрядом.

Народ был прогнан на твердую землю, мост сломан и перенесен на дрова в крепость.

Загремели цепи, упал затвор, и двери спасения замкнулись безвозвратно.

На эту тревогу насунулись Владимир и слепец.

– Где дом пастора? – спросил первый у женщины, бежавшей разиня рот.

– Дом? Кто имеет ныне дома! – отвечала она с сердцем.

Другой прохожий был милостивее к нашим путникам: указал им на жилище Глика и в придачу объяснил, что они не найдут там хозяина, потому что он перебрался еще прежде всех в замок под крылышко своего будущего зятя.

Владимир сел с товарищем на берегу озера. Раздумье овладело им. Он знал, что пастор и цейгмейстер не откажут ему в гостеприимстве. Но запереться в крепости для цели неверной? Заточить в ней с собою старца? Выдерживать осаду? Кто знает, какой конец ее? Подвергнуть Конрада ее жестокостям, может быть, насильственной смерти! И так уже старику жить недолго: он, видимо, день ото дня гаснет. Владимир боялся также и за себя. Пожертвовать, может статья, собою, когда

готовился увидеть родину; потерять плоды стольких трудов и лет – эта мысль убивала его. Ни одного покровителя – все исчезли: и Паткуль, и маркитантша Ильза, и Фриц. С другой стороны, какое-то предчувствие побуждало его отправиться в замок. Об этом просил его и сам Паткуль. Паткуль знает цейгмейстера; Владимир сам имел случай в Долине мертвецов распознать его свойства, провидеть его геройский дух. Он встанет, этот дух, во всей силе и величии своем, когда преданность к отечеству и королю потребуют от него подвига. Врагу, опасному для русских, надо противопоставить себя. Кто знает? Может быть, и от него самого отечество ждет последней, очистительной жертвы.

Решиться на что-нибудь надо скорее. Русские в тот же день или, по крайней мере, в следующий должны подойти к Мариенбургу, и тогда отнята всякая возможность попасть в замок.

– Друг, – сказал наконец Владимир своему товарищу, пожимая ему руку, – нам надо перебраться в замок.

– Что ж мешает? – спросил Конрад.

– Замок будет осажден.

– Иди, куда зовет тебя Провидение. Мне ль, старцу, тонкою нитью привязанному к земле, задерживать тебя на пути твоём? Разрешу и полечу. Пора и мне поставить в уголок хрупкий посох. Готово сердце мое, о боже! готово!

– Для кого достанется тебе, может быть, по-жертвовать собой! Знаешь ли, кто я?

– Друг мой.

– Знаешь ли, что я величайший злодей?

– Ты – друг мой.

– Я русский.

– Давно это мне известно.

– Я всегда скрывал это от тебя.

– Неужели ты думаешь, что слепцы ничего не видят? – Сердце служит им очами. Мое собрало тебя, рассеянного в словах и намеках, в пути и на перепутьях нашего десятилетнего странствия; оно составило себе из человека, который со мною ходит, которого люди называют Вольдемаром, существо особенное, отличное от других, но знакомое мне до последней нити его бытия. Я люблю его; я привязан к нему всеми способностями души моей; в сердце моем нет ему имени; он заключает

для меня весь мир, все человечество. Говори мне, что ты преступник: я не верю тебе. Преступником мог быть Вольдемар; но ты, существо, мною созданное, чист, как ангелы. Я поклонялся бы тебе, если б не знал Бога! Мне ль после того не разуметь тебя?.. Сколько раз ловил я сердцем твои болезненные вздохи и читал в них повесть твоих страданий! Ты рассказывал мне о России, как о земле, тебе чуждой; но родина отзывалась в словах твоих. И ты сам сколько раз передал мне в таинственных отрывках повесть твоей жизни! Вольдемар сам не знал этого; Вольдемар спал тогда; но ты – мне все поведал: Москва, София, князь Василий, родина – все тебе драгоценное, заключенное в груди твоей во время бдения, вырывалось у тебя во сне и обличало тебя. Нередко, при опасных для тебя свидетелях, страшась, чтобы ты не изменил самому себе, я подстерегал роковые имена на твоих устах, толкал тебя и прерывал тревожные твои сновидения. Тайну твою хранил я, как будто ты сам мне ее поверил. О! каким благом почел бы я принести себя в жертву, тебе полезную!

Замолчал слепец. Владимир пал на его

грудь, и слезы счастья неподкупного оросили ее. Святой старец ничего не говорил; но вместо ответа на челе его просияла радость. Молча поднялись они и побрели к озеру.

Все лодки, по приказанию коменданта, были потоплены или сведены на берег острова. Только что застали они утлый челн и в нем переехали к замку. Еще издали заметил их цейгмейстер и приказал спустить им со стены веревочную лестницу, по которой и перебрались они в замок. Неизвестно, что открыли Вульфу наши странники; но видно было по движению в крепостце, что защитники ее приготовлялись к немедленной обороне.

Четвертого августа подошли русские к Мариенбургу. В следующие дни прорыты апроши[50] с трех сторон залива, в котором стоял остров с замком; на берегу зашевелилась земля; поднялись сопки, выше и выше; устроены батареи, и началась осада; двадцать дней продолжалась она. Искусная оборона цейгмейстера (он распоряжал ею за старостью коменданта) долго расстроивала усилия русских взмоститься на высоты, которые могли бы господствовать над замком. Убийственный

огонь, высылаемый Вульфом, снимал людей с батарей, как проворный игрок шашки с доски, подрезывал лафеты у мортир, рассыпал амбразуры и в несколько часов уничтожал труды нескольких дней. Многих русских недосчитывали в рядах: и теперь еще бугры свидетельствуют, что удары заржавленных мариенбургских пушчонок были метки. Несмотря на это, хладнокровие Шереметева, принявшего на себя управление осады, не изменялось: он знал, с кем имеет дело. Наконец он внес главную батарею на высоту, с которой, окинув окрестность, мог сказать:

– *Замок наш!*

С этого времени остров был осыпая бомбами; одна сторона очень повредилась, но осаждаемые не сдавались. Такое ожесточенное мужество поколебало хладнокровие Шереметева. Велено устроить плоты и быть готовыми к штурму.

В заточении своем пастор и его воспитанница почитали приход гуслиста и слепца особенным для себя благодеянием неба. Владимир, мало-помалу, незаметно, подстрекал самолюбие Глика, представляя ему, сколько бы

он полезен был преобразователю России знанием языка русского и других, какую важную роль мог бы он играть в этой стране и какое великое имя приобрел бы в потомстве своими ей заслугами. Что делает он в темном, тесном уголке Лифляндии? Оценены ли его познания шведским правительством? Адрес, над которым он столько трудился, мог ли, будет ли иметь ход? Все это говорилось тайком от цейгмейстера, в минуты задушевной доверенности, и так осторожно, что выговаривал эти жалобы не Владимир, а оскорбленное самолюбие пастора. Надо прибавить, что и цейгмейстер, как бы перед ужасным переломом жизни, во всех спорах, затеваемых Гликом, стал терпелив, как писчая бумага, и оказывал ему нежную, уступчивую почтительность сына, даже и тогда, когда дело шло о переходе в русскую службу. Воображение Глика, вместе с успехами осаждавших, так разгоралось, что он наконец не стал сходить уже со своего конька и написал, сидя на нем, царю адрес, которым просил о принятии пастыря и паствы мариенбургской, особенно будущего зятя своего, под особенное покровительство

его величества. Адрес обещано передать по принадлежности, когда потребуют обстоятельства.

Катерина Рабе цвела и под бурю. Заключение неприятелем в тесной засаде и готовясь надеть новые цепи, она беспечно утешалась вкрадчивыми рассказами Владимира о России и шутила по-прежнему.

– Настоящая жена храброго коменданта! – говаривал пастор.

Нередко под громом пушек составлялось восхитительное трио из Кете, слепца и гуслиста.

В каком отношении был цейгмейстер к Владимиру? О! его полюбил он, как брата, слушался даже его советов, нередко полезных. С каким негодованием внимал он рассказу его о простодушии и беспечности Шлиппенбаха, которого будто Владимир заранее уведомил о выходе русских из Нейгаузена! С каким удовольствием дал он убежище в своей пристани этому обломку великого корабля, разбитого бурю!

– Скитаюсь теперь без куска хлеба, без надежды! – говорил Владимир голосом оскорб-

ления. – Вот чем заплатили за мои услуги! Ими не умели воспользоваться, а я терплю.

Попечениями своими о доставлении всех возможных выгод нашему страннику хотел Вульф вознаградить неблагодарность к нему своего главного начальника, не умевшего вовремя обеспечить благосостояние человека, столько для него сделавшего. Одним словом, Владимир стал в тех же отношениях к цейгмейстеру, в каких прежде находился к Шлиппенбаху.

Никогда еще молодой странник не тосковал так сильно по отчеству. Часто среди утешительных надежд слышался ему приговор мнимого отца его. «Отца моего? – спрашивал он себя. – Нет, не может быть! Андрей Денисов не отец мне. Слово это не говорит моему сердцу; он только испугал меня неожиданно. Ничто во мне не двигалось к нему: во мне нет ничего с ним сходного! Когда б он был мне отец, давно бы в Москве, в Поморском ските, где-нибудь, проглянуло ко мне чувство родительское, хотя б из-под вериг пустосвятства. Отец не вел бы на казнь сына, не оставил бы матери моей. Мать моя, кто бы

она ни была, не могла полюбить это чудовище. После этого придется мне самого лукавого признать своим отцом! Нет! нет! сети!..»

Так отражал Владимир мыслями и сердцем ужасное объявление ересиарха. Молчание Паткуля при поверке завещания Кропотова и ответы ясновидящего слепца, для которого несчастный не таил более истории своей жизни, утвердили его в мыслях, что Андрей Денисов не отец его.

Между тем в лагере осаждавших случилось происшествие, весьма близкое к нашему Владимиру. В один день, когда русский военачальник с высоты, им осиленной, вперил орлиные взоры на башни Мариенбурга, уже не так бойко поговаривавшие, пришли доложить ему, что один раненый рядовой имеет объявить ему *слово* и *дело*. Фельдмаршал вошел в свою ставку, туда ж призван и солдат: это был тот самый, которому Андрей Денисов поручил отдать свое послание. Оно вручено фельдмаршалу с обыкновенными солдатскими темпами уважения и подчиненности. Величаво и проницательно взглянул Борис Петрович на служивого и, прочтя на открытом

его лице одно смелое добродушие, ласково спросил его, что это значит? Тут подробно рассказал ему рядовой о встрече своей с Денисовым, которого называл переодевшимся боярином. Горестная дума осенила лицо военачальника, в то время как он читал письмо. В этом письме давали знать, кто такой Владимир: довольно было этого объяснения, чтобы погубить его. К тому ж Андрей Денисов присовокуплял, что в то же время, как писал фельдмаршалу, он уведомляет о злодее и Преображенский приказ[51]. По прочтении послания Борис Петрович обратился к солдату, приметно удерживаясь от гнева.

– Хвалю твое усердие, – сказал он сурово, отдавая служивому несколько серебряных монет... – но поспедай в Россию, куда ты отпущен. Чтобы через час духу твоего здесь не пахло! и... горько тебе будет, если когда проговоришься об этом письме! Слышишь?..

Смущенный солдат спешил убраться из палатки фельдмаршальской и теми же стопами из лагеря.

Долго, задумавшись, ходил Борис Петрович взад и вперед по палатке.

– Это он! нельзя ошибиться... Поймать!.. казнить!.. заплатить за важные услуги отечеству!.. Надо его спасти!.. – были слова, вырывавшиеся у него по временам.

Скука, грусть видимо означились на важном его лице. Он приказал позвать к себе князя Вадбольского. Ему-то поверил он, как другу, тайну письма, свои опасения насчет несчастливца, служившего так верно русскому войску, и желание свое спасти его от гибели, которая его ожидает, если злодейские происки Денисова найдут себе путь в Москве. Только настоящее время дорого; впоследствии, при удобном случае, сам он, фельдмаршал, может быть ходатаем за несчастливца. Гонимый находится в Мариенбурге: об этом предупрежден Борис Петрович. Замок едва держится; он должен скоро сдаться. Надо непременно спасти Владимира. Приметы его описаны в письме: нельзя ошибиться. Вадбольский тем охотнее берется за дело, что угадывает в нем и своего избавителя. Средства спасения придуманы так, что никто об исполнении их не будет знать, кроме третьего лица, именно Мурзенки, много обязанного

несчастному (что Паткуль имел случай объяснить фельдмаршалу и что мы узнаем со временем). Душа татарского наездника скрытна, как дно морское.

Глава десятая

Свадьба и погребение

*Уже я думал – вот примчался!
Как вдруг мой изнуренный конь
Остановился, зашатался
И близ границ страны родной
На землю грянулся со мной...
Рылеев*

Ночь на двадцать четвертое августа была мрачная. По временам только прорезывался этот мрак огнем, вылетающим клубом с трех батарей русских. Казалось, его метал с неба сам громодержитель[52]. Замок на острове извергал также с трех сторон огни: воды озера повторяли их. В эти мгновения рисовался и замок, опрокинутый в воде, будто стеклянный дворец феи, освещенный факелами летающих духов. Огоньки, унижавшие высоты, занятые русскими, казались висящими на

воздухе. Гром орудий прокатывался по озеру и отдавался по нескольку раз берегами. Наконец к полуночи все померкло и стало тихо, так тихо, что с главного раската можно было слышать, как бежала волна и с ропотом издыхала на берегу. Часа два продолжалась тишина. Вдруг с берега что-то свистнуло и загремело; два огненные хвостика очертили по воздуху полукруг, и вслед за тем в замке что-то с ужасным шумом рухнуло; поднялись крики и стенания.

Рассвет дня объяснил причину их: главная стена и один болверк[53] с пушками пали. Фельдмаршал с высоты любовался разрушением крепости.

– Чистая работа! благодарствую! – сказал он, положив руку на плечо бомбардира, стоявшего подле него с улыбкой самодовольствия.

В замке все приуныло. У коменданта составлен был совет. Пролом стены, недостаток в съестных припасах, изготовления русских к штурму, замеченные в замке, – все утверждало в общем мнении, что гарнизон не может более держаться, но что, в случае доброволь-

ной покорности, можно ожидать от неприятеля милостивых условий для войска и жителей. Решено через несколько часов послать в русский стан переговорщиков о сдаче. Сам цейгмейстер, убежденный необходимостью, не противился этому решению.

С веселым лицом явился он на квартиру пастора. Последний одет был по-праздничному; все в комнате глядело также торжественно. Подав дружески руку Вульффу, Глик спросил его о необыкновенном шуме, слышанном ночью. (За домами не видать было сделано-го в стене пролома.) Шутя, отвечал цейгмейстер:

– Московиты не такие варвары, какими я их воображал: они знали, что ныне день моей свадьбы, и хотели еще заранее, с полуночи, поздравить меня с батарей своих. Доннерветтер! ныне ж последует сдача нашей крепостцы, и тогда мы расквитаемся с ними.

– Сдача? Слава богу! – воскликнул пастор и в благоговении, сложив руки на грудь, прочитал про себя молитву. – Не отложить ли нам свадьбу до заключения мира?

– Ваше слово, господин пастор, ваше слово

должно быть свято. Я хочу, чтобы Катерина Рабе вошла с моим именем в стан русский. Где ж моя невеста?

На зов Глика явилась его воспитанница. Щеки ее пылали; грусть в очах ее походила более на тоску любви; черные локоны падали на алебастровые округленные плечи; шея была опоясана золотым ожерельем с бирюзой; белоатласное платье, подаренное ей Луизой и сберегаемое ею на важный случай, ластилось около ее роскошных форм и придавало ей какое-то величие; стан ее обнимал золотошвейный пояс; одинокая пышная роза колебалась на белоснежной девственной груди. Только одну и могли найти в цветнике комендантского сада: казалось, она запоздала в нем для того только, чтобы кончить жизнь так счастливо. За невестою шел Владимир. Смуглое лицо, черные кудри, небрежно раскиданные, пасмурный взор, бедная одежда резко отделялись от блестящей, роскошной фигуры невесты.

Невеста и жених стали на свои места. Пастор с благоговением совершил священный обряд. Слезы полились из глаз его, когда он да-

вал чете брачное благословение. С последним движением его руки отдали в стане русском кому-то честь барабанным боем... и вслед за тем в комнате, где совершалась церемония, загремел таинственный пророческий голос, как торжественный звон колокола:

– И се на главе ее лежит корона!

Все невольно вздрогнули и оглянулись. На пороге двери стоял слепец. Он казался необыкновенно высок; грудь его колебалась, незрящие очи горели, как в то время, когда он рассказывал свои видения в Долине мертвецов. Каким образом пришел в комнату, где совершалось таинство, слепец, один, без проводника, без посоха? Кто был его путеводитель?.. Три дня уже он сильно перемогался. С изумлением, молча, смотрели на него, как на пришлеца с того света. Вдруг он начал колебаться, искал кого-то руками и, произнеся слово: «позван», грянулся на пол. Владимир подбежал к нему; он чувствовал еще пожатие его руки; но через миг улыбка смерти порхала уже на лице старца. Владимир целовал его руку и орошал ее слезами.

Ужас объял всех. Новобрачные спешили в

другую комнату, а навстречу им – штык-юнкер Готтлиг, особенно преданный цейгмейстеру, с известием, что комендант с несколькими офицерами перебрался уже на ту сторону и прислал сказать, что у него идут переговоры о сдаче замка на выгоднейших условиях: гарнизону и жителям местечка предоставлен свободный выход; имущество и честь их обезопасены; только солдаты должны сдать оружие победителям и выходить из замка с пулями во рту.

Румянец вспыхнул на лице Вульфа; видно было на лице его, что он удерживался от негодования.

– Скажи коменданту, – отвечал он довольно спокойно, – что я даю свое согласие; но требую шести часов, чтобы выпроводить отсюда жителей Мариенбурга. Залогом в выполнении условий может остаться господин комендант с товарищами! – прибавил Вульф, коварно усмехаясь.

Потом, переговорив что-то со штык-юнкером шепотом, крепко пожал ему руку, отпустил его и, увлекая с собою новобрачную, пошел с нею отыскивать Глика.

Пастора нашли они в цветнике. Дрожащею рукою бросил он горсть земли на свежую могилу и произнес:

– Мир тебе в селении праведных!

В глубокой горести, опершись на заступ и качая головой, стоял подле него Владимир: слезы струились по его щекам; взоры его как будто выражали: «Один он только в мире не покидал меня, и его у меня отняли!» Новобрачные также посыпали землею на его могилу, – и скоро земляной бугор скрыл навеки останки вдохновенного старца.

Свадьба и похороны были так смежны, неизвестность, окружавшая наших друзей, так страшна, что нельзя было им не задуматься над бедностью здешнего мира. Штык-юнкер Готтлиг вывел их из этой задумчивости, донеся цейгмейстеру, что волю его обещали исполнить, но что, против чаяния, когда он, Готтлиг, причалил лодку свою к берегу острова, войска русские начали становиться на плоты, вероятно, для штурмования замка.

– Мы встретим их! – сказал Вульф, простился с Гликом и своею супругою и отправился принять гостей, не в пору пожаловав-

ших.

В самом деле, русские на нескольких плотках подъехали с разных сторон к острову. Встреча была ужасная. Блеснули ружья в бойницах, и осаждавшие дорого заплатили за свою неосторожность. Сотни их пали. Плоты со множеством убитых и раненых немедленно возвратились к берегу. Из стана послан был офицер шведский переговорить с Вульфом, что русские не на штурм шли, а только ошибкою, ранее назначенного часа, готовились принять в свое заведование остров.

– В другой раз не будут ошибаться! – сказал хладнокровно цейгмейстер. – Я требую, чтобы из этих самых плотов сделали мост для перехода мариенбургских жителей, которых я взял под свою защиту!

С торжественным лицом явился Вульф к Глику и застал его в больших трудах. Он высиживал речь, которую хотел произнести перед русским военачальником, когда последует сдача замка. Госпожа Вульф в глубокой задумчивости сидела неподалеку от него.

– Друзья мои! – сказал цейгмейстер. – Я хлопочу о вашем благополучии. Бездельники

вздумали было не исполнить своего слова; но кто побывал в моей школе, научится держать его. Московитские плоты к вашим услугам, и я заставлю победителей переправить вас на ту сторону.

– Э, э, любезный! где ж у вас, позвольте сказать, Минерва? – говорил пастор, заглядывая беспрестанно в бумагу, перед ним лежавшую, перемешивая суетливо свой разговор на немецком обрывками русской речи и ударяя рукою по столу. – *Высокоповелительный вождь российских победоносных...* Да, да, мой любезнейший друг, берегитесь, чтобы не... *Пали под стопы ваши грозны твердыни крепкого града Мариенбурга, как некогда Троя...* чтобы не отплатили вам, говорю я! Брр, бр... Не забудьте своего слова... *Минерва несла перед вами эгиду свою...*

– О ней-то хотел я с вами переговорить, – перебил Вульф, пожав плечами, и почти насильно отвел Глика в другую комнату. Здесь, под клятвой, открыл он великую тайну. – Только вам, Вольдемару и штык-юнкеру, – прибавил цейгмейстер, – поверил я эту тайну. Спасите себя, мою Кете и тех, кто захочет за

вами следовать.

– Вы так жестоко обманули меня? Вы оставляете вдовой ту, с которой только что сочел вас Бог? – произнес горестно пастор. – Зачем же, не любя ее...

– Другому, кто бы мне это сказал, я раскроил бы череп, – перебил Вульф. – Нет, мой добрый отец, я любил ее слишком много: эту слабость могу только теперь исповедать. Но моя любовь была чиста и возвышенна, как любовь древнего рыцаря: таковою и останется. Я хотел только, чтобы бедная, незначащая сирота носила мое имя – кажется, благородное! в этом, доннерветтер, порукою нынешний день. В шкатулке, которую вверил я вам вчера, найдет вдова цейгмейстера Вульфа чем обеспечить будущность. Исполнив обязанности дружбы и любви, я имею еще высшие обязанности: пришло время заплатить долг мой королю и отечеству.

Глик убеждал, умолял его именем дружбы, любви, Бога оставить свое намерение; но цейгмейстер был неумолим.

– Мое слово неизменно, как сам Бог! – сказал последний. – В этом клянусь Его святым

именем!

Оставалось уступить ему не без большого неудовольствия.

От новобрачной скрыли ужасную тайну. Только при расставании с мужем она заметила в словах его и во всех движениях что-то необыкновенное. Разлука их должна быть часовая, как ей сказали; а между тем глаза его были мокры, когда он прощался с нею и ее воспитателем. Этого никогда с ним не бывало; это недаром! Еще сильнее возродились ее подозрения, когда Вульф, поцеловав ее в лоб, сказал с особенным чувством:

– Будь счастлива!

Невольно содрогнулась она от этих слов, заплакала и бросилась к нему на грудь. Она не чувствовала к нему особенной любви, но привыкла к нему, уважала его, как покровителя, брата, друга; знала, что он к ней привязан; носила уже его имя – и потерять его было для нее тяжело. Разными обманами старались ее успокоить. Дружья расстались.

Началось шествие мариенбургских жителей из замка по мосту, составленному из сдвинутых плотов русских. Впереди всех мед-

ленно и важно выступил пастор в праздничном одеянии. Под левою мышкою нес он «Славянскую Библию», нередко покашливал и бормотал про себя, затверживая приветственную речь. За ним следовала, опустив печально голову, воспитанница его в брачном одеянии, которого не успела скинуть. Занятая мыслями о своем хозяйстве, Грете шла за нею не в меньшей горести. Она несла узел, в котором заключены были, едва выглядывая на белый свет, Квинт Курций, Юлий Кесарь, Езоп и прочие великие мужи древности, удостоенные, по милости пастора, преобразиться из римской и греческой тоги в русскую одежду. Полный тревоги и нетерпения, поспешал за ними Владимир. Медленность шествия досаждала ему; если б можно, он перебросился бы в стан русский. Клятва, которую он дал Вульффу, – хранить роковую тайну, – может и должна быть нарушена для блага его соотечественников. Допустит ли он своих братьев быть обманутыми шведами и погибнуть нечаянной смертью?

Вслед за нашими друзьями высыпали из ворот замка граждане мариенбургские, как

овцы, выпущенные в красный день из овчарни. Часть гарнизона выступила также, малая часть осталась в замке по условию до сдачи его и всех военных снарядов русским.

Долго стоял Вульф на берегу острова, пока не потерял из глаз пастора и ту, которую он называл так долго сестрою своею и так мало своею женою. Близ моста, на авансцене русского стана, стоял благородный представитель своих соотечественников, князь Вадбольский. Ему поручено было распорядиться о приеме дорогих гостей, выступавших из замка. Неподвижный, закованный в одну думу, в одно чувство, он устремил свои взоры на подходившую к нему толпу. Позади в нескольких шагах от него находились верхом знаменитый Мурзенко, близ него два конных татарина, из которых один держал оседланную лошадь, и четверо спешенных драгун. Все они внимательно сторожили движения Вадбольского; самые лошади их, наострив уши, подняв головы, казалось, одинаково что-то выжидали. Лишь только Владимир вслед за пастором и его домочадцами спустил ногу с моста на берег и взгляд его сошелся с наблю-

дательным взглядом князя Вадбольского, как почувствовал, что его схватили за руку могучею рукою.

– Тебя ищут! – торопливо сказал ему князь. – Спасайся от беды неминучей!

– Я сам иду! Пора к концу! – отвечал Владимир, хотел еще говорить, но Вадбольский гаркнул:

– Сюда!

Налетели татары и драгуны, окружили их; поднялось около них облако пыли, сквозь которое ничего нельзя было видеть из русского стана и мариенбургскому кортежу. Сильные руки схватили Владимира, не дав ему образумиться, посадили кое-как на лошадь и туго привязали к ней. Мурзенко свистнул и был таков; за ним помчались два татарина и лошадь, к которой прикреплен был узник. Горы, леса мелькали мимо них. Наконец они остановились. Разбитый ездою, истерзанный крепкою перевязью, изнуренный душевными страданиями, Владимир, полуживой, оглянулся. Все вокруг него ходило. Что с ним сделалось, где он был; где теперь, не понимал он. Его развязали, сняли с лошади, посадили на

мураву и дали ему выпить воды. Он очнулся и увидел себя у калитки Блументростовой мызы; перед ним стоял Мурзенко; два татарина ухаживали за несколькими лошадьми.

Мурзенко, заметив, что он пришел в себя, подал ему бумагу. Владимир взял ее и прочел на ней следующие строки, рукою фельдмаршала написанные: «Спасайся, беги в Чудь, в Польшу, куда хочешь; только в России не показывайся. Не снесешь там головы своей. Злодей Денисов ищет твоей гибели и пишет о тебе в Москву, в царскую Думу. Спасти тебя теперь не могу: ты – *Последний Новик!* Молим Бога и всех святых Его подать нам случай оказать тебе нашу благодарность. Будем узнавать о тебе на известной мызе. Наш посланный вручит тебе знак нашей признательности, какой может тебе по времени пригодиться».

– Итак, Господи, Ты судил мне родины не видеть!.. – сказал Владимир, прочитав записку, и зарыдал так горько, что привел в жалость татарского наездника.

Мурзенко, не понимая причины его горести, старался, однако ж, по-своему утешить

его и подал ему кошелек, туго набитый золотом.

– Отдай этот дар назад тому, кто прислал его! – сказал с негодованием Владимир, оттолкнув руку татарина. – Объяви ему, что я не наемщик. За деньги не делают того, что я сделал. Господи! о Господи! за что лишил меня товарища, родителей, отечества? За что отвергаешь и смирение мое, и мое раскаяние?.. Не лиши меня хоть последней милости, молю тебя: сделай, чтобы, когда узнают о смерти Последнего Новика, русские, братья его, совершили по нем поминовение и помолились о спасении души того, кто любил так много их и свою родину!

Тут Владимир, закрыв глаза руками, опять горько заплакал; но немного погодя встрепенулся и сказал Мурзенке:

– Может быть, еще не поздно!.. Скачи назад, иди прямо к Шереметеву и скажи ему, чтобы русские не входили в замок. Там офицер шведский зажжет пороховой погреб; взорвет!..

– Пуф! – вскричал Мурзенко, показывая движениями, что он понял Владимира. – Без-

дельника! Собака швед! понимай моя... Добре, добре! – прибавил он, обняв Владимира и утерев кулаком слезу, наворачивающуюся на щель одного глаза. – Моя твоя не забудет. По твоя милости моя пулковник. Авось моя твоя добре сделает.

С последним словом кликнул он своих татар, сел на коня и, как вихрь, взвился по дороге к Мариенбургу.

Проводив на мызу господина Блументроста Владимира, с которым судьба так жестоко поступила в минуты его величайших надежд, мы возвратимся к мосту мариенбургскому. Внезапное похищение его несколько расстроило церемониальное шествие, предводимое Гликом. Последний едва не перемешал в голове частей речи, составленной по масштабу порядочной хрии[54], от которой отступить считал он уголовным преступлением.

Князь Вадбольский, управившись с Владимиром, поспешил к пастору и, узнав, что он говорит по-русски, обласкал его; на принесенные же им жалобы, что так неожиданно и против условий схвачен человек, ему близкий, дан ему утешительный ответ, что это

сделано по воле фельдмаршала, именно для блага человека, в котором он принимает такое живое участие; и потому пастор убежден молчать об этом происшествии, как о важной тайне.

Глик с своими прихожанами и обезоруженными шведскими офицерами, вышедшими из замка с частью гарнизона, отведен был в стан русский. Там, в богатой ставке, которую мы уже прежде описали, ожидал их фельдмаршал, окруженный многочисленным штатом. Почетные жители Мариенбурга были введены в нее, и взоры воинов русских обратились на прекрасную воспитанницу. Несмотря на присутствие главного начальника, многие единодушно вскричали: «Вот пригожая девушка!» — «Das ist ein schönes Mädchen!» Сам фельдмаршал невольно охоросился, призвал улыбку на важное лицо свое и не раз взглянул на нее глазами, выражавшими то, что уста других произнесли.

Госпожа Вульф, краснея от общего внимания, на нее обращенного, и от похвал, которыми была осыпана, казалась оттого еще прелестнее. Это внимание, не ускользнувшее от

глаз пастора, и ласковый прием, сделанный ему фельдмаршалом, придали ему бодрости. Кашлянув и поправив на себе парик, он спешил изумить своих слушателей речью, произнесенною на русском языке. В ней собрана была вся ученость его, подпертая столбами красноречия и любовь его к славе Петра I – любовь, зажженную взглядом на него великого монарха под Нейгаузенем, питаемую русскими переводами, которые намеревался посвятить ему, и надеждою основать в Москве первую знаменитую академию, *scholam illustrem*. В заключении просил оратор повергнуть к стопам его величества адрес, им заготовленный, о принятии уж не Мариенбурга – целой Лифляндии под свое покровительство. По окончании речи Глик подал фельдмаршалу «Славянскую Библию» в огромном формате, которую держал доселе под мышкою и которая мешала ему порядочно размахнуться. Ободренный лестным вниманием и признательностию высокого русского сановника, обещавшего ему свое покровительство и денежное пособие на учреждение в Москве училища и заверявшего его в

милостях царя, который умел ценить истинную ученость, пастор почитал себя счастливее увенчанных в Капитолии. Все мечты, все грезы его самолюбия сбывались! Вслед за Библиею представлены великие члены его семейства, исторгаемые один за другим из смиренного убежища, в котором держала их Грете, а за ними его воспитанница, офицеры шведские и почетные жители Мариенбурга, принятые, волею их или неволею, под покровительство восторженного оратора. Всех отрекомендованных Гликом фельдмаршал оставил у себя обедать. За столом радушный хозяин так ободрил их, что они забыли свое горе и казались дорогими гостями на веселом пиршестве. Говорили и о Вульфе, несмотря на желание Глика отстранить от себя печальную мысль о нем. Когда узнали, что он муж и только что несколько часов муж прелестной воспитанницы, фельдмаршал сказал по-немецки:

— Ваш зять порядочно *натрубил* нам в уши: три недели не дал он нам покоя своею музыкою и недавно еще задал нам порядочный концерт. Надо бы отплатить ему ныне

тем же, – прибавил он, смотря значительно на госпожу Вульф, – но мы не злопамятны. Пусть увенчают его в один день и лавры и мирты, столько завидные!

Госпожа Вульф покраснела и, прибавляет хроника, вздохнула... Комментарии не объясняют этого вздоха. Известно нам только, что с того времени называли ее прекрасною супругою несносного *трубача*...

После обеда гости были отпущены по домам. Пастору обещано доставить его с честью и со всеми путевыми удобствами в Москву, как скоро он изъявит желание туда отправиться. Все разошлись довольны и веселы.

Настал условный час приема замка. Сначала послан был к цейгмейстеру шведский офицер с предуведомлением, что русские идут немедленно занять остров.

– Все готово к приему их! – отвечал хладнокровно Вульф.

Несколько баталионов русских тронулось из стана с распущенными знаменами, с барабанным боем и музыкою. Голова колонны торжественно входила в замок, хвост тянулся по мосту. Гарнизон шведский отдал честь по-

бедителям, сложил оружия, взял пули в рот и готов был выступить из замка... Дело стало за цейгмейстером, которого не могли сыскать. Поднялась пыль за местечком по дороге из Менцена, быстро вилась клубом, исчезла в местечке; уже на берегу виден татарский всадник – это Мурзенко. Он махал рукою и кричал что-то изо всей силы; слова его заглушены музыкою и барабанным боем...

В эту самую минуту среди замка вспыхнул огненный язык, который, казалось, хотел слизать ходившие над ним тучи; дробный, сухой треск разорвал воздух, повторился в окрестности тысячными перекатами и наконец превратился в глухой, продолжительный стон, подобный тому, когда ураган гулит океан, качая его в своих объятиях; остров обхватило облако густого дыма, испещренного черными пятнами, представлявшими неясные образы людей, оружия, камней; земля задрожала; воды, закипев, отхлынули от берегов острова и, показав на миг дно свое, обрисовали около него вспененную крайницу; по озеру начали ходить белые косы; мост разлетелся – и вскоре, когда этот ад закрылся, на месте, где стоя-

ли замок, кирка, дом коменданта и прочие здания, курились только груды щебня, разорванные стены и надломанные башни. Все это было делом нескольких мгновений. Последовала такая же кратковременная тишина, и за нею послышались раздирающие душу стоны раненых и утопавших, моливших о спасении или смерти. Немногие из шведов и русских в замке чудесно уцелели. Не скоро также были посланы люди с берегу, чтобы дать им помощь; опасались еще какого-либо адского действия из уцелевшей башни. Испуганное войско русское высыпало из стана на высоты и приготовилось в бой с неприятелем, которого не видели и не знали, откуда ждать.

Вульф сдержал свое слово: и мертвеца с этим именем не нашли неприятели для поругания его. Его могилою был порох – стихия, которою он жил. Память тебе славная, благородный швед, и от своих и от чужих!

История не позволяет мне скрыть, что месть русского военачальника за погубление баталиона пала на бедных жителей местечка и на шведов, находившихся по договору в ста-

не русском, не как пленных, но как гостей. Все они задержаны и сосланы в Россию. Не избегли плена Глик и его воспитанница, может статься, к удовольствию первого. Шереметев отправил их в Москву в собственный свой дом. Местечко Мариенбург разорено так, что следов его не осталось.

Конец третьей части

Часть четвертая

Глава первая У раскольников

*Устал я, тьма кругом густая.
Запал в глуши мой след.
Безбрежней, мнится, степь пустая,
Чем дале я вперед.*
Жуковский

«**Б**орис Петрович гостил в Лифляндах из-рядно», – писал Петр I к одному из своих вельмож десятого сентября 1702 года. А како-во было гощение, можно видеть из писем Шереметева к самому государю. Особенно два письма, знакомя нас с тогдашним образом войны русских и жалким состоянием Лифляндии, так любопытны, что мы решаемся задержать на выписке из них внимание наших читателей. «Посылал я (доносил фельдмаршал) во все стороны полонить и жечь. Не осталось целого ничего: все разорено и пожжено; и взяли твои, государевы, ратные люди в полон мужеска и женска пола и робят

несколько тысяч, также и работных лошадей и скота с двадцать тысяч или больше, кроме того, что ели и пили всеми полками, а чего не могли поднять, покололи и порубили...» В другом письме доносит он же: «Указал ты, государь, купя, прислать чухны и латышей, а твоим государевым счастьем и некупленных пришлю. Можно бы и не одну тысячу послать, только трудно было везти, и тому рад, что ратные люди взяли их по себе; а к Москве посылка не дешева станет, кроме подвод». К этому описанию прибавлять нечего; каждое слово есть драгоценный факт истории, жемчужина ее.

Осень подоспела, чтобы своими непогодами прибавить к мрачному состоянию этой страны. Главная русская армия давно уж покинула опустошенный ею юго-восточный край Лифляндии и перешла на север к Финскому заливу; разве мелкие наезды понаведывались изредка, не осмелился ли латыш вновь приютиться на родной земле, как злой ястреб налетом сторожит бедную пташку на гнезде, откуда похитил ее птенцов. Вслед за военными дозорщиками рыскали стада вол-

ков, почуявших себе добычу. В это время Владимир покинул мызу господина Блументроста.

Сделаем перечень его несчастий.

Он лишился единственного своего товарища, слепца, восемь лет ходившего с ним рука об руку, восемь лет бывшего единственным его утешением; он разлучен с Паткулем, который один мог бы помочь ему и не знал безвременья для слова правды и добра перед царями; обманут он в минуты лучших, сладчайших своих надежд – у порога родины немилосердо оттолкнут от нее на расстояние безмерное. Русские, соотечественники, гонят его; шведам, призревшим его новым отечеством и братством, он изменил. Все высокое, прекрасное, им воздвигнутое, разбито в прах; все злодейское, им сделанное, воскресло новою жизнью и растет перед его совестью. Прошедшее – широкий путь крови, скитания, нужд; будущее – тесное, жесткое домовище, откуда он, живой, с печатью греха и отчуждения, вставая, пугает живых, откуда он не может выйти, не встретив топора палача или заступа старообрядческого могильщика. Что оста-

лось ему? Плакать? Он уже выплакал свои слезы... Прочь все прекрасное, все доброе! Ад – его достояние; ад легко отыскать с таким проводником, как мщение! Отныне злобно смотрит он на жизнь и на человечество; но между последним сердце его отметило одного человека метою кровавою. Его-то радостно опутает он своими объятиями, сшибет со скудельных[55] ног и с ним вместе рухнет в бездну вечного плача и скрежета зубов. Этот человек поднимает его поутру с ложа, ходит с ним неразлучно, сидит с ним за столом, у изголовья его постели, будит его во сне; этот человек – Андрей Денисов.

– Мщение! – вскричал Владимир, разбив свой гусли. – На что вы мне теперь? Вы не выражаете того, что я чувствую. Мщение! – сказал он Немому, расставаясь с ним и пожав ему руку пожатием, в котором теплилась последняя искра любви к ближнему. Добрый Немой, не понимая его, с жалостию смотрел на него, как на больного, которого он не имел средств излечить, крепко его обнял и проводил со слезами. После него и Немой остался на мызе круглою сиротою!..

Наружность Владимира была мрачна не менее души его. Дикий, угрюмый взор, по временам сверкающий, как блеск кинжала, отпущенного на убийство; по временам коварная, злая усмешка, в которой выражались презрение ко всему земному и ожесточение против человечества; всклокоченная голова, покрытая уродливою шапкою; худо отращенная борода; бедный охабень[56], стянутый ремнем, на ногах коты, кистень в руках, топор и четки за поясом, сума за плечами – вот в каком виде вышел Владимир с мызы господина Блументроста и прошел пустыню юго-восточной части Лифляндии. Он приближался к Дерпту и поворотил вправо. Глаза его разыгрались диким восторгом.

– Он велел мне приходить к себе. Иду к нему, гость не на радость! Сяду на большое место под образами, насыщусь его хлебом с солью, напьюсь медов сладких и – отблагодарю за гостеприимство. Долго не забудет званого посетителя! – Так говорил Владимир, подходя к *Носу*, одной из деревень, которыми *староверы* обсели Чудское озеро. Мертвая осенняя природа; тяжелые, подобно оледене-

лым валам, тучи, едва движущиеся с севера; песчаная степь, сердито всчесанная непогодами; по ней редкие ели, недоростки и уроды из царства растений; временем необозримые, седые воды Чудского озера, бьющиеся непрерывно с однообразным стоном о мертвые берега свои, как узник о решетку своей темницы; иссохший лист, хрустящий под ногами путника нашего, — все вторило состоянию души Владимира. Вот он уж и в деревне.

Латыши, чухны проводят обыкновенно унылую, тихую жизнь в дикой глуши, между гор и в лесах, в разрозненных, далеко одна от другой, хижинах, вдали от больших дорог и мыз, будто и теперь грозитя на них привидение феодализма с развалин своих замков. Не видно у них, как в наших великороссийских губерниях, длинных деревень, где тысячи любят жаться друг к другу, где житье привольно, подобно широким рекам, и шумно, нередко буйно, как большие дороги, около которых русские любят селиться; где встречает и провожает зори голосистое веселье. По первому взгляду на деревню, в которую вошел Владимир, можно было сейчас узнать, что ее обита-

тели русские. Ее образовали вдоль узкой улицы два ряда высоких изб, расположенных уступами так тесно, что казались они взгроможденными одна на другую. Все они были с одним красным окном и двумя волоковыми, с трубами и высокими *коньками*, на которых или веялись флаги, или вертелись суда и круги, искусно вырезанные. Ворота, убитые крупными жестяными гвоздями, прикрывались длинным навесом, под которым вделан был медный *осьмиконечный* крест[57]. Наружность домов содержалась в необыкновенной чистоте; особенно вокруг окон бревна были не только вымыты, но и поскоблены. Тишина, царствовавшая в селении, не удивила бы Владимира, знавшего, что в жилищах раскольников наблюдается всегда строгое благочиние, если бы эта тишина не походила на какую-то мертвенность. Никого не было видно на улице и в огородах. У двух-трех домовбрякнул он по нескольку раз с расстановкою большим железным кольцом о бляху такого же металла; несколько раз постучался довольно крепко у окон палочкою и прочитал жалостным голосом моление:

– Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

Хоть бы голос женщины откликнулся ему! Где могли быть жители Носа в гулевую пору, в обеденные часы?

Не мало удивился он, когда ворота у одного дома без труда отворились, лишь только он осмелился приподнять щеколду и толкнуть слегка полотно их. На дворе тощий скот пожирал навоз; собака, такая худая, что лопатки ее выставлялись острыми углами и можно было перечесть все ее ребра, шатаясь, выползла из конуры и встретила пришельца сиповатым, болезненным лаем. В сенях никого, в избе – тож. Посуда, обыкновенно содержащая у раскольников в большой чистоте, была разбросана в беспорядке по столу и залавкам. Печь, в изразцах которой наверхено было множество дыр, чтобы, во время молитв, благодать удобнее проходила в горшки и очищала кушанье, покупаемое на торгах, была не топлена. Иконы в избе ни одной. Без труда вошел Владимир на соседний двор: в нем также пустота; в третьем, в четвертом тоже. Далее нашел он умирающего младенца.

– Счастлив, что кончаешь жизнь, не понимая ее! – сказал Владимир и отвернулся от раннего страдальца.

Наконец у *звонницы*[58] представилось ему что-то похожее на живое существо. Это была молодая женщина, лежавшая на голой, сырой земле и почти недвижимая. С трудом могла она, однако ж, объяснить нашему страннику, что она дочь тутошнего *установщика*[59], удостоена была в *грамотницы*[60], заменяла нередко *батюку* (отца духовного) в часовенном служении; но что с недавнего времени лукавый попутал ее: полюбила молодого, пригожего *псалмопевца* и *четца*. Это бы еще не беда. Грех этот можно б искупить несколькими *стачами начал*[61]; но вот что ее погубило. Отец ее любезного, побывав в другом *согласии*, вывез оттуда ересь и смутил ею некоторых из жителей деревни Носа, а именно: он стал принимать от *феодосеян* титулу, *Пилатом* [62] на кресте написанную: *ІС Назарянин, царь иудейский*. *Носовцы* же (поморского согласия) писали титулу: *царь славы, ІС сын Божий*, и потому, предав *анафеме новщиков*[63], выгнали их из деревни. *Псалмопевец*, прежде вечной

разлуки с любезною грамотницею, захотел с ней проститься. Роковое свидание назначено в ближнем бору. Сердце у раскольницы такое же мягкое, как и у женщин мирских: она исполнила волю милого. *Надсмотрщица*[64] подглядела за ними и поспешила избавить несчастную из сатанинских когтей федосеевщика, рассказав обо всем отцу ее. Озлобленный родитель сам, своими руками выдал ее *согласию*. Тысячи земных поклонов, ужасный пост, побои, истязания разного рода освободили грешную от мучений ада. Ноги у ней были отбиты; одною рукой она не владела; земля подернула губы ее.

– Теперь, – прибавила она, – очищенная, жду Страшного суда.

– Где ж православные? – спросил Владимир.

– В бору, – отвечала *грамотница*. – Поспешай и ты туда ж, чтобы страшный час не застал тебя в суете.

Не понимал Владимир, о каком часе говорила несчастная. Он сделал ей несколько вопросов, но, ослабевшая от усилий, которые употребила, чтобы рассказать о своей судьбе,

она могла только указать на бор, видимый из деревни, и погрузилась в моление.

«Пойду искать следов жизни, более здоровой и сильной, – думал Владимир, обратившись, куда ему указано было, – авось заражу ее моими страданиями или потешусь над глупым человечеством».

Еще издали представилось ему странное зрелище. Поприща[65] за два от деревни, в мелкорослом, тщедушном бору, на песчаных буграх, то смело вдающихся языком в воды Чудского озера, то уступающих этим водам и образующих для них залив, а для рыбачьих лодок безопасную пристань, стояло сотни две гробов, новеньких, только что из-под топора. Несмотря на отвращение, какое человек чувствует к трупам себе подобных, особенно чужих людей, Владимир решился подойти к этому погосту.

«Какая язва, – думал он, – уклала в домовища всех здешних жителей? Смерть, когда она не послана гневом Божиим, утомилась бы в год засеять такое поле; а ныне, видно, наполнила она их так скоро, как проворный жнец укладывает снопами свою полосу, как ловкий

пес загоняет стадо в овчарню. Однако почему гробы не опущены в могилы? Исчезнувший с земли должен и истлеть в ней, чтобы не оставить от себя ничего, кроме имени человека. Кто ж и когда успел построить эти домовища? Поэтому жители Носа заранее готовились умереть. Не перешли ли они в морельщички и, может быть, желая приобрести мученический венец, сами себя умертвили?» Размышления эти были прерваны ужасным воем, плачем и визгом, поднявшимися вдруг из гробов, как скоро Владимир подошел к ним.

– Грядет, грядет! – вопило множество.

– Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! – раздалось вокруг него на разные жалобные голоса. Иные читали сами себе отходную; другие молили о помиловании; некоторые, закрыв глаза, скрежетали от страха зубами. Сначала испугался и сам Владимир, обхваченный таким хором; но, взглядевшись пристально в фигуры, уложенные, как мумии, в ящики, из которых большая часть была не закрыта, он едва не захохотал, несмотря на состояние, в котором находился. В домовищах лежали жители Носа, разного пола и воз-

раста, окутанные в саваны и спеленутые – молодые розовыми покрывками, а старшие голубыми, так что из перевязки составлялись три креста: один на коленях, другой на брюхе, а третий на груди. Бумажный блестящий венец, с осьмиконечными крестами, обвивал их чело; в головах стояли медные литые образа. У некоторых женщин покоились младенцы на груди, у других с криком вырывались. Дети требовали хлеба, обступая отцов и матерей, которые с жестокостью их отталкивали. Владимир понял тотчас, в чем состояло дело; с важностью обошел вокруг живописного кладбища, стал потом на середине и воскликнул громовым голосом:

– Почто вы здесь?

На это воззвание закричали многие:

– Это антихрист: он смущает нас. Укрепитесь, о братия, в страшный час молитвою.

Владимир поднял вверх правую руку, из которой составил двуперстное крестное знамение, и опять воскликнул:

– От имени Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа вопрошаю вас: почто вы здесь?

– Яков Ковач! – сказал тут один с выпятив-

шимся из гроба брюхом, дрожа от холода, а может быть, и проголодавшийся. – Он речет именем Господа.

– Воистину так! – отвечал тот, к кому обращена была речь.

– Поведаем ему, почто мы здесь вкупе.

– Пора бы, – примолвил третий, выпутываясь из пелен и потихоньку выползая из гроба, – пора бы уж давно, по вычислению уставщика Антипа, совершиться пророчеству.

– Посмотрим, так ли солнце течет? Нет ли замешательства в мере часов? – присоединил свой голос четвертый, следуя примеру своих братьев и посматривая на небо, на котором в это время из-за свинцовых туч проглянуло солнышко.

– Кажись, все по-старому. Антипка обморочил нас! – закричало несколько голосов.

– Подавайте Антипку! побьемте его камнями. Бросимте его в воду! – вопили многие.

Среди этого смятения выпрыгнул из гроба один высокий мужик, разорвал на себе смертные оковы, побежал в противную от селения сторону, и, пока разоблачались братья его, спеленутые, подобно куклам, он успел

скрыться из виду.

– Еретик! лжеучитель! – вскричали многие вслед ему. – Не хотел искупить своего прегрешения мученической смертью. Достоин есть отлучения от церкви и общежительства!

– Почто смущаетесь, братия мои о Господе? – сказал Владимир, приняв на себя постный вид. – Я странствовал много по святым местам, иду теперь от Гроба Господня к соловецким чудотворцам и несу вам, по пути, оружия, каковыми подобает подвизаться против сатаны, дышащего зельною яростию на христоименитое достояние.

Слова эти, как талисман, подействовали над живыми мертвецами. Толпы собрались около благовестителя. (Надобно здесь заметить, что раскольники имеют слепую веру к пришельцам греко-российского исповедания из дальних стран и потому часто бывают обмануты бродягами.) Иные, не успев еще разрешить ноги свои от смертных уз, но желая скорее поклониться святому мужу (которого за несколько минут готовы были побить камнями, как Антипа), бросались вперед, запутывались в саванах, падали друг на друга и

возились по земле. Другие едва переступали с ноги на ногу, имея руки связанные, и представляли таким образом движущиеся чурбаны. Некоторые, крепче прочих стянутые, лежали в ящиках своих, будто чающие движения воды, и жалостно молили о помощи. Прибавьте к этому очерку бороды разного покроя и цвета, высунувшиеся из пелен; бумажные пестрые венцы, украшавшие маститые лбы; отрывки саванов, которые тащились по пятнам и на которые наступали ревностные братья, – и можете закончить смешную картину восстания носовцев из мертвых. Заметно было, однако ж, что человека два-три вовсе не показывали знаков жизни и, вероятно, от холода, голода и страха упокоились на вечные времена. Обступившие Владимира носовцы рассказали ему наконец, что за несколько дней прошел чрез их общежительство киновиарх Выговского скита и чинов начальник поморян Андрей Дионисиев. Он поведал им, что антихрист народился уже тридцать лет, три месяца и три дня и что Иисус Христос придет вскоре на облаках судить живых и мертвых.

– Мы просили уставщика Антипа, – прибавляли рассказчики, – вычислить нам, в кой именно час подобает быти Страшному суду. Притаился было вначале собачий сын, будто боится нас перепугать, и ну отговариваться, а мы плотнее к нему: скажи-де нам, не моги утаить, всю правду-истину. Взятся еще раз вор Антипка за книги; три дня, три ночи рылся в них, отыскал якобы ключ к тайнствам и поведал нам в третий день, что ныне-де, в пятницу, в полудни, неминуемо быти пришествию господню. Побросали мы все житейское, поделали гробы и легли в них вчера, изготовясь молитвою и постом к страшному часу. Но знать...

– Обманул вас, о братия, Андрей Дионисиев из собственной корысти, – перебил Владимир. – Обманул вас и уставщик, подкупленный им. Разойдется по христианству поморскому сеть, в кою вы попали, и лукавый возвеселится.

– Ах! он такой-сякой! – вскричала толпа. – Приди-ка он к нам!..

– Вонмите мне, – перебил опять Владимир, возвысив голос, – вы все, кои здесь предстои-

те и коих имена вписаны в книзе животней! Афонский монах, сто лет находящийся при Гробе Господнем, прислал вам со мною мир от Бога и свое благословение. В беседе о временах и летах он поведал мне, опираясь на сию трость... – При этом слове слушатели бросились на посох, который держал Владимир, и в один миг с жадностью разделили его по себе на мелкие части. Владимир не смутился и продолжал: – Святой отец поведал мне, что антихрист уже шестьдесят лет родился.

– Смотри-ка, – кричали многие, – скрадено три десятка годов. Три десятка! легко молвить! Ну, счастлив, что подобру-поздорову уплелся, а то бы похлебал свежей ущицы!

– Святой отец поведал еще, что искуситель примет на себя образ киновиарха, что смуты его только в нынешних летех зачались, а Страшный суд настанет не прежде сорока девяти лет, по вычислению на семи седмицах.

Многое еще толковал им Владимир об антихристе, в которого ересиарх Денисов мог бы смотреться, как в зеркало. Слушали проповедника жители Носа, разинув рты, благодарили его за добрую весть, упрашивали его к себе в

уставщики и обещали со временем произвести в чинов начальники. Чувство мести заставило его согласиться на предложение раскольников.

Почившие вечным сном и, следственно, кончившие свою роль на этой сцене человеческих заблуждений преданы, по обычаю, при всей братии, достойному погребению; после чего гробы живых брошены в озеро. Флотилия эта, оттолкнутая от берегов благоприятным ветром, поплыла по необозримым водам и вскоре исчезла из виду. Владимир был отнесен в мирской дом, торжественно сопровождаемый многочисленным народом, с пением:

«Вечере водворится плач и завтра радость».

«Смотря теперь на мое торжество, – думал он, – кто не сказал бы, как легко управлять народом суеверным и невежественным! Но что скажет тот, кто видел бегство уставщика Антипа?»

Можно было заранее предвидеть, что Владимир недолго погостит у носовцев. Причину этого можно угадать. Пылкая душа его не тер-

пела принуждения. Созданная непокорною, вольнолюбивою, умевшая, как мы имели случай высмотреть, с помощью Бира порвать на себе свивальники невежества, она не могла подчинить себя стесненной жизни раскольников. И как иначе? У них любовь к Богу, исчисленная на лестовках и земных поклонах; вера, заключенная в двухперстном знаменнии, в осьмиконечном кресте, в поклонении старым иконам; добродетель в ужасном посте, в ожесточении против всякой новизны, как бы она ни была полезна, в унижительном презрении к ближнему, не согласному с их мнениями, – вот дух и учение, которым водились общества раскольников! Такие правила не могли не возмутить души Владимира. Он устыдился своего притворства и, обозначив себя перед носовцами, успел заслужить их неудовольствие. Часто не выполнял он *начал*, был рассеян в моленной, забывал во время каждения ладаном вынимать из пазухи крест и подносить его с поклоном к кадильнице или читать молитву над сосудом с пищею, чтобы нечистый в него не наплевал. За такое нарушение правил своего требника носовцы сна-

чала косились на него, потом выговаривали, что он *суется*, и, когда он им объявил, что отправляется к соловецким чудотворцам для выполнения данного обета, очень довольны были, что без дальних хлопот могут от него освободиться. Гнать его не смели, потому что он умел приобрести над ними некоторую власть своим красноречием, привлекавшим к нему слушателей даже из дальних мест, и особенно потому, что денежными вкладами способствовал к выстроению часовни и столовой. Со стороны ж Владимира цель его была достигнута. Не довольства жизни пришел он искать у раскольников, а только мести. Месть его на берегах Чудского озера выполнена. Он успел не только носовцев, но и соседние деревни возбудить против учения и владычества Андрея Денисова до такого ожесточения, что в один день деревни эти, выбрав от себя представителей, послали их в Нос и на общем сходбище положили: «С заонеги разделение иметь; с ними ни есть, ни пить, ни на молебнии стоять; поморских учителей не слушать». К этому разделению много способствовала весть, что с Денисовым ходит жид под личи-

ною чернеца поморского, обращающий православных в жидовскую веру.

Итак, Владимир, сделав свое дело между чудскими раскольниками, расстался с ними. Вся зима проведена им в странствиях по следам ересиарха, мнимым или настоящим, смотря по известиям, какие получались. Чем далее пробирался он к северу, тем более находил ожесточенного суеверия. В одном месте *запациванцы*, утомленные поклонами, которых клали в день по триста земных и семьсот поясных, изнуренные сорокадневным постом в запертом сарае, умирали с голоду или пожирали друг друга. В ином месте закупывали десятками *перекрещенцев*[66] разного возраста и пола. Это называлось обновление водою. Обновление огнем было не менее ужасно[67]. Желая очиститься от грехов и стяжать мученический венец, они толпою входили в одну избу, обкладывали ее хворостом, который зажигали со всех сторон, и таким образом погибали в пламени, воспевая каноны и расточая проклятия на никонианцев.

Зима по последнему санному пути убралась восвояси. Без нее то-то пир начался у

природы! Песни жаворонка, шум выпущенных из плена вод, зеленые ковры, разостланные на проталинах, все заговорило о весне. Владимир по-прежнему был пасмурен и в прежнем ожесточении шел на север, чтобы найти своего гонителя. За Ямбургом встретили его слухи, что русские уже прошедшею осенью появились у Ладожского озера, осадили и взяли Орешек (Шлиссельбург), что в Корелах *олонецкий поп* (Иван Окулов) с охотниками разбил шведов, что царь своею могучею волею целиком проложил себе дорогу чрез леса, болота и воды от Ледовитого моря до Финского. В проезд Петра мимо Повенца пустынножители Выговского скита изготовили было в часовнях бочки со смолою, решась пострадать за свою веру, а другие разбежались по лесам и болотам. Царь успокоил их словами: «Пускай живут!», а когда они собрались на прежнее житье, послал их в заводы работать. Наконец Владимир услышал, что государь обглядывает берега Финского залива.

– Где только зверь ходит и рыба плавает, там идут у него войска, – говорили вестовщики, – леса режет, как траву косец, переносится

через трясины, будто на ковре-самолете, а коли воды сердитых озер заблажат, сечет их немилосердо – и затихают!

При таких речах Владимир задумывался; грудь его сильно волновалась; тяжело вздыхал он. Мысль, что он еще не испытал одного, последнего, средства для свидания с милым, незабвенным отечеством, цели всех его желаний, бродила в его голове. Сердцу его отозвались слова Паткуля: «Прямо к нему, без посредников, кроме твоих заслуг и его великодушия!»

– Прямо к нему! – твердил он, как человек, которому указали следы к отысканию драгоценной для него потери.

Душа его снова вспыхнула любовью к родине и надеждою. Все опять забыто: и угроза ересиарха, и моления Софии, и месть, возобладавшая им так сильно, и казнь, ему назначенная. Он видит только Петра Великого, а за ним золотые главы церквей московских; он стоит у порога знакомого терема...

Глава вторая

Встреча

*К демону обеты!
Во глубь геенны совесть, добродетель!
Будь воля неба! мести я хочу,
Кровавой мести!*
«Гамлет», перевод М. В.

Первое мая 1703 года подарило Петра первую морскую пристань на Балтийском море, а русских – открытым листом в Европу: крепостца Ниеншанц, с гаванью на берегу Невы, в нескольких верстах от устья этой реки (там, где ныне Большая и Малая Охта), сдалась, после пятидневной осады, капитану от бомбардир *Петру Михайлову* (в этом звании находился тогда государь).

Немногими днями позже, утром, Владимир, пройдя *Саарамойзу*[68], к удивлению его, не опустошенную, остановился на высоте, ближайшей к Неве, где сходились дороги из Ямбурга и Новгорода, недавно проложенные. Перед ним на великом пространстве расстилось болото – мшистое ложе, с которого

некогда сбежало море! Мрачная зелень сосновых лесов, изредка перемежаемая серебристым березняком, волновалась по тощей равнине этой, отделяла черной каймой ижорский берег от голубых вод Невы и моря и обрисовывала купу островов и суровый берег карельский. Нева одна роскошничала жизнью в этой мертвой пустыне. Обнимая острова *Койво-сари*[69], *Кирфви-сари*[70], *Луст-Эланд*[71] и многие другие, она то пряталась за ними, то выставлялась из-за них разбитым куском зеркала, то блистала в широкой раме берегов своих. Множество речек продиралось сквозь мхи болот и спешило в Неву, чтобы вместе с нею убежать в раздолье моря. Кое-где по островам выглядывали рыбацьи хижины. Вдали, перед устьем реки, поднимались из моря темные глыбы, обвитые утренними туманами. Волны Бельта сердито бежали на них, как бы желая стереть их с его лица. Неволя или расчеты одни могли загнать человека в эти места: так непривлекательны они казались!

От подошвы горы, на которой остановился Владимир, шла торная дорога в Ниеншанц:

множество троп, разыгрывавшихся влево и вправо, вело через болота и леса к берегу моря и Невы. Подумав несколько, по которой ему идти, он назначил себе тропу, поворачивавшую тотчас с битой дороги влево.

Лишь только спустился он с горы и, взяв несколько вбок от нее по большой дороге, готовился повернуть на тропу, как послышал за собою колокольчик. С трепетом сердечным оборотился он и увидел красивую колымагу, запряженную в русскую упряжь тремя бойкими лошадьми; за колымагою тянулось несколько кибиток. Сидевшие в них, судя по одежде, были русские и, вероятно, составляли поезд знатного боярина. Передний ямщик так искусно владел лошадьми, что, спуская повозку с горы, одним магическим словом, для которого русский язык не имеет знаков, останавливал лошадей на самых крутизнах. Когда он подъехал ближе к Владимиру, можно было различить в нем красивого, статного малого. Румянец здоровья вспрыснул его щеки; в карих глазах, обведенных черными дугами бровей, заметен был ум и беззаботное довольство; движения его были размашисты. Он

был обстрижен гладко в кружок, на голове была надета набекрень поярковая шляпа с павлиным пером, воткнутым за черную бархатную ленту. Солнышко играло на золотом галуне его кумачной рубашки; за пестрым кушаком, туго опоясывавшим его стан, заткнуты были черные рукавицы и коротенький кнутик. Пристяжные завивались и с нетерпением грызли землю; коренная спалзывала на задних ногах и, досадуя, что ей не давали воли, потряхивала головой из-под огромной дуги, с азиатским вкусом раскрашенной яркими цветами. Выехав на большую дорогу, молодой ямщик приподнял шляпу с павлиным пером, стряхнул на себе волосы, надел шляпу на один бок, приложил к уху правую руку, и голос его залился унылою песнею:

*Ты дуброва моя, дубровушка,
Ты дубровушка моя зеленая,
Ты к чему рано зашумела?*

Песня его по временам прерывалась обращением к лошадям и народными поговорками. Колокольчик, дар Валдая, бил меру за унывным звоном.

В колымаге сидела женщина. Оттого ли, что она плакала или старалась не быть признанною, полная белая ручка ее прижимала платок к глазам. Владимир едва заметил ее, когда повозка начала с ним равняться; он был весь погружен в слух, он боялся проронить один родной звук.

– Вольдемар! – закричал женский приятный голос. Он восторженно, хотел заглянуть в повозку, но удамый ямщик махнул рукой, гаркнул:

– По всем по трем, коренной не тронь! ба-
тющки, родимые, вырвались!..

Кони помчали, зарыбили круги колес, и скоро колымага исчезла из виду изумленного Владимира, не имевшего времени разглядеть, кто сидел в ней. «Голос знакомый», – думал он, но чей – не мог себе объяснить. Спросить было некого; задние повозки полетели вслед за переднею. Ломая себе голову над этой загадкой и, между тем, утешенный отечественными звуками, он повернул на тропу, им избранную.

«Может быть, – думал он, – встреча эта последний мне привет отечества, последняя моя

радость на земле!»

Чем ближе подходил он к Неве, тем страшнее казался ему подвиг, на который он решался; чем сильнее было впечатление, произведенное над ним встречею с русским, не потерявшим своей чистой коренной народности, тем более ужасала его мысль, что он скоро, может быть, навсегда расстанется, вместе с жизнью, с тем, что ему дороже жизни. Тоска неизвестности надломилась сердце его надвое. Не чувствуя усталости, он, однако ж, несколько раз принимался отдыхать по дороге. Между тем к вечеру он уже был на ижорском берегу Невы, у опушки густого леса, омываемого ее водами, против острова Луст-Эланда.

Робко осмотрелся он сквозь деревья по сторонам; никого не видеть и не слышать! Одни воды шумно неслись в море. На взморье стояла эскадра, как стая лебедей, упираясь грудью против ярости волн. За ближайшим к морю углом другого острова (названного впоследствии Васильевским) два судна прибоченились к сосновому лесу, его покрывавшему; флаг на них был шведский. Временем с судов этих палили по два раза; тем же сигналом от-

вечали из Ниеншанца.

«Следственно, – полагал Владимир, – устье Невы и крепостца заняты шведами. Ужели царь, никогда не начинавший того, чего не мог исполнить, снял осаду?..»

Не зная, что придумать, наш странник решился переночевать на твердой земле, а между тем, до заката солнца, приискать себе челнок или старый пень дерева, на котором мог бы утром переправиться на *Койво-сари* к чухонским рыбакам, чтобы проведать у них о том, что происходило в окрестности. Для исполнения своего намерения пошел он вдоль берега.

Вечер становился пасмурен. Тучи вились и развивались черными клубами; наконец они слились в темную массу, оболочившую небо, начали спускаться на землю грядками – и воды Невы отразили их, превратясь в мутный поток. Вскоре послышался и дождик: то капал он по листьям мелкою дробью, то лил ведром, шумя тревогою бунтующего народа. Владимир хотел было от непогоды приютиться в лесу, но, увидев не в дальнем от себя расстоянии челнок, погрязший в тине, решился под-

вергнуться еще неприятностям дождя, чтобы завоевать челн и тем обеспечить себе переезд на *Койво-сари*. Немного труда стоило ему вытащить свою добычу из тины. Но как дождь усиливался, то он собирался было, пообчистив челнок, положить его вверх дном на куст, который, несколько нагнувшись от этой тяжести, образовал бы таким образом кровля нашего странника; но вдруг остановлен был прикриком на него:

– Не тронь, окаянный!

Он оглянулся, и что ж – за ним, с поднятым на него веслом, чернец Авраам, спутник и переводчик Андрея Денисова.

То была судьба Владимирова!..

Они узнали друг друга, хотя мало видались.

Владимир забыл свои надежды, родину, все на свете; он весь не свой! Ужасным, испуганным взором окинул он чернеца. Взора этого не мог выдержать Авраам, задрожал, преклонил весло в знак покорности и опустил в землю свои глаза. Но для ученика Вельзевулова довольно одной минуты, чтобы обдумать все, что ему надо делать и говорить.

– А!.. видно, рок ищет моей и вашей головы! – вскричал Владимир. – Где твой?..

Он не договорил; месть захватила ему дыхание.

Чернец скоро оправился, принял на себя вид доброжелательства, сделал Владимиру знак рукою, чтобы он молчал, и, возведя глаза к небу, сказал потихоньку:

– Благодарение Господу Богу, что Он послал меня к тебе! Помнишь ли ночь в доме лесника?

– Да, помню слишком хорошо!.. Что ж тебе из этого, еврей поганый?

– А вот что, цестный боярин! я хоцу спасти тебя от конечной гибели.

– Хороши спасители, с петлей в руках!.. Послушаем, однако ж!

– Станем мы под это деревцо; здесь доздицек не так моцит. Вот этак, хорошо. Все, все тебе рассказу до подноготной; только прощу ради Создателя, потише, а то разбудишь пса нецистаго (цтоб его бесы сзарили на сковороде)!

– Ну, слушаем, ваше преподобие!

– Изволь припомнить себе крупные сло-

вещки, которые говорил тебе в доме лесника седой плут. Я подслушал все тогда сквозь стенку: что делать? таков наш обычай! По цести, хотелось мне тогда шепнуть тебе, чтоб ты пришиб ему язык однажды на веки веков, аминь! но Бог Иакова и Авраама свидетель, что мне не было никакого на то способа. Как скоро ты ушел, наш седой плут давай проклинать тебя. О! лихо тебе будет, сказал я ему, что ты обизаешь этого праведника.

– Некогда мне слушать твоих канонов... Чу! как гудит небо!.. Знаешь ли, чего оно просит?..

– Сейчас, сейчас! «не посмотрю я», кричал разбойник, «что он сын князя Василия...»

– А, этим хоть легче!.. Бездельник, как он обманывал меня!.. Что ж далее?

– «Не посмотрю», кричал он, «что он сын»... ну, право, цестный господин, язык не поворачивается про такую высокую особу...

– Ни полслова более!.. Так, я понял твою тайну, воспитатель мой! Понял я твое молчание, благородный Паткуль!.. Вижу, не мои проступки, а преступления моей именитой матери лежат между мною и отечеством.

– Это еще не все. На беду твою, в ту же ночь наткнулись на нас два солдата. Проклятый Андрей назвался боярином, посланным из Москвы от царской Думы для поимки беглого стрельца, злодея, подкупленного будто бы царевною Софиею Алексеевною, чтобы убить дерзавного, великого государя нашего. Андрюшка сказал им, что он уже не в силах тащить ноги свои и просит добрых солдатушек сослужить царю службу, отдать Шереметеву письмецо от него, посланника ясновельможной Думы. Солдаты вызвались вручить письмо прямо в руки фельдмаршала, и – как думать надо – они это верно исполнили. Мы в скором времени узнали через шпионов наших в русской армии, что под Мариенбургом какого-то важного пленника схватили и увезли, куда ворон костей не заносит. «Это он! – сказал, смеясь, сын Люциферов. – Наша взяла!» Вот отслужил он за упокой твоей души панихиду и весело побрел с нами в скит свой; но душа его недолго была на пирушке; за Цудью узнал он, что в деревне Носе появился странник, который питает проповедь, будто он, Андрей Денисов, лзеуцитель, обманщик,

сам антихрист. Этот странник, рассказывали нам, обратил всех на свою сторону, ввел многие новизны в расколе, так что и царя Петра Алексеевича стали поминать на молении, и успел совершенно отделить от заонежского притона все *согласия*, посевшие около Цудского озера. «Это он опять! – вскричал, трясясь от злости, Андрюшка. – Дает мне работу, видно же последнюю!..»

– Так, последнюю!.. отгадал!.. Потом очередь придет наша!

– «Кто кого перемозет!» – прибавил он и потащил нас за собою на восток к Новгороду. Там посыпал он деньги по властям, объявил наместнику слово и дело и показал ему какие-то письма Софии Алексеевны. «Не детей мне с нею крестить! Довольно, что и одного вынянчили цертенка!» – говорил он. Вот поскакали гонцы к царю в Архангельск, и вот полуцен указ царского величества отыскать твою милость хоть под землею и казнить без оправданий. Видишь, боярин, к чему они тебя ведут: о вей! о вей! – прямо под топор. Седого плута за этот донос похвалили, брата его и многих раскольников, содерзавшихся в нов-

городской тюрьме, выпустили на волю и обещали милости Выговскому скиту. Теперь безим мы без оглядки восвояси на покой.

– И все правда? – спросил Владимир, трясясь от гнева.

– Не веришь, взгляни на *противень*[72] с указа, который я имел благополучие списать слово в слово.

Тут с подобострастием вынул Авраам бумагу из пазухи и подал двумя пальчиками Владимиру. Действительно, в списке с указа сказано было, между прочим, что воспитанник и любимец царевны Софии Алексеевны, по имени *Володька*, по прозванию Последний Новик (приметами такой-то и такой-то), во время одного из стрельецких бунтов вкрался между прислуги в Троицкий монастырь, где царский дом нашел тогда убежище от разъяренных стрельцов. Сей-то Новик умышлял на жизнь царевича Петра Алексеевича в соборе Святой Троицы, у самого алтаря; но что изволением Господним и покровительством святого Сергия-чудотворца напущен необычайный страх на убийцу и царевич спасен. Злодей вместе с другими стрельцами осужден

был к смертной казни посажением на кол и отсечением головы; но ухищренными стараниями Софии Алексеевны выпущен из-под стражи; вместо ж его безвинно казнен другой.

– Святой мученик! – горестно воскликнул Владимир при чтении этого места. – Кровь твоя на мне и злодеях, проливших ее!..

Конец бумаги заключал в себе объявление, что Последний Новик бежал и с того времени скитался по разным землям, ныне же оказался в Чуди у раскольников, похваляется быть сыном царевны Софии Алексеевны и возжигает против законной власти новые мятежи народные. В указе назначалась большая награда тому, кто поймает его и представит первому местному начальству, которое обязано было, сличив пойманного с означенными приметами, немедленно казнить отсечением головы.

Бумага произвела свое действие; яд мщения разлился по всему составу Последнего Новика (так будем звать Владимира, в котором узнали мы это несчастное, гонимое судьбою существо). Рассудок его помрачился; всякое

чувство добра заглушено в его душе. От пят до конца волос он весь – мщение; он ничего не видит, кроме своего гонителя.

– Где он?.. – спрашивает иступленный чернец.

Авраам, молча, берет его за руку, ведет в чащу леса, останавливается, указывает на огненное пятно, видимое вдали в лесу ж, и, пользуясь безумным положением, в которое ввергнул несчастного, скрывается за деревьями.

Последний Новик не спрашивает о числе спутников и защитников Андрея Денисова, не крадется; он идет прямо на огонь; шаги его – как стопы медведя, когда он, разъяренный, бежит на свою добычу.

Андрей Денисов был один. Служители его, находившиеся с ним из числа чудских раскольников, давно возвратились в свои *согласия*. Последний товарищ, при нем оставшийся, *жидовин* Авраам, ожидал только удобнейшего случая ограбить его и бежать под Тулу, где возвращен был неким *Селезевым* раскол, основанный на чистом законе Моисеевом. В пустынных лесах невских назначил Авраам

исполнить свои злодейские замыслы.

Старик сидел под деревом, которого густые ветви, сплетшись дружно с ветвями соседних деревьев, образовали кров, надежный от дождя. Против него был разложен огонь; груда сучьев лежала в стороне. Ересиарх дремал, и в самой дремоте лицо его подергивало, редкая борода ходила из стороны в сторону. Услышав необыкновенный треск сучьев, он встрепенулся. Перед ним лицом к лицу Последний Новик, грозный, страшный, как смертный час злодея.

– Узнал ли ты меня? – вскричал Владимир ужасным голосом, смотря на него исступленными глазами. В этом голосе, в этих глазах Андрей прочел свой приговор. Дрожа, запинаясь, смиренно отвечал он:

– Узнал!

– Ты ли звал меня к себе?

– Да... я звал... во время...

– В свое время я пришел! Был и на твоей улице праздник, названный отец! Теперь пора на другой пир...

Владимир вынул топор из-за пояса.

Холодный пот закапал со лба старика.

– Подумай! – простонал он и бросился на колена перед ужасным судьей своим.

– Поздно!.. Ты отнял у меня все... все, что только для меня дорого было в жизни, что я доставал тринадцатью годами унижения и кровавых трудов... все!.. Расплачивайся! Час настал!

Старик бормотал молитву.

– Не дам тебе и помолиться... Пускай в ад напутствует тебя хохот сатаны! Слышишь?.. – вскричал ужасный судья.

Блеснул топор... и убийство совершено.

Дождь лил ливмья; погода бушевала.

– Бушуй! шуми!.. Любо ли тебе?.. Ты этого хотело!.. – кричал Владимир, глядя в испуплении на небо.

Земля горела под ним; огненные пятна запрыгали в его глазах. Когда дождь хлестал по лицу, ему казалось, что сатана бросал в него пригорщины крови. Шатаясь, побрел он, сам не зная куда. Образ на груди давил его; он его сорвал и бросил в кусты.

Во время ужасного разговора убийцы и жертвы Авраам стоял за кустами. Когда ж совершилось злодеяние и Последний Новик

скрылся, чернец вышел из своей засады и подкрался к убитому, истекавшему кровью из плеча, в котором сделана была глубокая рана. Скорою, усердною помощью можно было бы еще возвратить его к жизни.

– А! старый пес подурачился довольно на своем веку, – сказал чернец, припав к нему, и только что начал обшаривать его, когда услышал глухой стон.

– О! зивуць, как долгоногий паук! – проговорил Авраам и принялся облегчать Андрея от лишней тяжести при переходе из этой жизни в другую, то есть вынул из-за пазухи его порядочную кису, туго набитую деньгами, и обобрал на нем все, что имело дорогую ценность: за тряпьем он не гнался.

Потом?.. потом он хладнокровно положил своего благодетеля на огонь, в который имел догадку набросать порядочный костер сучьев; когда ж увидел, что умирающий дрягает ногами, начал приговаривать, усмехаясь:

– Коси сено! коси сено!.. – подобрал свою рясу выше колен и, обремененный богатою добычею, пустился бежать, куда знал вернее.

Долго бродил Последний Новик по лесу, по

берегу реки и наконец пал в изнеможении сил. Только в глубокую полночь он очнулся, когда не стало на нем сухой нитки. Все члены его окоченели, будто скрученные железными связями; в голове его был хаос, в ушах страшно гудело; ему казалось, что били в набат. Он старался припомнить себе, где он, что с ним сделалось, – и ужасное злодеяние первое пришло ему на память. Он приподнялся и осмотрелся кругом. Перед ним роковой челнок; кто-то стоял в нем... манил его к себе на другую сторону... Шатаясь, пошел он на зов незнакомца; вошел в челнок... в нем никого!.. Волосы встали у него дыбом. Рукою злодейскою не смел он сотворить крестного знамения. Вдруг слышит он плеск весел... плывет множество лодок... поравнялись с ним... остановились... Это уж не видение... Слышны голоса, один внятнее прочих.

– Алексаша! – говорил кто-то. – Разведай, что за человек!

Вслед за этими словами одна лодка отделилась от других и понеслась прямо на челн, в котором стоял Последний Новик. Его окружает толпа людей.

– Что за человек? – спрашивает один из них, по-видимому офицер.

Последний Новик молчит.

– Я из тебя выколочу ответ! – говорит опять прежний голос, и удары сыплются на несчастного.

Молчит тот, кто, за несколько часов назад, свободный от преступления, горько отплатил бы за малейшую обиду!

– Нечего с ним долго толковать! – вскричал опять офицер. – Привяжите его челн к нашей лодке, а его самого хорошенько скрутите и бросьте в его конуру.

Приказание это выполнено немедленно и в точности. Лодка и к ней причаленный челнок отправились и вскоре присоединились к целой флотилии шлюпок, на которых в темноте чернелось множество голов.

Глава третья

Ночная экспедиция

– Ну, Алексаша, ездил ты за *московским тотчасом*? – нетерпеливо сказал сидевший у кормила передовой лодки.

Офицер, привезший Последнего Новика,

вошел в эту лодку и объяснил говорившему с ним капитану (ибо он его так называл), что нашел какого-то подозрительного человека, который, сколько мог различить в темноте, должен быть раскольник, и что он, для всякой предосторожности, почел нужным связать его и привезти с собою.

– Доброе дело! – сказал капитан. – Причальте его челн к нашей шлюпке, и с богом!

Повелительно-грозный голос его раздался по водам, и маленькая флотилия поплыла к устью Невы, держась острова, названного впоследствии Васильевским. Дождь, на несколько минут утихший, опять засеял; темнота была необыкновенная.

– *Аще Бог с нами, никто на ны!* – сказал капитан с благоговением. – Дождь всегда к благополучию, а нашей экспедиции темнота и подавно благоприятствует.

Солдаты скинули шляпы и перекрестились. С двух шведских судов, стоявших на устье Невы, послышался лозунг двумя выстрелами из пушек; через несколько минут отозвались два удара со стороны Ниеншанца.

– *Сия игрушка их не минет!* – воскликнул

капитан с удовольствием, которое ясно отзвучивалось в голосе. – Mein Herr Leutenant[73], – сказал он, немного погодя, обратясь к офицеру, подле него стоявшему, – кажись, к делу подцепили мы раскольника. Немудрено, что он стоял караульщиком от шведов. Этот род, закоснелый в невежестве, не желает нам добра: я уверен, что они мои начинания задержать весьма стараются, не говорю уже о том, что они меня персонально не жалуют.

– Да, великий государь! Они царей и на молении не поминают, – отвечал на немецком лейтенант, по-видимому хитрый придворный.

В капитане, сидевшем у руля, мы сейчас имели случай узнать самого Петра I; в лейтенанте, по отчеству его и дружбе, оказываемой ему монархом, узнаем Меншикова. Кстати заметим, что разговор их продолжался, смотря по предметам его, то на немецком, то на русском.

– Ты забыл уговор, Данилыч! пожалуй, без великого! – сказал Петр. – Народу и потомству, а не персоне дозволено так чествовать государей. *Может статься, некогда и наше имя вос-*

кресит славу свою, но теперь, веруй, не довольно к тому наших дел; все еще початки!

– Государь! – продолжал лейтенант. – Настоящая война вводит уже тебя в храм бессмертия.

– Нет, мало еще отмстили мы укоризну шведам; больше требует слава, народу нашему славянскому достойная, и обида, нанесенная отечеству отъятием земель. Видишь Лифляндию: это член России отсеченный. Если его не возвратим, так напрасны и початки наши. Только великую надежду имеем на правосудие Божие, которое неоднократно нас викториями благословлять изволило.

– Принося Божия Богови, повелитель русского царства не откажет своим подданным принести цесарю цесарева.

– Что к моему лицу надлежит, я повелитель их, но по моей любви к ним и к отечеству друг их и товарищ во всем. Легко, Данилыч, властителю народа заставить величать себя; придворные и стиходеи чадом похвал и без указу задушить готовы: только делами утешно величие заслужить. Впрочем, не о себе хлопочу, mein Herzenskind[74], а о благопо-

лучии вверенного мне Богом народа.

– Государь! ты для благополучия России ни здоровья, ни живота своего не щадишь, и ныне...

– *Затем и царь я, – перебил Петр, – что должен сам во всех случаях пример являть. Закон я чту наравне с последним из моих подданных; в строю я только солдат фланговой – по мне вся линия выстраивается; в баталии я должен быть наперед. Слышал ты сам, сколько под Нарвою приклад начальствующих беды причинил. Да и ныне еще наши господа надмеру себя берегут и немногим ближе становятся от крепости, как наш обоз; но я намерен сию их Сатурнусову дальность в Меркуриев круг подвинуть[75]. У меня Катенька боится, право, менее иного полковника.*

– Я говорил вам, что твердость ее души равняется с ее красотой. Она, кажется, прибыла ныне в ваш обоз, господин капитан...

– Как похорошела моя голубушка... В конфиденции объявить, без ней весьма скучать ныне начинаю. Да, кстати, Алексаша, я не рассказывал тебе нынешней истории?

– Не удосужился слушать.

– Застал я ее давеча, при разборке ее багажа, в страшном испуге. Спрашиваю, что за притча? Развернула она передо мною узелки свои, показала мне складни, серги дорогие, жемчуг и объявила мне, сердешная, что не знает, как они тут очутились; ибо-де у ней таких вещей от роду не бывало, да и в доме Шереметева и твоём никто ее не даривал ими. Я рассмеялся и сказал ей: *«Не бойся, Катенька! это все твое; Данилыч догадлив...»* А, *min Herz* [76], твое дельце!

– Виноват, государь.

– Из твоей вины можно богатую шубу сшить и спасибо притачать. *На такую потребу, правду молвить, у меня теперь и денег не нашлось бы. Вот как получу по чину капитана от бомбардир и капитана корабельного жалованья из воинской казны, то волен в них ко всякому употреблению, потому что я службою для государства, как и прочие офицеры, те деньги заслужил; а народные деньги оставляются для государственной пользы, и я обязан в них некогда отдать отчет Богу.* Но слово было о Катеньке: что у кого болит, ведаешь, тот о том и говорит. Просит она меня, от-

дыху не дает, разведать от Вадбольского Семена, какого шведского пленного Вольдемара схватил он ни за что ни про что под Мариенбургом и угнал куда-то с татарами. Мне об этом и Борис Петрович не говорил. Пожалуй, узнай повернее и утешь меня и ее весточкой о нем: может статься, и родной ей какой!

– Воля твоя будет выполнена, государь!

Несчастный, лежавший в челноке, тяжело вздохнул.

– Что-то наш пленник стонет... – сказал Петр.

Меншиков стал на колени, нагнулся через край шлюпки и, ощупав Последнего Новика, отвечал:

– Он мокрехонек, как мышь, купавшаяся в воде, и дрожит так, что рука на нем не удержится...

– Теперь он нам не опасен. Развяжи его; да на, возьми, Алексаша, мою епанчу и накрой многострадальца; может статься, он и без вины виноват.

– Государь!.. ты сам... в такой дождь...

– Возьми, говорю! – сказал с твердостью человеколюбивый государь, скинув с себя епан-

чу и подавая ее Меншикову. – Что до нас, мы скоро, с Божьею помощью, обсушимся и отогреемся.

Воля Петра была выполнена: развязали пленника и покрыли его царскою епанчою. Слезы благодарности и вместе горького раскаяния полились из глаз несчастного; слова монарха удерживали в нем последнюю искру жизни, готовую погаснуть...

Лодки плыли самую тихую греблею; несколько раз приказано было им останавливаться. В это время предметы разговора государя с его любимцем беспрестанно менялись. Где не побывал тогда его гений? Куда в это время, между заботами простого семьянина, не заброшены были семена его бессмертных дел, которыми Россия доньше могуща и велика? Под сенью Кавказа сажил он виноград, в степях полуденной России – сосновые и дубовые леса, открывал порт на Бельте, заботился о привозе пива для своего погреба, строил флот, заводил ассамблеи и училища, рубил длинные полы у кафтанов, комплектовал полки, *потому что, как он говорил, при военной школе много учеников умирает, а не доб-*

ро голову чесать, когда зубья выломаны из гребня; шутил, рассказывал о своих любовных похождениях и часто, очень часто упоминал о какой-то таинственной Катеньке; все это говорил Петр под сильным дождем, готовясь на штурм неприятельских кораблей, как будто на пирушку!

– Herr Kapitän![77] – сказал вдруг Меншиков. – Две огненные точки светятся неподалеку от нас; это должны быть фонари на кораблях неприятельских.

В самом деле, сквозь сетку дождя показались два огненные пятна, и вскоре зарыблили две темные массы, из коих одна носом вдвинута была в устье речки, вытекавшей из острова. Петр немедленно приказал всем лодкам, числом до тридцати, построиться на два отделения; одному, под командою Меншикова, пристать у берега острова в лесу с тем, чтобы это отделение, по первому условленному сигналу, напало на ближайшее неприятельское судно; а сам, по обыкновению своему, предоставя себе труднейший подвиг, с остальными лодками отправился далее на взморье в обход неприятеля. Челнок, в кото-

ром находился Последний Новик, отвязан от шлюпки; несчастному брошено весло; но он не воспользовался этим даром, и ладья поплыла по течению реки прямо на взморье.

Пока эти распоряжения приводились в исполнение, тучи разбрелись, и к стороне Ниеншанцев на небосклоне заструилась палевая полоса. С неприятельских судов (из которых одно была четырнадцатипушечная шнява[78] «Астрель», а другое – десятипушечный адмиральский бот «Гедан») заметили русские лодки, с двух сторон по волнам скачущие прямо на них дружно, правильно, как ряды искусной конницы. Тревога на судах: слышны свистки начальников, командные слова, крики матросов; снимаются с якоря, поднимают паруса; эскадре, стоящей близ острова *Рету-сари*[79], дают сигнал, что находятся в опасности. Спросонья и с испуга действия исполняются торопливо. Кажется, самые стихии в заговоре с неприятелем; мокрые ветрила едва шевелятся. Экипаж смотрит на них как на звезду своего спасения; состоя только из семидесяти семи человек, он понимает опасность вступить в бой с многочисленным

неприятелем не на открытом море. Если бы можно было пробраться к эскадре, тогда спасена честь шведского флага и русские осмеяны! Каждый из экипажа хотел бы надуть паруса своими желаниями – криками хотел бы подвинуть суда. Суда трогаются; но уже поздно. Семеновцы и преображенцы, эти *потешники* царя в играх и боях, одушевленные примером своего державного капитана, настигают, обхватывают их, впиваются в бока их крючьями, баграми, бросают на палубу гранаты, меткими выстрелами из мушкетов снимают матросов с борта, решают паруса. Пушки ничего не могут сделать нападающим; ядра летают через головы русских и только тешат их, срезывая или роя волны. Собственные бока судов служат защитой неприятелю. Шнява более всего стеснена русскими лодками; медленно тащит она их за собою, не имея сил оторвать от себя. Так огромный зверь, со всех сторон окруженный маленькими, разъяренными животными и выбившийся из сил, в бегстве влечет их с собою до тех пор, пока сам падет или их утомит. Усиленная ложная атака, сделанная с одной стороны шнявы, отвле-

кает на эту сторону почти весь экипаж; между тем к другому борту прикреплены веревочные лестницы. По ним, как векши, цепляются русские, – и первый на палубе Петр.

– Ура! силен Бог русских! – восклицает царь громовым голосом и навстречу бегущих шведов посылает горящую в его руке гранату. Метко пошла роковая посылка, разодралась на части и каждому, кому дошла, шепнула смертное слово; каждый кровью или жизнью расписался в получении ее. Со всех сторон шведы с бешеным отчаянием заступают места падших; но перед Петром, этим исполином телом и душою, все, что на пути его, ложится в лоск, пораженное им или его окружающими.

Шведы дерутся отчаянно; ни один не прячется в убежища корабля. Палуба – открытое поле сражения; отнято железо – ноготь и зуб служат им орудиями; раненые замирают, вцепившись руками в своих врагов или заплетаясь около ног их.

Эскадра шведская заметила несчастное положение двух судов своих. Уже трепещут в виду крылья ее парусов. Вот друзья, братья го-

товы исторгнуть бедные жертвы из неприятельских рук!.. Надежда берет верх над отчаянием. Но одно мощное движение державного кормчего, взявшегося за руль, несколько распоряжений капитана русского – и шняве нет спасения!

В самую суматоху боя Петр не теряет головы, все наблюдает, везде отдает приказания, убирает сам паруса, отправляет шведского кормчего в море ловить рыб, останавливает на бегу судно, правимое к эскадре, и оборачивает его назад. Он в одно время капитан, матрос и кормчий. Во всех этих маневрах видны необыкновенное присутствие духа, быстрое соображение ума и наука, которой он с таким смирением и страстью посвятил себя в Голландии. Старый моряк не постыдился бы признать его действия своими. Русские солдаты, спущенные в лодки, уводят шняву назад в устье Невы, а шведская эскадра не допущена мелководием. Сам Бог за Петра. Почти весь экипаж шнявы перебит и перерезан; редкий из составляющих его решается купить жизнь ценою плена. Командир шведский тотчас узнал, с кем мерился.

– Петр один мог сделать такое дело! – говорит он и в ответ на мирное предложение от имени царя, схватив переговорщика за грудь, стаскивает его с собою в море.

Лишь только победа очистила русским палубу шнявы, Меншиков прибыл к своему капитану с донесением о взятии адмиральского бота «Гедан». Победа над этим судном легче была куплена.

По сказке пленных, оба судна отправлены были к Ниеншанцам с письмами от начальника шведской эскадры и потому так беспечно остановились у острова, что обмануты были дружескими сигнальными ответами из крепостцы.

– Я сказал, что эта игрушка их не минет! – воскликнул Петр вне себя от радости; благодарил Бога за первую победу русских на Балтийском море, обнимал офицеров, изъявлял свою признательность солдатам, называя их верными товарищами, друзьями.

С того времени, как Последний Новик был освобожден из плена, челнок его несся по произволу речного течения; попав на взморье, встречен противными волнами и нако-

нец прибит ими к корельскому берегу за несколько верст от устья Невы. Там чухонские рыбаки заметили челнок и, осмотрев его, нашли в нем умирающего человека. Они принесли несчастного к себе в хижину; попечения добрых людей и травы колдуна, которого они постарались отыскать в окрестности, привели к жизни того, кто в ней ничего отрадного не имел, для кого она уже была в тягость.

Глава четвертая

При основании города

На что в России ни взгляни, все его началом имеет, и что б впредь ни делалось, от сего источника черпать будут.

Журнал Ив. Ив. Неплюева

Что прошло – невозвратимо.
Жуковский

Что собралось седьмого мая так много народа на острове Луст-Эланд, прежде столь пустом? Бывало, одни чухонские рыбаки кое-

где копышились на берегу его, расстилая свои сети, или разве однажды в год егери графа Оксенштирна, которому этот остров с другими окружными принадлежал, заходили в хижину, единственную на острове, для складки убитых зверей и для отдыха. По зеленым мундирам узнаю в них русских и – гвардейцев по золотым галунам, на которых солнце горит ярко.

Приветствую вас, преображенцы и семеновцы, властителями Бельта! Земля, на которой стоит Петербург, взята вами с боя и ныне крепка за вами.

В одном месте составился из офицеров блестящий полукруг. Впереди, на барабане, сидит человек исполинского роста, в колете из толстой лосиной кожи, сшитом наподобие иностранного купеческого камзола, только без пуговиц, клапанов и карманов. Этот наряд оторочен ровною полосатою тесьмою и завязан в нескольких местах нитяными шнурками. Смоляные пятна испестрили его; почетный рубец свидетельствует, что он был в боевой переделке. Одежда простого моряка, но вид носящего ее исторгает уважение. Чер-

ты его смуглого лица отлиты грозным величием; темно-карие глаза, прикованные к одному предмету, горят восторгом: так мог только смотреть бог на море, усмиренное его державным трезубцем! Черный, тонкий ус придает его физиономии особенную привлекательность. Голова его открыта, темными кудрями его бережно играет ветерок. Треугольная шляпа у ног. Английской породы собака рыжей шерсти с бархатным, зеленого цвета, ошейником, на котором вышиты слова: «За верность не умру!», стережет шляпу и по временам смотрит в глаза своему господину. От устья Невы ведут бот и шняву, взятые у шведов. Несколько десятков лодок, разделенных на две линии, плывут впереди и провожают их с песнями и музыкою. Это первый флот, входящий торжественно в русские пределы. Вот что, по-видимому, занимает высокого моряка, сидящего на барабане.

По левую сторону его, немного подавшись назад, стоят, не изгибаясь, два офицера. В одном мы узнали сейчас Бориса Петровича Шереметева, в другом храбрейшего из воинов и благороднейшего из вельмож Петра I, князя

Михайлу Михайловича Голицына, которому Россия обязана за доставление ей ключа к Бельту. Семь слов, переданных им посланному царя, когда этот, в пылу осады Шлиссельбурга, приказывал отступить; семь слов: «Скажи ему, что я принадлежу теперь Богу!» – могли бы увековечить его имя; а целая жизнь его была возвышенна, как эти слова!.. По другую сторону моряка, несколько наклонившись вперед, как будто хочет поймать на лету думу его, стоит молодой гвардеец приятной наружности, с открытыми серо-голубыми глазами, статный, величавый, облитый золотом. По улыбке самодовольствия на устах его видно, что это любимец счастья. Спрашиваю: кто такой? и мне рассказывают, что это лейтенант от бомбардир, тот самый, с которым мы имели случай ознакомиться в последнюю ночную экспедицию. Это Меншиков, фортуною схваченный с улицы ко двору и умевший возвыситься умом, отвагою и верностью до степени первого любимца государева. За ними с удовольствием отличаем в первых рядах старинных наших знакомцев: князя Вадбольского, Мурзенку, Дюмона, Карпова и Глебов-

ского. И ты, мишурный генерал, Голиаф Самсонович, играешь не последнюю роль на этой сцене с каким-то франтом среднего роста, в малиновом бархатном кафтане, в пышном напудренном парике, с умильной рожцею и глазами плутоватыми, как у лисицы! Ты называешь своего товарища Балакиревым, а это имя принадлежало любимому шуту Петра I. За вами неотлучно ходит великан Буржуа и образует с вами лестницу о трех ступенях, из которых на верхней выказывается одутловая, румяная, глупо смеющаяся образина. Все необыкновенное составляет свиту необыкновенного человека. Карла и Балакирев расхаживают по берегу и бросают камешки поперек реки, стараясь, чтобы они, делая по воде рикошеты, долетали как можно далее. Если скачки были скорые и высокие, то говорили, что это меншиковские прыжки. Когда пущенный камень делал медленный переход и оставлял большой круг на воде, тогда называли это шереметевским шагом. Пузыри, болтуны, верхоглядь, недолеты, перелеты имели также свои принорования.

Наконец два друга и соперника уселись...

– Растолкуй мне, пожалуйста, – сказал Голиаф своему товарищу, – что значит надпись на ошейнике Лизеты: «За верность не умру!»? Ведь когда-нибудь и она протянется. Что ж тогда из нее сделают?

– Бессмертную чучелу! – отвечал Балакирев. – По словам нашего *батюшки* Петра Алексеевича, такую же сделают и из *великого* Буржуа.

– Видно, за то, что верен своей глупости!

– Ступай к нам во двор, Самсоныч, у нас недостает карлы.

– Пошел бы, если бы ты был глупец: два медведя в одной берлоге не уживутся.

Так и многое подобное говорили шут и карла; но обратимся к кругу офицерскому.

Кто, как не сам Петр, может быть высокий моряк, сидящий на барабане. Около него с уважением стоят почетные сыны Русского царства. Отчего ж восторг горит в его глазах?.. Он забыл все, его окружающее; гений его творит около себя другую страну. Остров, на котором он находится, превращается в крепость; верфь, адмиралтейство, таможня, академии, казармы, конторы, дома вельмож и

после всего дворец возникают из болот; на берегах Невы, по островам, расположен город, стройностью, богатством и величием спорящий с первыми портами и столицами европейскими; торговля кипит на пристанях и рынках; народы всех стран волнуются по нем; науки в нем процветают. Через ворота Бельта входит многочисленный флот, обошедший старую и новую гемисферы[80]. Остров Рету-сари на взморье служит городу шлагбаумом.

Великий мыслит – и бысть!.. Что для других игра воображения, то для него подвиг.

Петр встал. Он схватил с жаром руку Шереметева и говорит:

– Здесь будет Санкт-Петербург!

Все смотрят на него с недоумением, как бы спрашивая его, что такое Санкт-Петербург. И тут с красноречием гения творческого, всемогущего поведает он окружающим его свои исполинские планы. Холодный, расчетливый Шереметев представляет неудобства: он указывает на дремучие леса, непроходимые болота и, наконец, на маститое дерево, служившее туземцам для отметки высоты, по кото-

рую в разные времена невиские воды выходили из берегов своих.

– Леса срубятся на дома, – говорит Петр, – руками шведскими осушим шведские болота; а дерево...

Он махнул рукою Меншикову; этот понял его – и памятник, враждующий гению, уже не существует! Железо блещет по кустарникам и роще; со стоном падают столетние деревья, будто не хотят расставаться с землею, столько лет их питавшею, – и через несколько часов весь Луст-Эланд обнажен. На ближнем острове Койво-сари возникает скромное жилище строителя, *Петра Михайлова*:

*...Ковчег воспоминаний славных!
Свидетель он надежд и замыслов
державных:
Здесь мыслил Петр об нас. Россия!
здесь твой храм[81].*

Между тем флотилия приветствована несколькими залпами из ружей и артиллерии; из пушек шнявы и бота поздравили царя с первой морской победой.

Отпраздновав победу, государь немедленно принялся за созидание Санкт-Петербурга в

виду неприятеля, на земле, которую, может быть, завтра надлежало отстаивать. Не утратила его и грозная схватка со стихиями, ему предстоявшая в этом деле. Воля Петра не подчинялась ничему земному, кроме его собственной творческой мысли; воле же этой покорялось все. Мудрено ли, что он с таким даром неба не загадывал ни одного исполинского подвига, который не был бы ему по плечу, которого не мог бы он одолеть?

Для исполнения своего намерения первым его делом было в тот же день разбить план новой крепости. Ходя с саженью в руках по берегу Луст-Эланда и сопровождаемый в своих занятиях Шереметевым и князем Голицыным, он сошелся в одном месте с Вадбольским.

– А, дорогой куманек! – закричал он этому. – Я до тебя давно добираюсь.

– Меншиков сказал мне только сейчас, зачем я тебе нужен, государь! – отвечал Вадбольский. – Я сам искал тебя.

– Так мы кстати столкнулись: авось высечем огонь! Вот в чем дело. Дошли до меня весточки в некоей конфиденции... а с какой сто-

роны ветер дул, не могу тебе поведать – в другое время, ты знаешь, я с своих плеч снял бы для тебя рубашку, – вот изволишь видеть, кум, дошли до меня весточки, что ты под Мариенбургом спровадил какого-то голяка, шведского пленного, куда, на какую потребу, бог весть!..

– Коли тайна эта дошла до тебя, государь, то солгать перед тобою не могу. Приношу тебе повинную голову. Этот человек был не швед, а русский, изгнанник, именно Последний Новик.

При этом слове Петр вспыхнул.

– Последний Новик! мой убийца!.. и ты, видно, такой же злодей!.. – закричал он и, не помня себя от гнева, замахнулся на Вадбольского саженью, чтобы его ударить.

– Остановись!.. – воскликнул Шереметев. – Он исполнил только мое приказание.

Петр опустил сажень и остановил изумленные взоры на фельдмаршале.

– Открою тебе более, – продолжал этот, – но прежде выслушай, а потом буди твой суд над нами. Во время осады Мариенбурга злой раскольник дал мне знать письмом, что в крепо-

сти скрывается Последний Новик под личиною шведа Вольдемара из Выборга. Все приметы Новика были верно списаны; злодейство его было мне ведомо: злодей был в моих руках, и я сам дал ему свободу.

– Всеконечно, ты имел на то важную причину или ты с ума сошел, Борис Петрович!

– А вот сейчас объясним тебе, надежа-государь! Князь Василий Алексеевич! подайте его величеству бумаги, которые вам поручено отдать от бывшего генерал-кригскомиссара.

Мы не имели еще случая сказать, что Вадбольский, в глубокую осень 1702 года, объезжая дозором покоренный край Лифляндии, заглядывал на мызу господина Блументроста и расспрашивал Немого о Владимире. Вместо известий получил он бумаги, которые поручено было Новиком отдать первому, кто придет о нем наведаться: бумаги эти, как он выразился тогда, изгнаннику более не нужны. Из числа их письмо Паткуля к русскому монарху и свидетельство Шереметева о заслугах, оказанных Владимиром в кампанию 1702 года, поданы теперь государю Вадбольским. Видно было в этом случае, что избранные хо-

датаи за несчастного действовали согласно условию, между ними заранее сделанному.

– От злодея через верноподданного нам министра? Час от часу мудренее! – сказал Петр I, взявши бумаги.

Во время чтения лицо его то светлело, то помрачалось. Прочтя их, он внимательно посмотрел на Шереметева, стал ходить взад и вперед в сильном волнении чувств, выражавшем их борьбу, и потом спросил фельдмаршала:

– Так вы дали это свидетельство, господин фельдмаршал?

– Государь, – отвечал Борис Петрович, – все, что в этом свидетельстве, мною данным, заключается, есть только слабое изображение заслуг Последнего Новика тебе и отечеству. В лета безрассудной молодости он мог быть преступником; но со временем познал свою вину и искал загладить ее жертвами великими. Если я в прошедшую кампанию сделал что-нибудь достойное внимания царского величества, то этим обязан ему.

Петр, не отвечая, стоял в глубокой задумчивости.

– Милость красит венец царский! – произнес с жаром князь Михайла Михайлович Голицын. – Государь! ты прощал многих злодеев, посягавших на твою жизнь, а чем заслужили они это прощение? Одним раскайнем!.. Последний Новик же, как мне известно ныне стало, сделал то, чем мог бы гордиться первый боярин русский. Мы все, сколько нас ни есть в войске твоём, ему одолжены нашею доброю славой и умоляем за него.

– Когда бы только память злодеяния!.. – сказал Петр. – Нет, нет, друзья мои! вы не знаете... вы не можете знать...

Мурзенко, невидимо подкравшись к царю, упал к ногам его и жалобно завопил:

– Прикажи, Петр Алексеевич, твоя моя разжаловать: без Новика моя не була б пулковник! Борис Петрович твоя все рассказать. Куда ее голова, и моя туда.

– И ты, Мурза?.. Все, все за него!.. Коли б знали, чье он отродье непотребное!.. – повторил государь.

– Отродье? Неправда! – возразил с благородным гневом Вадбольский. – Полковник Семен Иванович Кропотов был его отец. Кропо-

тов служил тебе верою и правдою и честно положил за тебя живот свой под Гуммелем. Какого тебе благородства более надобно?..

– Не постыдился бы я назвать его своим братом, Семен Алексеевич! но чем докажешь, что Последний Новик был сын его?

– Его завещанием, которого сделали меня исполнителем воля фельдмаршала и сам Бог! Пусть очи твои сами удостоверят тебя в истине слов моих. Вот завещание, писанное рукою Семена Ивановича: она должна быть тебе известна.

Тут Вадбольский вынул из бокового кармана мундира бумагу и подал ее царю. Петр взял ее, жадно пробежал глазами и потом задумался. Вадбольский продолжал:

– С того света указывает он тебе на кровь, пролитую за тебя и отечество, на старушку вдову, оставленную без опоры и утешения, и требует, чтобы ты даровал жизнь ее сыну и матери отдал кормильца и утешителя. Не только как опекун Последнего Новика, но как человек, обязанный ему спасением своей жизни, умоляю тебя за него: умиლოსердись, отец отечества! прости его или вели меня каз-

нить вместе с ним.

– Могу ли вас наказывать, – воскликнул растроганный государь, – вас, верные мои слуги и товарищи?.. Для вас забываю собственную персону... забываю все – и прощаю Последнего Новика.

Радостный возглас: «Да здравствует государь – отец наш, многие лета!» – вырвался из груди участников этой сцены и обошел весь остров, по которому офицеры и солдаты были рассыпаны.

Признательность народная скоро сообщается и любит выражаться в громких восклицаниях; одна ненависть скрытна и молчалива.

Петр продолжал, обратясь к Шереметеву:

– Письмом от имени моего попросите его величество кесаря[82] обнародовать указ о прощении Последнего Новика ради его заслуг нам и отечеству; пошлите приятеля Мурзу отыскать его по Чуди – кстати, не удастся ли где прихлопнуть нагайкою шведского комара – и дайте знать во дворцовый приказ, чтобы отписали Владимиру сыну Кропотова, десять дворов в Софьине; но горе ему, если он...

захочет отыскивать себе другой род, кроме Кропотова!..

Защитники Последнего Новика благодарили государя, каждый по-своему; хвала Петру переходила из уст в уста. Все поздравляли друг друга, как с необыкновенным торжеством; рассказывали, кто такой Новик, что он сделал преступного и какие великие услуги оказал отечеству. Он-то спас под Эррастфером артиллерию русскую, давал фельдмаршалу через Паткуля известия не только о движениях шведской армии, но и намерениях ее предводителя, навел русских на розенгофский форпост и так много содействовал победе под Гуммельсгофом. Как изумились Дюмон, Карпов и Глебовской, узнав, что Последний Новик, неумышленно составлявший в нейгаузенском стане предмет их разговоров и вину горьких слез Кропотова, был именно сын его и то самое таинственное лицо, игравшее столь важную роль в войне со шведами и так часто служившее загадкою для всего войска! Помнили еще певца-невидимку под Розенгофом, dokonчившего песню, начатую Глебовским; каждый повторял куплет, столь трога-

тельно выражавший любовь к родине. Сблизиться с этим необыкновенным человеком, услышать повесть его жизни было общим сильным желанием офицеров.

Не одних явных, но и тайных приятелей имел Последний Новик. Мы это сейчас увидим.

Перед отъездом своим в Лифляндию Мурзенко позван был в домик Петра I, выстроенный на острове Березовом, так переименованном из финского Койво-сари. У крыльца встретил татарина карла Голиаф и вручил ему записку и богатый перстень, сделанный в виде короны, под которой на оправе было вырезано: «5 Апреля». Все это, от имени неизвестной, но близкой к царю особы, просил ловкий маленький агент передать Владимиру, как скоро его отыщет. От кого шел дар, мы не смеем до времени сказать, но можем догадаться, прочтя записку, писанную по-немецки.

«Радуюсь твоему благополучию, Вольдемар! – так сказано было в ней. – Чужестранка в России, я уже люблю ее, как мое отечество;

люблю всех, кто оказывает ему истинные заслуги; а сколько мне известно, более тебя сделал и делает ей добро только *один* человек, *мой* и *твой* повелитель... мой кумир с юных лет!.. В знак удовольствия, какое доставила мне весть о перемене твоей судьбы, и на память нашей дружбы, посылаю тебе безделку. Ты оскорбишь свою давнишнюю знакомую и новую соотечественницу, отвергнув этот дар. Напротив, приняв его, обрадуешь ту, которая и в унижении тебя любила, и на высоте не забудет».

Мурзенке приказывали еще через карлу сказать, что Владимира искать далеко не надо; еще недавно видели, как он шел от Саарамойзы к Неве. И потому операционная линия татарского наездника должна была покуда ограничиться обоими берегами этой реки.

Ах! когда бы знали благодетели, друзья Последнего Новика, что тот, кто был предметом их жаркого участия, не мог уже пользоваться ни дружбою, ни благодеяниями их! Ходатайство, прощение, залогов дружбы – опоздали!..

Глава пятая

Повесть последнего новика

*О милой родины страна!
Какою тайною прелестной
С душою ты сопряжена!*
Нечаев

Между тем как работы кипели на острове Луст-Эланд, несколько рот Преображенского полка под начальством Карпова и драгунские полки князя Вадбольского и Дюмона поставлены были на ижорском берегу Невы, близ устья ее, для наблюдения, не сделает ли неприятель высадки с эскадры. Как скоро обязанности службы выполнены были начальниками, они собрались вместе у хлебосола Вадбольского на чару анисовой водки, на пирог и кус, еще более лакомый, – на чтение истории Последнего Новика, отданной опекуну его вместе с другими бумагами. Несколько дней уже обещал Вадбольский передать своим приятелям исповедь его жизни. В этом греха теперь не было. Глебовскому, распевавшему так хорошо песни Новика, поручено чи-

тать его повесть в услышание всей честной беседы.

В старину у русских крест был приступом ко всему. Следуя этому святому обычаю, Глебовской перекрестился и начал чтение:

– «Судьба, видимо, гонит меня. Ни мое раскаяние, ни жертвы и заслуги мои отечеству не могли ее удовлетворить. Чувствую, или грехи моих родителей, или кровь, за меня безвинно пролитая, запечатлели меня клеймом отчуждения от родины. Большого наказания нельзя придумать. Конец моим страданиям близок. Горькая смерть на чужбине, труп, не орошенный слезою друга или соотечественника, не отпетый священником, оспориваемый дикими зверями, – вот очистительная жертва, от меня ожидаемая! Русский придет некогда в эту страну; во имя Христа и, может быть, дружбы захочет отыскать мои кости и поставить над ними крест; но не найдет он и места, где лежал прах несчастного изгнанника... Крестом будут мне четыре страны света. Разве один голос Всемогущего соберет прах мой и сплотит кости мои в день Судный!

По крайней мере, часть себя хочу оставить

на родине. Пусть частью этой будет повесть моей жизни, начертанная в следующих строках. Рассказ мой будет краток; не утомлю никого изображением своих страданий. Описывая их, желаю, чтобы мои соотечественники не проклинали хоть моей памяти. Я трудился для них много, так много сам любил их! Друзья! помяните меня в своих молитвах...

Не знаю, где я родился. Помню только, с тех пор как себя помню, высокий берег Москвы-реки, светлые излучины ее, обширные луга с высокою травою, в которой запутывались мои детские ноги, озера, с небом своим опрарвленные в зелень этих лугов, на возвышении старинные хоромы с теремками, поросшими мохом, плодovitый сад и в нем ключ. Журчание его и теперь отзывается моему слуху вместе с пением коростеля, раздававшимся по зорям. Для других неприятен крик этой птицы, но я, в каких странах ни слышал ее голос, всегда чувствовал в груди сладостное томление, задумывался о родине, о райских, невозвратных днях детства и слезами кропил эти воспоминания. Помню, что по обеим сторонам нашего жилища тянулась деревня, разделен-

ная оврагом, через который весною седые потоки с шумом бросались в реку; позади деревни, вдали чернелись леса, дремучие леса, населенные будто лешими, ведьмами и разбойниками, а впереди через реку, на высоком берегу ее, стояла деревянная церковь и кругом ее кладбище. Не забыл я даже, что глава церкви была насквозь разодрана временем или молниею и что месяц, багровый от предвестий непогоды, поднимаясь от земли, по временам входил в эту главу в виде пылающего сердца. „Прогневали мы, родной, Господа! – говаривала мне мамка моя, указывая на это явление. – Настанут смуты, побоища, и много крови будет пролито! Боюсь за твою головушку, дитя мое! Кровь у тебя кипучая; глаза твои разгораются, когда рассказываю тебе о похождениях богатырей и могучих витязей; все у тебя стрельцы да стрельцы на разуме; мальчик крестьянский не стань перед тобою в шапке – сейчас готов ты сорвать ее и с макушкой. Смири, дитя мое дорогое, свое сердце; ходи стопами тихими по пути Господню; не гордись, не превозносися; не то не сносить тебе своей головушки. Ох, ох! вещун недобрый

кровавый месяц, и все в день твоего ангела! Молись усерднее Богу, клади поболее земных поклонов, не ленись творить кресты, и Он помилует тебя Своею благодатью”.

Худо слушался я наставлений мамки, и слова ее сбылись...

Деревню, в которой провел я первые годы моего детства и которую описываю, называли *Красное сельцо*. Часто говаривали в ней о Коломне, и потому заключаю, что она была неподалеку от этого города. Не знаю, там ли я родился, но там, или близко этих мест, хотел бы я умереть.

Семи лет перевезли меня в Софьино, что под Москвою, на берегу же Москвы-реки. С того времени дан мне был в воспитатели Андрей Денисов, из рода князей Мышитских. Говорили много об учености, приобретенной им в Киевской академии, об его уме и необыкновенных качествах душевных. Но мне легче было бы остаться на руках доброй, просто-душной моей мамки, которой память столько же для меня драгоценна, сколько ненавистно воспоминание о Денисове, виновнике всех моих бедствий.

Пылкие страсти мои росли с моим телом, так сказать, не по годам, а по дням. Им старались дать опасный блеск, а не хорошее направление, не усмирять их. Воспитатель мой баловал меня, льстил моим прихотям, усердно раздувал в сердце моем огонь честолюбия и самонадеянности. Я был бешен, горд, властолюбив, все проступки мои извинялись; всем моим порокам находили благовидный источник или возвышенную цель. Несмотря на это потворство, я не чувствовал привязанности к своему развратителю: какая-то невидимая сила всегда отталкивала его от моего сердца. Не говорю уже о покорности; я не знал ее никогда. Я находил удовольствие управлять тем, который, впоследствии времени, раскрыл в себе душу необузданную, жаждущую одних честей и власти. Никогда, в самые мгновения величайшего на меня гнева, когда я подставил ему ногу, чтоб он упал, или когда изорвал в клочки переложенную им с латинского книгу о *реторической силе*, — никогда не осмелился он поднять на меня руки своей. Кажется, я вцепился бы в коварные очи его и вырвал бы их, если бы он дерзнул

сделать эту попытку. Прибавить надо, что Денисов всячески старался питать во мне ненависть к роду Нарышкиных, которого он был заклятый враг по связям своим с Милославскими. Наталью Кирилловну, умную, добродетельную, описали мне ненавистною мачехою, чарами и происками изводящею пасынков и падчериц своих, чтобы родному сыну доставить право на венец. Говорили, что Петр... но язык немеет, перо не повинуется, чтобы передать все гнусные выдумки, которыми ухищрялись сделать из меня с малолетства заклятого врага царице и сыну ее. Еще не видав их, я питал к ним неодолимую ненависть.

Подчинив себе всех мальчишек в деревне, я составил из них стрелецкое войско, роздал им луки и стрелы, из овина сделал дворец, вырезал и намалевал, с помощью моего воспитателя, царицу Наталью Кирилловну с сыном на руках и сделал их целью наших воинских подвигов. Староста разорил было все наши затеи, называя меня беззаконником, висельником: я пошел со своею ватагою на старосту, взял его в плен и казнил его сотнею го-

рячих ударов.

Стрельцы мои называли меня своим атаманом: это имя льстило мне некоторое время, но, узнав, что есть имя выше этого, я хотел быть тем, чем выше не бывают на земле. Наслышась о золотых главах московских церквей, о белокаменных палатах престольного города, я требовал, чтобы меня свезли туда, а когда мне в этом отказали, сказал: „Дайте мне вырасти; я заполоню Москву и сяду в ней наибольшим; тогда велю казнить всех вас!..” Так-то своевольная душа моя с ранних лет просилась на беды!

Только одного человека слушался я и любил: это был князь Василий Васильевич Голицын; имя его и доныне не могу произносить без благоговения. В первые годы моего пребывания в Софьине редко навещал он меня; но каждый раз оставлял в детском сердце резкие следы своего посещения. Он ласкал меня такими отеческими ласками, так искренно учил меня добру, что я не мог не почувствовать всей цены его любви и наставлений. Одно слово его действовало на меня сильнее многоплодных, витиеватых речей Денисова.

Раз, пробыв несколько дней в Софьине, он успел высмотреть дикое состояние, в котором я находился, и ужаснулся его. С того времени он чаще стал навещать меня и старался понемногу обрезать побеги страстей, готовые заглушить мою душу. Он убеждал меня слушаться, уважать, как отца, моего воспитателя, который, вероятно желая скрыть настоящую причину худого воспитания моего, жаловался, что я выбился из рук.

Мне минуло десять лет: помню, черемуха и синель тогда расцвели. В один из красных дней весны приехала к нам гостья, молодая, как она, привлекательная, как божья радость. Ничего прекраснее не видывал я ни прежде, ни после, во всю жизнь свою. Когда она вошла неожиданно с князем Васильем Васильевичем в мою светелку, мне показалось, что вошел херувим, скрывший сиянье своей головы под *убрусом*[83] и спрятавший крылья под парчовым *фerezем*[84] и *опашнем*, чтобы не ослепить смертного своим явлением. Кто мог бы ожидать, чтоб это была... царевна София, хитрая, властолюбивая?.. Нет, нет! пускай ни один упрек, ни один ропот не отравляют сла-

достного воспоминания о первой встрече с нею! Хочу вообразить ее теперь со всем очарованием ее красоты, сбросившей с себя то, что она имела земного; пускай хоть теперь воспоминание о ней горит одною любовью!.. О! каким пером описать впечатление, произведенное на меня первым взором ее, встретившимся с моим? Куда девалась тогда моя самонадеянность? Я не мог выдержать этого взора; я потупил глаза в землю; сердце мое шибко билось в груди.

„Владимир! да будет над тобою благословение Божие!” – сказала она дрожащим голосом, обняла меня, закрыла концами своего шелкового покрывала, крепко прижала к своей груди, целовала, и горячая слеза капнула на мое лицо. Ласки ее меня ободрили; я сам стал ласкаться к ней, как умел, со всею искренностью детской, но пылкой души. Вскоре послышался стук тяжелой повозки, и царица, приказав мне не выходить из моей светлицы, бросилась из нее вместе с князем Васильем Васильевичем. Я слышал, как замкнулась за ними дверь; но не роптал на свое заключение, потому что посажен в нее был по

воле моей новой владычицы. Осторожно взглянув из окна, увидел я на дворе две раззолоченные колымаги; понял, что приехали гости, которым я не должен показываться, сидел смиренно и готов был для спокойствия неизвестной, но милой мне особы притаить свое дыхание. Через несколько часов колымаги укатили со двора по дороге в Москву. Андрей Денисов освободил меня из заключения; но та, которую полюбил я так много, не являлась; и долго, очень долго не видал я ее; по крайней мере, так мне показалось!

Вслед за этим посещением я стал изредка получать от нее письма, исполненные нежной любви ко мне, и подарки, в коих тоже отсвечивалось чувство. Почерк ее руки был красивый, остроумие, блеск, нежность выражений вкрадывались в душу. Иногда приписывала она мне стихи, которых красоты объяснял мне Денисов, знаменитый ритор[85] своего времени, а более сердце мое. Впоследствии я сам получил неодолимую охоту слагать стихи. Учителем моим был он же. Любовь к природе, живое воображение, пылкие страсти, свобода развернули мои дарования.

Я должен прибавить, что переписка с моею благодетельницею сколько усилила мою преданность к ней, столько и поощрила во мне ненависть к Нарышкиным, виновникам всех горестей и несчастий Софии Алексеевны, — так часто выражалась она в письмах своих, не давая мне, однако ж, знать, кто она именно, а подписываясь просто *Боярыня Мило-славская*.

В первую за тем зиму я был в доме князя Василья Васильевича, в Москве. Только что подъезжал я к престольному граду, меня поразили блеск несчетных золотых глав его, будто повешенных на воздухе, как небесные паникадилы, и громада строений, которой не видел конца, и звон колоколов, показавшийся мне торжественным, духовным пеньем целого народа. В самой Москве раскрылся для меня новый мир. Святыня в храмах, волнение на площадях, церковные праздники, воинские смотры, великолепие двора царского — все это вдруг ослепило меня и на время смирило мои пагубные наклонности, невольно покорившиеся такому зрелищу. Надолго ли? Через несколько времени честолюбие мое на-

чало разыгрываться в детских мечтах, как сердитый родник, который сначала бьет из-под земли, бежит потом ручьем, рекою и, наконец, бушует морем, выливаясь через берега, будто его стесняющие. То хотелось мне быть предводителем совета или войска, то патриархом, то любоваться, как от одного слова моего кипят тысячи, как от одного слова немеет целый народ – настоящий конь троянский[86], огромное изделие великого художника, и все-таки кусок дерева, пока управляющий им не отопрет ужасных сил, в нем заключающихся! Такое сравнение делал некогда мой воспитатель, и я узнал вскоре верность его. Бывший предводитель крестьянских мальчиков в Софьине набрал себе войско уже из детей боярских и довел их до строгого себе повиновения – иных из любви к себе, других из страха к своей силе, за которую прозвали меня Ильею Муромцем. В кулачном бою я смело шел один на трех, равных мне летами; побороть сильнейшего из своих товарищей было для меня лучшим торжеством. Могущество других не изумляло, не пугало меня, но возбуждало во мне досаду;

над кем сила моя не брала, тому старался я искусно подставить ногу и свалить его. Не только большие, сильные люди, даже высокие дома были мне неприятны; если б я имел волю, то сломал бы их или поселился бы в самом большом.

На новоселье моем стала посещать меня тайком, с позволения, однако ж, моего благодетеля, женщина средних лет, пригожая и предобрая. Князь Василий Васильевич называл ее моею близкою родственницей, моею кормилицей; но заказывал мне говорить кому-либо об ее посещениях. „Где ж моя мать, мой отец?“ – спрашивал я князя. „Они давно померли“, – отвечал он. „Как их звали?“ – „Кропотовыми. Только не говори об этом никому, потому что я сам могу в этом обманываться. Ты еще в пеленках подкинут к моему дому; а узнал я о твоём роде недавно, тайным случаем, может статься, еще несправедливо. Покуда не в состоянии буду обнаружить достоверно твоё происхождение, называйся Владимир Сирота. Под этим условием боярыня Милославская, которую ты столько любил, содержит тебя, воспитывает и хочет сде-

дать тебя счастливым, определив со временем ко двору царскому”.

Я выполнил точно волю своего благодетеля, потому что хранить тайну умел с детских лет. Ах! почему не мог я назвать тогда своею матерью пригожую женщину, посещавшую меня тайком, в которой узнал я со временем Кропотovu, жену Семена Ивановича? Она кормила меня своею грудью, любила меня, как сына, и, может статься, была настоящая моя... Нет, не хочу обманывать себя этою приятною мечтою. Скольких бедствий избавился бы я тогда!

При всяком посещении своем Кропотова целовала меня с нежностью матери, всегда приносила мне дорогие подарки и всегда расставалась со мною, обливая меня горячими слезами. Слезы эти, не знаю почему, надрывали мне сердце, впрочем не слишком склонное к нежным ощущениям; после нее мне всегда становилось грустно, хотя и не надолго. Боярыню Мирославскую, или, что одно и то же, царевну Софию Алексеевну, которую только видел раз, любил я более ее; но о Кропотовой более жалел: она казалась мне такую несчаст-

ною!

Однажды подарила она мне гусли, на которых приклеена была картинка с изображением Ильи Муромца. Как дорожил я этим даром, можно судить по тому, что я не покидал его в самые черные дни своего изгнанничества, во всех странствиях своих. Все, что ни имел я лучшего, готов был отдать товарищу; но с гуслими ни за что не согласился бы расстаться.

Кто не помнит кончины царя Федора Алексеевича? И старый и малый оплакивали доброго государя, которого любили одни по опытам на себе его благих дел, а другие, мало жившие на свете, по сочувствию народному. Еще врезан у всех в памяти и первый бунт стрельцкий, взволновавший вопрос: кому из двух детей-наследников сидеть на престоле? – вопрос, решенный только великим духом Петра Алексеевича, когда он угадал, что ему надобно царствовать. Я не знал тогда причин возмущения; но радовался, слыша о гибели Нарышкиных и торжестве прекрасной и умной царевны из рода Милославских. Моя софьинская знакомка была также из этого рода. „Любо ли?“ – кричали стрельцы, возвращаясь

с кровавого пира, на котором торжествовали победу своей владычицы. „Любо!“ – отвечал я с восторгом, стоя у ворот нашего дома, и стрельцы, радостно предрекая мне великую будущность, брали меня на руки и с криками поднимали на воздух. В день венчания на царство двух братьев Андрей Денисов повел меня в Кремль. Стоявший у входа сотник проводил нас к самым дверям Успенского собора. Здесь мы, в ожидании торжества, как бы приросли к своим местам. Вдоль дороги, по которой надо было идти царям, тянулись с обеих сторон, будто по шнуру, ряды стрельцов с их блестящими секирами. Двинулось торжественное шествие. Протопоп кропил путь святою водой; золото парчовых одежд начало переливаться; загорели, как жар, богатые царские шапки, и вот пред нами цари: один[87] – шестнадцатилетний отрок, бледный, тщедушный, с безжизненным взором, сторбившийся, едва смея дышать под тяжестью своей одежды и еще более своего сана; другой[88] – десятилетнее дитя, живой, цветущий здоровьем, с величавою осанкою, с глазами полными огня, ума и нетерпения взирающий на на-

род, как будто хотел сказать: *мой народ!*.. Кажется, одного гнали за державою, ему наильно вручаемою, – другой, рожденный повелевать, шел схватить бразды правления, у него отнимаемые. Признаюсь, я, бедный, ничтожный сирота, воспитываемый благодеяниями князя и боярыни, осмелился завидовать державному дитяти!.. За царями шла... кто ж? Моя тайная благодетельница, боярыня Милославская!.. Но здесь я узнал свою ошибку. „Вот царица София Алексеевна!” – сказал воспитатель мой, дернув меня за одежду, и возглас удивления и радости, готовый вылететь из уст моих, замер в груди. Очами изумления, любви, благодарности смотрел я на царицу. Она то ласково кланялась стрельцам, то легким наклоном головы давала знать боярам, чтобы ускорили шествие; то смотрела с какою-то неприязненною усмешкою и будто б с завистью на царицу Петра; но когда поравнялась со мною, удостоила меня и воспитателя моего особенным поклоном, так что всю милость этого поклона присвоил я одному себе без раздела.

„Владимир! – сказал мне Денисов, когда

мы с торжества возвращались домой. – Я нарочно водил тебя смотреть на венчание царей, чтобы ты узнал, кто твоя благодетельница. Ведай, господу угодно взыскать тебя новыми милостями: на днях вступишь ты в услужение к царевне; тебя ожидают высшие степени, богатство, слава. Не спрашивай ни меня, ни другого кого, за что царевна тебя любит; может статься, обет, данный твоей матери... может быть, другое что-либо... этого я ничего не знаю, – довольно, что она любит тебя, бедного, безродного сироту... Так угодно Богу; видно, ты родился в сорочке! вот что можно мне сказать на вопросы о твоей талантливой судьбе[89]. Помни: твое благополучие зависит от твоей скромности и верности дому Милославских. На вершине не забудь и своего воспитателя: немало потрудился он для тебя”.

В восторге от милостей прекрасной царевны голова у меня кружилась: я все обещал. О своем же происхождении не только не хотел, я боялся даже знать более того, что слышал от самого князя. Действительно, через несколько дней князь Василий Васильевич повез меня в Коломенское, куда отправились царици-

чи тешиться соколиной охотой, а царевны наслаждаться прогулками по садам, исстари славившимся. Я был предупрежден, чтобы мне, при виде царевны Софии Алексеевны, показывать, будто вовсе не знаю ее. С нами повезли мои маленькие гусли, на которых я уже довольно искусно играл. Когда мы вступили в коломенский дворец и пока докладывал о нас стольник царицына чина, мы слышали из одного терема приятное пенье женских голосов. Вскоре голоса умолкли, и я позван был один в этот самый терем. Несмотря на мое удальство, сердце у меня затрепетало. Стольник нес впереди меня гусли мои, потом сдал их и меня царевниной постельнице Федоре Семеновой, по прозванию Казачке, которая, приласкав и ободрив меня по-своему, отвела во внутренние покои. В одном из них, отличавшемся от других величиною и убранством, сидела царевна София Алексеевна, окруженная сестрами своими, молодою, пригожею царицей Марфою Матвеевной, узнавшею столь рано печаль вдовства[90], и многими знатными девицами, приехавшими делить с подругами своими радости сельской,

свободной жизни. Как теперь вижу, София Алексеевна сидела на стуле с высокою узорочною спинкой, немецкого мастерства, и держала в руке тросточку, расписанную золотом, у которой рукоятка была из красного сердолика, украшенного дорогими камнями. Прочие собеседницы все сидели на скамьях и занимались плетением кружева для полотенцев. Я отличил тотчас свою благодетельницу, как различают первую звезду вечернюю от прочих звезд. И здесь, среди красавиц московских, она была всех их прекраснее, хотя ей было уже двадцать пять лет. Я помолился сначала святым иконам, сделал потом ей низкий поклон и наконец раскланялся на все стороны. София Алексеевна подозвала меня к себе, дала мне поцеловать свою ручку и сама поцеловала меня в лоб; все осыпали меня ласками, называя пригожим мальчиком. Но всех более, после моей благодетельницы, ласкала тогда и впоследствии всегда оказывала мне искреннюю привязанность царица Марфа Матвеевна. Память об ее милостях расцвечала черные дни моей жизни; неоцененное благодеяние, ею мне однажды оказанное и кото-

рого не смею объяснить, усладит мой смертный час!..

На вопросы, деланные мне с разных сторон, отвечал я смело, стараясь всем угодить. Меня просили сыграть что-нибудь на гусях. Раскрыли их, и собеседницы, с позволения Софии Алексеевны, присыпали смотреть картинку, изображающую богатыря Илью Муромца, едущего на ретивом коне сражаться против Соловья-разбойника, усевшегося на семи дубах. Это была одна из первых картин русского изделия. Многие смеялись от всего сердца, особенно девица Праскевия Федоровна Салтыкова[91], живая, веселая, говорившая, что она на святках видела в зеркале жениха своего, будто похожего на уродца, сидящего на деревьях. Хорошенькая, но не привлекательная ни лицом, ни разговорами, девица Евдокея Федоровна Лопухина[92], взглянув из-за других на картинку, плюнула и с неудовольствием отворотилась, сказав, что грех смотреть на такое дьявольское искушение. Я играл на гусях то заунывные, то веселые песни и видел с торжеством, как все довольны были моею игрою.

Когда Софья Алексеевна объявила желание свое взять меня к себе в пажу и когда, на вопросы боярынь, объяснила им, что такое паж, все упрашивали ее исполнить это поскорее и не оставить своею милостью пригожего, разумного сироту (так угодно было им называть меня). С этого часа судьба моя решена: князю Василью Васильевичу объявлено о воле царевны – и через несколько дней я со своими гуслими и мечтами честолюбия водворился в царских палатах. Не стану распространяться о милостях ко мне царевны Софьи: кому из московских жителей они не известны? Скажу только, что они росли вместе с возвышением ее власти. Я сделался баловнем ее и всех придворных женщин. От природы тщеславный, непокорный, я возмечтал о себе столько, что стал ни во что считать царицу Наталью Кирилловну, а с сыном ее, бывшим мне почти ровесником, искал всегда причин к неудовольствию. Дитя рано обнаружило в себе царя; во всех случаях Петр Алексеевич давал мне чувствовать свое превосходство, в самих играх напоминал мне долг подданного. Это бесило меня.

После второго стрелецкого бунта Наталья Кирилловна, видя, что честолюбивая падчерица каждый год очищает себе новую ступень к престолу, искала со своими советниками предлога открыть ей войну за права, похищаемые у Петра, который еще только учился защищать их. Безделица бывает обыкновенно придиркою к ссоре людей сильных и знатных, как для начинания боя, где должны стена на стену сразиться славные бойцы целого города, высылают всегда мальчиков. Так сделали и в том случае, о котором говорю. „Именем пажа, данным подкидышу, – говорила Наталья Кирилловна, – хочет новая царица начать новый двор; это явное оскорбление русских обычаев и законности. Скоро у ней появятся неслыханные должности, замещаемые ее приверженцами, и нам с сыном между ними и места не будет”. Софья Алексеевна, всегда умная и на этот раз осторожная, притворилась слишком слабою или в самом деле не чувствовала еще в себе довольно силы явно идти навстречу сделанному ей обвинению: она старалась отыгаться от него переименованием меня в Новика – звание, кото-

рое дети боярские переставали уже носить, вступая в службу. Впоследствии честолюбие Софии Алексеевны утвердило за мною придачу Последнего, доставившую мне слишком пагубную известность.

С 1683 года запрещено было посещать меня пригожей женщине, известной мне под именем Кропотовой. Князь Василий Васильевич, оберегатель царственной большой печати и государственных посольских дел, ближний боярин и наместник новгородский, неся на себе все бремя правления государством, был столько занят, что не мог посвятить мне много времени, и потому вся моя любовь сосредоточивалась в царевне Софии Алексеевне, которая, со своей стороны, старалась платить мне милостями, какие можно только любимцу оказывать. Ах! зачем так поздно узнал я, безрассудный, что чувства ее ко мне, вместе с потворным воспитанием Денисова, готовили из меня орудие их страстей?

Мне минуло шестнадцать лет. Предмет зависти боярских детей, окруженный довольством и негою, утешая царевну и придворных ее игрою на гусях и пением, нередко, среди

детских игр, похищая пыл первой страсти с уст прекрасных женщин, которые обращались тем свободнее со мною, что не опасались ни лет моих, ни ревнивого надзора родственников, не дерзавших следовать за ними ко двору властолюбивой правительницы; вознагражденный тайною любви одной прекрасной, умной, чувствительной женщины, которой имя знает и будет знать только один Бог, — на таком пиру жизни я не мог желать ничего, кроме продолжения его. Но беспокойная душа моя просила бед, и беды не заставили меня долго ждать.

Мы проводили лето в Коломенском. Петр Алексеевич со своими *потешными* осаждал крепостцу, построенную им из земли на высоком берегу Москвы-реки, при загибе ее. Однажды, восхищенный успехами своего войска, он пришел к царевне Софии, рассказывал о подвигах своих, шутил над женским правлением; говорил, что для рук, привыкших владеть иглою и веретеном, тяжела держава, с которою надо соединять и меч; грозился некогда своими новобранными наказать врагов отечества и наконец, увидев меня, при-

глашал вступить к себе в службу. Каждое слово его было ударом ножа в грудь Софии Алексеевны; я видел, как глаза ее разгорались, как грудь ее волновалась от досады. С быстротою молнии кровь и у меня начала перебегать по всему телу. С нами в комнате была царица Марфа Матвеевна. „Полно быть девичьим прихвостником! – продолжал Петр, положив руку на мое плечо. – Ты здесь Последний Новик; у меня можешь быть первым потешником”. – „Пускай потешают тебя немцы, – отвечал я угрюмо, сбросив с плеча своего руку Петра. – Я русский, лучше хочу быть последним слугою у законной царевны, чем первым боярином у хищника русского престола”. Царь-отрок вспыхнул, и сильная оплеуха раздалась по моей щеке. Не помня себя, я замахнулся было... но почувствовал, что меня держали за руки и что нежные руки женские обхватили стан мой, силясь увлечь меня далее от Петра, все еще стоявшего на одном месте с видом гордым и грозным. София Алексеевна приказывала мне удалиться немедленно. Марфа Матвеевна, не выпуская меня из своих объятий, со слезами на глазах умоляла не гу-

бить себя. На крик их прибежали *комнатные* люди[93], и меня вывели из терема, но не прежде как я послал в сердце своего обидчика роковую клятву отмстить ему. Это происшествие имело последствием изгнание меня в Софьино, где я опять глаз на глаз с моим развратителем Денисовым. На этот раз я предался ему совершенно: я упивался его беседами. В них, кроме ненависти к Петру, я ничего не слышал; я дал олицетворенному сатане кровавую запись на свою душу.

Были кончены походы крымские, затеянные (так объяснилось мне после) царевною Софиею, чтобы ознаменовать свое правление военными подвигами и отвести благородного князя Василия Васильевича от присмотра за ее умыслами на жизнь Петра. Известны последствия этой войны: бесполезная трата людей и денег, слезы тысячей, бесчестье войска, небывалые награждения военачальников и неудовольствия сильных единомышленников младшего царя. Одни победы нынешние могли прикрыть своим блеском постыдные имена *Перекопа, Черной и Зеленой долин*. В оба эти похода я был при князе Василии; воз-

вратясь из них, жил опять в Софьино. У всех современников моих еще на памяти государственные перевороты, следовавшие один за другим в последние годы правления Софии так быстро, что не позволяли ей установить свои коварные замыслы, а Петру более и более расширяли круг его державных действий. С досадою видела правительница, что все ее начинания обгоняли сила душевная юного царя и возраставшая к нему любовь народная или, лучше сказать, воля Провидения. Униженная всенародно в церковном ходе восьмого июня 1689 года, царевна поспешила решительно грянуть в своего брата и соперника третьим стрелецким бунтом, где в залог успеха была положена ее собственная голова. Я ничего не знал о ее новых кознях. Восемнадцатого августа, с рассветом дня, получаю от нее записку, в которой приказывали мне немедленно явиться в Москву. „Жизнь моя в опасности”, — прибавляла она между прочим. Не думаю долго; нож за пояс, слово Денисову о причине моего отъезда, от него слово, что час мести настал, и совет, как действовать, чтобы уничтожить врага Софии и моего; беру

лошадь, скачу без памяти. В теснине *Волчьих ворот*[94], поперек дороги, лежит сосна, взъерошившая свои мохнатые сучья и образовавшая из них густой частокол. Ищу в лесу места, где бы мне перебраться на дорогу, как вдруг из-за кустов прямо на меня несколько молодцов с дубинами и топорами; одни повисли на устцах моей лошади, другие меня обезоружили. Но как внезапно напали они на меня, так же скоро от меня отступили. „Последний Новик! Последний Новик! – закричало несколько голосов. – Ступай своей дорогой! Мы хлеб-соль царевны Софии Алексеевны помним; знаем, что она тебя жалует, и не хотим ни твоего добра, ни головы твоей. Поспешай: нам и вам в Москве худо; немцы берут верх; царевне несдобровать!” Не слышу ничего более; скачу опять без ума; во всю дорогу видения разгоряченного воображения меня преследуют. Вижу, народ зыблется в Кремле; слышу, кричат: „Подавайте царевну!..” Вот палач, намотав ее длинные волосы на свою поганую руку, волочит царевну по ступеням *Красного крыльца*, чертит ею по праху широкий след... готова плаха... топор занесен...

брызжет кровь... голова ее выставлена на позор черни... кричат: „Любо! любо!..” Кровь стынет в жилах моих, сердце замирает, в ушах раздается знакомый голос: „Отмсти, отмсти за меня!..” Смотрю вперед: вижу сияющую главу Ивана Великого и, прилепясь к ней, сыплю удары на бедное животное, которое мчит меня, как ветер. Вот я и в городе! Концы Москвы пусты; Москва вся на площадях и в Кремле. Видения мои сбываются: народ волнуется, шумит, толкует об открытии заговора, о бегстве царя Петра Алексеевича с матерью и молодою супругою в Троицкий монастырь; войско, под предводительством Лефортова[95] и Гордона, собирается в поход; сзывают верных Петру к защите его, проклиная Шакловитого[96], раздаются угрозы Софии. Лечу во дворец, прямо в комнаты царевнины. Толпа служителей встречает меня слезами, похоронными возгласами, рыданиями. Не помню ног под собою; хочу и боюсь спросить, что делается с моею благодетельницею; наконец осмеливаюсь – и мне отвечают только, что она в крайней опасности. Услышав из ближней комнаты мой голос, она отворяет

дверь и кличет меня к себе. Вхожу. Она одна. Лицо ее помертвело; на нем ясно отражается последняя борьба душевного величия с отчаянием; голос, привыкший повелевать, дрожит; честолюбивая царица – только несчастная женщина. „Друг мой! – сказала она, обняв меня и обливая слезами. – Петр Алексеевич ищет моей конечной гибели. Распустил слух в народе, будто я готовила заговор, которым хочу истребить меньшого брата, мать его и всех его приближенных, и скрылся в Троицкий монастырь. Враги мои подкупают народ, стрельцов; все покидают меня, все винят несчастную в злодеянии. И на уме не имела... Разве вынудит меня защита собственной жизни... Меня ожидают монастырь или плаха. Скажи, что делать мне?“ Исступленный, я предлагаю ей свою руку, своих приятелей, решаюсь отправиться с ними к Троице, пока войска туда еще не пришли, даю клятву проникнуть в обитель до Петра. София благословляет меня на это злодеяние, снабжает меня золотом, драгоценными вещами, письмом, советами, и я, с десятью, по-видимому, преданными мне стрельцами, в следующую ночь у

стен монастыря. Только через сутки отворяют нам вход в него сквозь трещину *Каличьей* башни: деньги и драгоценности, данные мне Софиею, оставлены у приятеля Денисова, жившего в посаде Троицком. Из десяти товарищей остается у меня половина; прочие упились вином или разбежались, услыша, что войска на дороге из Москвы. В оставшихся товарищах вижу нерешительность; они, однако ж, следуют за мной. Позади церкви Смоленской Божией Матери скрываемся в ветхой, необитаемой келье *монаха оружейного*. Отсюда видно всех, кто ни выходит из *Государевой палаты*; отсюда сторожим свою жертву. Петру со своею матерью идти на утреннюю молитву в одну из церквей монастырских (молодая супруга его нездорова); в храме Божьем должно совершиться злодеяние. Время дорого; рассуждать и откладывать некогда. Мне, как любимцу Софии, предоставлена честь быть мстителем ее и убийцею Петра. Ласточка встrepенулась и щебечет на гнезде, прилепленном к окну, у которого стоим; заря занимается. Взоры мои сквозь решетку окна устремлены на *Государеву палату*, ищут ад-

ской цели и встречают одни святые изображения. Божия Мать улыбается улыбкою неба, смотря на Предвечного Младенца; Иисус на вечери учит апостолов Своих любви к ближнему и миру; далее несет Он с покорностию крест Свой; ангелы радостно порхают около престола своего Творца... и все кругом меня говорит о добре, о невинности, о небе, и все тихо святою тишиной. А я, несчастный, к чему готовлюсь? В жилах моих кипит кровь, в груди возятся дьяволы. Отвращаю взоры от святых предметов, и предо мною гробница Годунова; на ней стоит младенец с перерезанным горлом, с кровавыми струями по белой одежде, и грозит мне. Совесть! ты это была; ты предстала мне в виде святого мученика и встревожила все мое существо. Еще руки мои чисты; еще не вступал я в права творца своего! Есть время одуматься... В колокол ударили к заутрени. Я встрепенулся. „Идут!” – сказал один из моих товарищей. Смотрю: царица Наталья Кирилловна, опираясь одною рукою на посошок, другою крестясь, пробирается по тропе между гробницами; за ней – Петр Алексеевич, отряхивая черные кудри свои, как

будто отрясая с себя ночную лень. С другой стороны покашливая, бредет старик монах. Сердце у меня хочет выскочить из груди. Забыто все; вижу только своего врага, помню только клятву, данную Софии. „Не здесь ли?“ – говорю своим товарищам. „Видишь, сколько мелких камней на кладбище, – отвечает один, – есть чем оборониться, да и монахи бегут... лучше в церкви“.– „Не отложить ли совсем?“ – прибавляет другой. Прочие молчат; я молчу и гляжу, как монах, дрожащий от старости, большим ключом силится отворить дверь в Троицкий собор, как нетерпеливый Петр вырывает у него ключ и железные, огромные двери с шумом распахиваются. Выбегаю стремглав из кельи, пролетаю двор и – в церкви. Святыня, вместе с холодным, сырым воздухом, веющим от стен, обхватила меня; темный лик Спасителя грозно на меня смотрел; толпа праведников двигалась, росла и меня обступила. Невольно содрогнулся я и остановился посреди церкви. Оглядываюсь: три товарища, следовавшие за мной, стояли у входа в нее, не смея войти. В это время царица Наталья Кирилловна и сын ее молились

на коленях пред царскими дверьми. Вероятно, услышав за собою необыкновенно смелую поступь, она оглянулась, вскрикнула: „Стрельцы! злодеи!” – с ужасом ухватила Петра за руку и прямо опрометью бросилась с ним через царские двери в алтарь. Я за ними через порог святая святых, с ножом в руке. Престол нас разделяет. Петр останавливается; то грозно смотрит на меня, то ищет, чем оборониться. Мать силится загородить его собою, указывает мне на распятие, на образ Сергия-чудотворца, умоляет меня именем Бога и святых пощадить ее сына и лучше убить ее, если нужна кровь Нарышкиных... Я вполонину побежден; но делаю над собою усилие, преследую Петра, настигаю... уже заносу нож... Раздается крик матери, ужасный крик, раздравший мне душу, поворотивший мне всю внутренность, крик, отзывающийся и теперь в груди моей... Движением, которое я сделал, чтобы поймать свою добычу, падает с жертвенника распятие... Один из моих товарищей грозно взывает ко мне: *„Постой, не здесь, не у престола; в другом месте он не уйдет от нас!”* Бьют в набат – и все в одно мгновенье!..

Я упал духом; рука, не искусившаяся в делах крови, осталась в нерешительности действовать. Этот миг спас Петра и Россию!.. Слышу, несколько монахов хватают меня сзади и вырывают нож. Связанный, я брошен в какой-то погреб. Сколько времени я пробыл в нем, не знаю: перемены дня там не означались; помню только ночь, длинную, как вечность, жажду, голод, постель в луже, ледяное прикосновение гадов, ползавших по мне, и муки душевные, последствия злодеяния бесполезного!

Наконец я услышал глухой стук в стене. Была ли то весть казни или спасения? Сердце мое замерло при этой мысли. Несколько камней упало близ меня, и вслед за тем что-то тяжелое втащили, развязали и бросили на землю. Это брошенное захрапело ужасно. Голос произнес тихо, но твердо: „Где ты, Последний Новик? Именем царевны Софии Алексеевны дай мне руку”. – „Вот она!” – сказал я, ощупав незнакомца, на голос которого пошел. „Теперь разденься и брось здесь свой кафтан”, – продолжал он. Мне пришло на мысль, что для спасения моего хотят заменить меня другим,

что этот другой вместо меня должен положить свою голову на плаху, и я сначала поколебался было исполнить волю незнакомца; но любовь к жизни превозмогла – я предался своему избавителю. Мы продрались через лазейку, сделанную довольно высоко в стене, нашли за стеной другого человека, нас ожидавшего, заклали искусно отверстие камнями, поползли на четвереньках по каким-то темным извилинам, очутились в башне; с помощью веревочной лестницы, тут приготовленной, взлезли на высоту, в узкое окно, оттуда на крышу, карабкались по ней, подражая между тем мяуканью кошек, и потом впрыгнули в слуховое окно. Темная ночь, не позволявшая различать предметы, способствовала нашему побегу. Не скажу, где и у кого я очутился: тайна эта умрет со мною. Несколько недель жил я под полом, слышал оттуда барабанный бой пришедшего к монастырю войска, вопли, исторгаемые пыткой на монастырском дворе, радостные восклицания народа; слышал рассказы, как около монастыря поднялась такая пыль, что одному другого за два шага нельзя было видеть, когда свели

преступников из обители и из Москвы на одно место; как Шакловитый, снятый с дыбы, просил есть и, наконец, как совершилась казнь над злодеями. Кому отрубили голову или вырезали язык, кого били кнутом, сослали в вечное заточение. В числе последних был князь Василий Васильевич, виновный в том, что с обстоятельствами не изменил своей преданности к царевне и благодетельнице своей; в числе первых был – Последний Новик. Можно было судить, что я чувствовал, слушая такие рассказы.

Когда я хотел узнать, каким образом могли заменить меня другим в тюрьме и на плахе, избавитель мой объяснил мне, что мой двойник был один из моих товарищей, прискакавший со мною к Троице для убиения царя, что Андрей Денисов, приехавший вслед за мною по приказанию Софии Алексеевны, нашел его у постоянного двора в таком мертвом опьянении, что, если бы вороны глаза у него клевали, он не чувствовал бы ничего. Состоянием этим воспользовались, положили его в мешок и притащили в мое заключение. Монахи пришли взять меня оттуда, и хотя тотчас до-

гадались о подмене заключенного, но, видя, что вход в тюрьму был в прежнем крепком состоянии, приписывая этот случай чуду или напущению дьявола и более всего боясь открытием подмена заслужить казнь, мне приготовленную, сдали моего двойника, под моим именем, солдатам, а эти – палачу. К обману способствовала много густая пыль, о которой я говорил, и приказ царский казнить меня без допросов. Исполнители казни работали живо, прибавлял мой избавитель: им все равно было, чья голова или чей язык летели под их рукою, лишь бы счет головам и языкам был верен. Немудрено также, что палача задарил Денисов.

Я не мог быть выпущен из монастыря тем путем, которым в него вошел; у всех башен стояла уже крепкая стража. Надо было дожидаться выезда царя с его семейством из обители. Я дождался этого выезда; буря миновала; днем, во время обедни, выпустили меня из моей засады и ворот монастырских. Узнать меня нельзя было в рубище, с искривленною на одну сторону шеею, со спущенными на лицо волосами; я проскользнул в толпе убогих,

которых мой избавитель собрал для раздачи им милостыни. В ближней деревушке нашел я Андрея Денисова, имевшего в готовности двух бойких лошадей, – и... с этого времени я изгнанник из родины!»

На этом месте остановился чтец, как для того, чтобы отдохнуть, так и дать своим товарищам сообразить рассказ Новика со слухами о происшествиях тогдашнего времени. Исполнив то и другое, принялись снова за чтение.

Глава шестая

Продолжение повести

*То песнь про родину мою:
Я день и ночь ее пою.*
Барон Розен

«Пусть запретят вам выезжать в какой-либо город, и это запрещение покажется вам мучительным наказанием: что ж должен чувствовать тот, для кого навсегда заперта дорога в отечество? Изгнанник, подобный мне, может только понять мои чувства. Теперь только узнал я цену того, чем обладал и что потерял безвозвратно. Эта ужасная извест-

ность переменяла мой нрав. Куда девались мечты честолюбия! „О Боже мой! – говорил я, обливаясь слезами. – Сделай меня самым бедным, ничтожным из смертных, хоть последним крестьянином села Софьино, и за это унижение отдай мне ее, отдай мне родину”. Тринадцать лет, каждый день с усиливающейся по ней тоскою, творю эту молитву, и доныне по-прежнему странником в чужбине.

Мы ехали все на север. Дорогою по временам обгоняли толпы раскольников, пробиравшихся по тому же направлению. При виде моего спутника они останавливались, спрашивали его советов, помощи и никогда не оставались без того и другого. Андрей знал хорошо пути к человеческому сердцу и мастерски умел пользоваться его слабостями; от природы и учения красноречивый, он был богат убеждениями духовными; также и в вещественных пособиях не нуждался. Все драгоценности и деньги, данные мне Софиею Алексеевною, получил он обратно, по назначению моему, от того человека, кому я их вверил, да и сам товарищ мой напутствован был такими же щедрыми дарами царевны. Дорогой имел

я случай выведать, что переселение на север нескольких сот семейств русских делалось вследствие видов Денисова, давно обдуман-ных и искусно расположенных, и имело целью со временем противопоставить на всех концах России враждующую силу царю из рода Нарышкиных. Этою силою, неколебимою своим невежеством, руководствовала нередко София в свою пользу, но, не приобретя для себя ничего, удовлетворила только жадному властолюбию своего клеветы. Впоследствии узнал я, что главным условием ее богатых милостей как ему, так и основанным им поморским скитам, которых он сделался патриархом, была передача мне в наследство этого чиновничества. Разрыв его со мною должен был увлечь за собой и разрыв с ним Софии: тем важнее было для него не потерять меня.

По прибытии нашем за Онегу возникли мало-помалу русские селения из болот и лесов; жизнь общественная заговорила в пустынях. Меня ничто не занимало, даже и сулимое мне владычество. Я не мог выдержать более года в Выговском ските. Проклиная виновников своего несчастья, для которого они меня с

младенчества воспитывали, с тоскою, которую не в силах вырвать из сердца, как будто стрелу, в него вонзенную и в нем переломленную, я бежал... назад идти не мог... я бежал в Швецию. Ничего не взял я с собою, кроме гуслей, неоцененного дара доброй Кропотовой, освященного чистою, бескорыстною любовью ко мне (они доставлены мне в скит через одного раскольника, совершенно преданного Софии Алексеевне).

Переходя из страны в страну, убегая от родины и находя ее везде в своем сердце, я провел несколько лет в Швеции. Игра на гуслях и пенье доставляли мне насущный хлеб. Песни, сочиненные мною на разные случаи моей жизни, переносили меня в прошедшее и облегчали грудь мою, исторгая из очей сладкие слезы. Молва о московитском музыканте переходила по горам и долинам; на семейных праздниках, на свадьбах мне первому был почет; все возрасты слушали меня с удовольствием; старость весело притопывала мне меру; юность то плясала под мою игру, то горько задумывалась. Везде есть добрые сердца; в Швеции я нашел их много, очень много. Го-

степриимство и любовь приглашали меня не раз в свои семьянины. В горах Далекарлии, у одного богатого мызника, меня особенно ласкали. Он был в преклонных летах и, кроме дочери, не имел детей. Старик уговаривал меня войти к нему в дом вместо сына. „Остался бы, добрый старик, – говорил я, – кабы мог забыть здесь родину”. Дочь его, прекрасная, статная, рослая, как бы от земли тянуло ее к себе небо, каждый день более и более опутывала меня своею любовью. Часто, слушая мои песни, она с нежностью останавливала на мне свои черно-огненные глаза, от которых хотел бы уйти в преисподнюю; нередко слезы блистали на длинных ресницах прекрасной девушки. „Добрый странник! – сказала она мне однажды, победив свою стыдливость. – Остайся с нами, я буду любить тебя, как брата, как...”

Потупленные в землю очи, дрожащие уста, волнение девственной груди договорили мне все, что она боялась вымолвить. „Не хочу обманывать тебя, милая! У меня в России есть уже невеста; не снять мне до гробовой доски железного кольца, которым я с нею обручился”, – отвечал я ей и спешил удалиться от жи-

лица, где, на место невинных радостей, поселил беспокойство. Так один взгляд сатаны побивает жатвы, чумит стада[97] и вносит пожары в хижины!

Судьба привела меня в Стокгольм в 1694 году, когда весь город шептал (говорить громко истину при Карле XI не смели) о жестокостях редуccionной комиссии, о явке к верховному суду депутатов лифляндского дворянства, о резких возражениях одного из них, Паткуля, отличавшегося своим красноречием, умом и отвагою, и, наконец, о приговоре, грозившем этим представителям народным. Любя все необыкновенное, я старался узнать этого великого противника неправосудной власти. Игрую на гусях перед его окнами я привлек на себя его внимание. Он полюбил меня с первого дня, как увидел, разгадал меня, исторгнул из унижения своим вниманием и дружеским обращением и умел возбудить во мне такое участие, что я вскоре поверил ему тайны своей жизни. Эта откровенность и несчастья, ему грозившие, скрепили еще более союз наш. Со своей стороны, он старался, по возможности времени, образовать меня и

рассказами о подвигах Петра с того дня, как я оставил Троицкий монастырь, успел возбудить во мне удивление к этому государю. Иностранец раскрыл для меня все, что козни царевны Софии Алексеевны имели в себе ужасного; от него узнал я, в какую бездну повергнул бы Россию, убив с Петром ее просвещение и благоденствие.

Смертный приговор Паткулю был подписан. Он бежал, письмом своим вверяя меня приятни хорошего знакомца своего, Адама Бира, профессора в Упсальском университете.

Бира не застал я уже в университете, из которого изгнала его несправедливость, существующая, как видно, везде, где есть люди. Я нашел его в бедности, однако ж не в унынии. Он учил детей своего прихода читать и писать и этой поденщиной едва снискивал себе пропитание. Письмо Паткуля сблизило нас скоро. С простодушием младенца Бир соединял в себе ум мудреца и благородство, не покоряющееся обстоятельствам. Счастливым себя считаю, если мог сделать что-нибудь для него в черные дни его жизни.

За то чем не заплатил он мне! Он научил

меня истинам высоким, раскрыл для меня таинства природы, обошел со мною рука с рукой весь мир, заставил полюбить великие образцы Греции и Рима – одним словом, показал мне человека, каков он был и есть, и человечество, как оно будет некогда. В купели его мудрости я обновился; я полюбил добродетель для нее самой и отечество мое с самоотвержением. Мысль очистить себе путь на родину благородными подвигами, служением ей истинно полезным заброшена мне в сердце его уроками. Во сне и наяву я только мечтал, как осуществить эту мысль.

Скоро наступил конец искушению, которое угодно было Провидению послать моему второму отцу. Сестра его, одна из ученейших женщин своего века, знавшая несколько языков, в том числе и латинский, как свой родной, призвала его в Стокгольм, откуда отправила в Лифляндию, в воспитатели к дочери баронессы Зегевольд. Наследство, лучшее, какое он мог мне оставить, было поручение моему дружескому вниманию одного необыкновенного создания. Сын бедного кожевника изпод Торнео, с душою, пожираемою небесным

огнем вдохновения, бежавший от объятий отца и ласк родины, чтобы сообщить другим этот огонь, солдат, странник, студент и, наконец, слепец в доме умалишенных – вот дивное творение, которое наследовал я после Бира. Имя его Конрад. Сильные душевные потрясения, кипучее воображение, занятия ума, никогда не довольного тем, что знает, и пытающегося добраться по цепи творения до высочайшего знания, расстроили его рассудок. Голос мой первый воззвал его к деятельности; это был первый сочувственный звук, ударивший по струнам его сердца. Оно уразумело меня, и с того времени слепец шел всюду за мной, как будто привязанный ко мне невидимую цепью. Оба с пламенной душой и воображением, с одинаковыми наклонностями, оба несчастные, униженные судьбою, но не терпящие унижения от подобных себе, мы сопряглись на земное житие и рука с рукой пошли по миру. Как он любил меня! Родство, друзей, родину, свет божий – все заключил он во мне. Семь лет ему ничего не было известно обо мне, кроме моего имени и мнимого моего отечества, Выборга; но слепец внутренними

очами прочел мои тайные страдания, узнал из моих бесед о России (в которой, по словам моим, я столько странствовал), узнал, что она мое отечество, и похитил заключенные в сердце моем роковые имена людей, имевших сильное влияние на жизнь мою. Желания мои угадывал он, как Провидение, волю мою исполнял, как раб, купленный благодеяниями. Он был у меня последнее, единственное благо на земле. Судьба и в этом мне позавидовала. Его уже нет. Горькие слезы льются из глаз моих: начертывая эти строки, стою, мнится мне, с заступом перед его могилою и готовлюсь засыпать его навеки землею.

Сердце влекло меня в Лифляндию; там я мог быть ближе к своему отечеству. Мы переплыли сердитые воды Бельта; мы в стране, где имена Юрьева, Новгородка Ливонского, Ракобора напоминали мне о владычестве над нею русских. Долго новый край и люди не приносили ничего нового душе изгнанника; в ней все та же тоска по родине. Одною отрадою мне было ходить по несколько раз в год за Новгородок Ливонский на гору Кувшинову, как бы на поклонение моему отечеству: отту-

да я мог видеть крест Печорской обители, зажигаемый лучом солнечным; оттуда мог я молиться русской святыне. По целым часам смотрел я на эту звезду утешительную, и только ночь уносила с нею мои радости; поутру дожидался я, когда опять взойдет мое светило и даст мне приветный знак от родного края.

В виде странствующих музыкантов мы протоптали перекрестные следы по всей Лифляндии. На мызах баронских, в шведских лагерях и казармах, в латышских и чухонских хижинах я был известен под именем Вольдемара из Выборга; твердое знание языка шведского много способствовало мне к сокрытию настоящего моего отечества. К удивлению моему и даже страху, в одно посещение мое лекаря Блументроста на мызе его, близ Мариенбурга, он начал говорить мне наедине о России, о готовившейся войне, о пользе, какую мог бы я извлечь, служа в это время (кому, не объяснил); говорил мне о Паткуле, как о человеке, ему весьма известном, и, наконец, дал мне знать догадками, кто я такой. Именем Бога умолял я его объяснитьсь. С меня взята

клятва, самая ужасная, молчать обо всем, что я ни увижу и услышу. „Мне ничего не известно, – сказал доктор Блументрост. – Но вот человек, который угадал в Вольдемаре из Выборга, по приметам, мною описанным, кто он, и который откроет тебе более”. Он снял картину со стены и ударил три раза в ладони. Отворилась маленькая дверь, и передо мною явился – Паткуль. Мы обрадовались друг другу: сердце мое предугадывало в нем моего спасителя; он не скрыл, что на мне основывает великие надежды свои. Уверясь в постоянстве и твердости моих чувств, Паткуль открыл мне, какими жертвами я могу купить прощение Петра Алексеевича и приобрести свое отечество. Душа моя взыграла надеждами: я на все решился; я закабалил себя в шпионы...»

Чтобы не наскучить читателям повторением того, что они уже знают из предыдущих частей нашего романа, оставляем здесь рассказ Последнего Новика; но извлекаем из этого рассказа только то, что нам нужно дополнить для ясности и связи происшествий.

Новик, от природы строптивый, пылкий, нетерпеливый, взялся нести на себе ярмо ужасное и постыдное; притворствоваться, обманывать, продавать себе подобного – такова была его обязанность! Но в награду ему обещано отечество, и нет жертвы, на которую бы он не решился за эту цену.

Предвестники Северной войны разыгрывались. Согласно наставлениям Паткуля, Новик явился к генерал-фельдвахтмейстеру Шлиппенбаху, знавшему его прежде и любившему за игру на гусях; открыл, что он русский, любимец Софии, беглый стрелец, хотевший убить Петра I, что он и теперь питает к царю сильную ненависть, которую желает и может доказать услугами своими шведам. Он подкуплен Паткулем, прибавлял Новик, выведывать движения войск в Лифляндии и дух тамошнего дворянства; он должен вести с ним переписку; в доказательство представил несколько писем, полученных от него будто бы через раскольников, и, наконец, брался, несмотря на предосторожности хитрого изменника и врага Швеции, заманить его со временем в западню, откуда ему не вырвать-

ся. В искренности речей Последнего Новика нельзя было сомневаться: драгоценный образ на груди его, дар царевны, письма Софии в Выговский скит, которыми она убеждала своего питомца не покидать своей цели и надеяться, что правое дело скоро восторжествует; письма самого Паткуля – каких лучше свидетельств мог требовать Шлиппенбах? Генерал-фельдвахтмейстер всему поверил и предался своему лазутчику. Чтобы лучше обманывать Паткуля, обещано передавать ему время от времени известия о том, что делалось в шведском войске. Денежных наград шпиону не жалели; милостей безденежных насулено еще более в случае хорошего исполнения; за измену обещана виселица. Но какая польза была Новикку изменять? В России ожидает его плаха, а здесь, в Лифляндии, под покровом шведского могущества, он может выйти в люди и разбогатеть! Условия сделаны, и Последний Новик, под именем Вольдемара из Выборга, снабжен от Шлиппенбаха охранным листом, которым, по высочайше дарованной военачальнику власти, велено по всей Лифляндии и в шведском войске *чинить*

предъявителю всякое пособие и покровительство. Первый опыт усердия его к пользе шведов был, по виду, жесток для противной стороны.

Война Северная все еще таилась под личиною дружеских уверений. Посланник польский (Карлович), исполнив с Паткулем свои дела в Москве, возвращался санным путем через Ригу. Товарищ его обходил южный край Лифляндии, засевая везде неудовольствия к шведскому правительству, и, среди забот политических, увлеченный сердцем, не оставил заплатить дань природе и взглянуть на свое родное пепелище. Посланник просил коменданта рижского Дальберга пропустить через крепость обоз его, вслед за ним ехавший. Дано обещание. В обозе скрывалось множество оружия; при въезде его в крепость должен был ворваться в нее отряд польских драгун, стоявший на границах Курляндии; от недовольных и подкупленных в Риге ожидали помощи. Стратагема оказалась неудачною, и потому Владимир дал о ней знать коменданту. Взяты все предосторожности встретить неприятеля; последствия известны: незва-

ных, но жданных гостей встретили и с уроком проводили; война открылась. С этого времени Последний Новик приобрел полную доверенность той стороны, которую обманывал. В продолжение же войны неоднократно утверждал он Шлиппенбаха в этом чувстве к нему новыми опытами своего усердия, большею частью запоздалыми, не имевшими значительной ценности, но выставленными так искусно, что принимались в высоком курсе. Мы видели, какой перевес имели перед этими действиями верность и преданность стороне русской, которой он доставлял вовремя неоцененные сведения через Паткуля, Ильзу и – кто подумал бы? – через Мурзенку. Управляя всеми движениями сокровенной политики своего истинного доверителя, он все знал о действиях прочих лазутчиков его, но сам, с глубокими тайнами своей должности, известен был только одному ему и его служителю, Фрицу. Даже Никласзону, усердному, но коварному агенту его, выставлен Вольдемар шпионом от шведов. Жертвы, принесенные Последним Новиком на алтарь отечества, куплены дорогою ценою унижения, необык-

новенных трудов телесных и умственных, сильных душевных страданий – достойные жертвы для искупления его проступка и получения награды, столь пламенно преследуемой! Но судьба обвила свою жертву крепкими, нерасторгаемыми узами, как змеями, которыми опутаны были Лаокоон[98] и дети его...

Объяснив действия Владимира, столько способствовавшие русским к завоеванию Лифляндии, дополним из его жизни небольшие промежутки в происшествиях, которые помешали ему насладиться плодами своих трудов.

Бегство его из Выговского скита очень встревожило Денисова, боявшегося потерять с ним милости Софии, все еще продолжаемые скиту на прежних условиях. Царевна-инокиня, уму которой удивлялся сам Петр Великий, знала все, что делалось за стенами монастыря не только в отечестве ее, но и при дворах иностранных. Известно, какие слухи распустила она в Вене, во время путешествия своего брата по Европе, и сколько эти слухи поколебали было политику Австрии. Удивительно ли после того, что София проведала о бегстве своего

питомца из скита и потом о появлении его в Лифляндии? Преследуя народные слухи, она отыскала солдата, бывшего под Эррастфером и отпущенного за ранами из армии Шереметева на свою родину в Москву. Он рассказал ей все обстоятельства сражения, и София в спасителе отряда Лимы угадала своего любимца. Догадки устроили ее тем более, что во время бунта 1698 года, кончившегося ужасным зрелищем нескольких сот человек, повешенных перед ее окнами, постельница ее под клещами пытки открыла правительству важную тайну, касавшуюся до царевны и Последнего Новика, и потому, боясь за него, боясь за себя и негодуя, что ее любимец предался стороне, ей ненавистной, София писала к Денисову убедить Владимира возвратиться в скит, а если убеждения не подействуют – употребить самые сильные меры к недопущению его в Россию, хотя б это стоило ему жизни. Денисов, ободряемый милостями царевны, дружбою к роду Милославских (*коего семя росло в России*, как изъяснялся Петр I) и, наконец, ненавистью к Нарышкиным, оттеснившим его некогда от важной государственной

должности, начал усердно отыскивать Владимира по Лифляндии и послал для преследования его староверов, преданных своему чиновнику. Старцу Афиногену первому удалось встретить его. Вестник этот открыл ему волю и угрозы царевны, увещания Денисова, страшную будущность, ожидавшую его в отечестве, и неизъяснимое блаженство, приготовленное в ските покорному сыну православной церкви. Когда ж послание его не имело никакого успеха, отправился, согласно данным ему наставлениям, в русский стан, под Нейгаузен, с подметным письмом. Мы видели, как он умер за бороду свою; видели, какие последствия имело самое свидание патриарха поморских изуверов с Владимиром в доме лесника. Остальное нам также известно.

Последний Новик кончил свое повествование признанием, что он изнемог под усиленными ударами судьбы, и просьбою к своим соотечественникам помолиться о спасении его души. Повествование было адресовано на имя князя Вадбольского, как человека, принимавшего в нем, по-видимому, сильное участие, — человека, от которого, за услугу свою

под Гуммельсгофом, ожидает он ходатайства за него у отечества.

Чтение истории Последнего Новика оставило грустное впечатление в сердцах собеседников. Вадбольского более всего тревожило сомнение, что тот, коего взялся он быть опекуном, не сын Кропотова; не менее того остался он верен своей привязанности к несчастному.

Усилили поиски по Новике, и все без успеха. Наконец, в один день, при очистке леса на ижорском берегу, солдатам попался на глаза богатый складень, дар царевны, сорванный убийцею с груди своей в минуту величайших его страданий и брошенный в кусты. Драгоценная находка представлена фельдмаршалу; объявлено по войску, не отыщется ли хозяин. Как скоро Вадбольский взглянул на образ, тотчас отгадал, кому он принадлежит. Место, где он найден, освидетельствовано. Близ него, по разным частям леса, валялись человеческие кости. (Вероятно, что тело Денисова в мучениях предсмертных свалилось с костра, на который положил его *жидовин*, и потом

расхищено зверями.) Не оставалось сомнения для друзей Последнего Новика, что он или убит раскольниками и растерзан волками, или просто сделался жертвою последних. Мурзенко, узнав об этом, бросился палить раскольничьи селения и забирать их сотнями, отсылая в Россию.

Долго горевали о Последнем Новике, еще дольше о нем говорили и наконец забыли его, как забывают в мире все, что в нем не вечно.

Глава седьмая

Две сцены из 1704 года

Родная! где же ты? Увидимся ль с тобой?

Приди; я жду тебя все так же сиротою —

*И все на камне том, и все у церкви той,
Где я покинут был тобою!*

Козлов

*Носилки, гроб, да заступ, заступ,
Да черное сукно.*

*Да три шага земли, земли,
Нам нужны всем равно.*

«Гамлет», перевод М. В.

В один летний день 1704 года, когда звон вечерний тяготел над Москвою, шел нищий, один-одинехонек, по обширному полю, расстилавшемуся от города до Новодевичьего монастыря. Этот нищий не походил на своих собратьев: рубищам и суме изменяло какое-то благородство душевное; оно изображалось на его лице и нередко вспыхивало в его помутившихся глазах. Ему могло быть с небольшим тридцать лет; но заметно было, что удары гневной судьбы, наперекор времени, означались на всем его существе следами раннего разрушения. Это свидетельствовали лоб, изрытый глубокими бороздами, седины, пробившиеся сквозь смоль его волос, падавших в беспорядке по плечам, сторбленный высокий стан, дрожащие руки. Он нередко останавливался на пути своем, скидал шапку, как бы мыслил о святыне, осматривался кругом; казалось, то любовался зрелищем Москвы, возносившей золотые главы своих церквей из бесконечного табора домов, то восторженным взором преследовал блестящие излучины Москвы-реки и красивые берега ее, то

прислушивался к звону колоколов. В это время стан его распрямлялся, пасмурное лицо светлело, слабый румянец пробежал по щекам, улыбка порхала на помертвелых губах, и в глазах его блистали слезы. В одно мгновение ока все изменялось. Как человек, смотря на солнце, вдруг ослеплён его блеском, он вздрагивал, опускал голову и взоры в землю и опять медленными шагами пробирался по тропе к Новодевичьему монастырю, нередко спотыкаясь о камни, попадавшие ему под ноги. Лицо его подергивалось облаком уныния; тяжелый вздох потрясал его грудь, и губы лепетали молитву покаяния.

Вот он у ворот монастырских осматривается кругом; руками, дрожащими более обыкновенного, творит крестные знамения перед образом Божией Матери; вот уже проходит монастырский двор и становится на паперти в ряду своей нищей братии. Между глубокими вздохами изученной скорби его товарищей не слышно его вздоха; он недвижим, как плита гробовая. Вечернее моление кончилось. Монахини выходят из церкви, и между ними одна... Кто под иноческим покрывалом

и рясою, под наружностью старухи не узнал бы в ней той, которая несколько раз силилась вырвать державу из могущих рук Петра Великого, которая чувствовала себя столько способною царствовать, но не была на то определена Провидением? Инокиня Сусанна видом все еще царевна София. Взор ее по-прежнему повелевает и очаровывает; невольным уважением преследуют ее ныне ей равные, подруги; кажется, все, ее окружающее, страшится еще в затворнице будущей владычицы России. Она раздает милостыню нищим; рука ее протянута к тому, которого мы изобразили... взоры их встречаются... деньги падают из дрожащих рук его... Она... Боже мой! на устах ее замирает слово, которое готова была произнести; смертная бледность покрывает ее лицо, и Сусанна падает на руки монахинь. С поспешностью уносят ее в келью.

Народ давно вышел из монастыря; храм пуст; нищий все еще стоит на прежнем месте. Кажется, он чего-то ожидает.

И вот – подходит к нему старая монахиня и шепотом зовет его за собою. Он повинуется; он в келье инокини Сусанны!

Они остались вдвоем; никто не слышал их разговора. Видели только, что, когда таинственный нищий выходил оттуда, слезы струились по разгоревшимся его щекам, прежде столь бледным.

С того времени Сусанна опасно занемогла.

Третьего июля, в шесть часов утра, в Новодевичьем монастыре ударили три раза с протяжною расстановкою в большой колокол. Таинственный нищий сидел на лавке у ворот монастырских; он вздрогнул, привстал и судорожным движением три раза перекрестился, возведя к небу полные слез глаза.

Скоро пронеслась весть, что инокиня Сусанна скончалась[99]. Перед смертью она приняла схиму под именем Софии – именем, которое носила, быв царевной и владычицей России!..

Пятого июля великолепная похоронная процессия наполняла пространство Новодевичьего монастыря. Множество народа сопровождало ее. Таинственный нищий шел за гробом.

Когда гроб стали опускать в землю, нищий хотел продрасться к нему ближе. Его отталки-

вали; но он сделал усилие... вскрикнул:

– *Пустите! она мне...* – Более не мог он ничего говорить и без чувств упал на землю.

Таинственный нищий был – Последний Новик. Он не выдержал; он пришел на родину.

Глава восьмая

Письмо издалека

*Какая б ни была вина,
Ужасно было наказанье.*

Пушкин

Дерпт и Нарва – последние твердые связи, которыми сердце Лифляндии держалось еще к шведскому правительству, – были взяты, и вслед за тем русские торжествовали над своими неприятелями ежегодно по нескольку побед на суше и водах. Сбывались предсказания Паткуля: мщение его делами отвечало на угрозы двух королей; почти вся Лифляндия принадлежала уже России. Вот все, что мы находим нужным сказать о происшествиях в четырех годах, последовавших за смертью Софии. Теперь попросим читателя на ковре-са-

молете воображения перенестись в 1707 год.

Шведские пленные были рассыпаны по многим городам России. Густав Траутфеттер проводил время своего скучного заточения в Коломне (за сто верст от Москвы). Квартира ему была назначена у одного богатого купца, смотревшего на постояльца своего, как обыкновенно невежественный класс русских смотрит на иностранца – существо, которое в глазах их есть нечто между человеком и животным. С ним вместе никогда не ели, не пили; для него была даже собственная посуда, оскверненная устами басурманскими. Впрочем, хозяин ласкал его, исправно натапливал печь в его комнате и потчевал его пирогами, говядиной и медом хоть до упаду. Надо прибавить, что щедрые денежные присылки от неизвестной особы давали ему способы жить прилично своему званию и даже помогать товарищам плена, большею частию содержавшим себя трудами рук своих. Нередко дочери хозяина, две пригожие девушки, из затворнических своих светлиц то бросали цветы в милого незнакомца, то нежили слух его заунывными песнями. Но Густав был равнодушен к

этим знакам сердечного внимания.

– Как! – скажут некоторые светские люди. – Как, быть верну пять лет? *C'est presque le siege de Troie!*[100]

Да, милостивые государи, он любил Луизу, как никогда еще: в разлуке, в плену, в обществе людей непросвещенных образ ее, не покидая его, всегда стоял у него на страже от всех искушений. Сердце Густава помнило только один дар любви, привет одних глаз, понимало только одно уверение, которое, казалось ему, произносила Луиза своим волшебным голосом: *«Густав! сказать ли мне, что я тебя люблю? Ты это давно знаешь!»* Взамен попечений о нем Паткуля, находившегося уже несколько лет посланником от российского двора при короле польском, не оставляли его благодеяния скрытного гения, присылавшего уже несколько раз известия о Луизе: *«Луиза здорова. При взятии русскими Дерпта с нею ничего худого не случилось. Есть верные известия, что она вас по-прежнему помнит и любит. Надейтесь!»* Вот что писали к нему в разные времена, услаждая таким образом грустное его изгнанничество. Ру-

ка была незнакомая. Сначала довольно поломал он себе голову, чтобы открыть, кто давал ему эти известия; но впоследствии оставил эту заботу, довольный, что есть человек в России, который желает ему добра. В 1707 году прекратились вдруг сведения о фамилии Зегевольд. Истомившись в надеждах на лучшую будущность и не видя им исполнения, он предался отчаянию. Все помрачилось в его глазах: и природа и люди. В первой, казалось ему, времена года изменили свой порядок, земля лишалась уже теплоты солнечной, отброшенная гневом Провидения в низшую сферу миров. Человек представлялся ему существом несчастнейшим, пущенным на эту земную глыбу для страданий. Неожиданное письмо, им полученное, сколько обрадовало его сначала почерком руки, написавшей адрес, столько же содержанием своим переполнило чашу горести, поднесенную ему судьбою. Письмо было от двоюродного брата его.

«Немало труда стоило мне сыскать случай доставить тебе это послание, милый брат и друг! – писал Адольф. – Оно сделает большие извилины, пока дойдет до тебя. Но, заво-

евав этот случай золотым орудием, не знаю, с чего начать письмо. Голова моя идет кругом, сердце так преисполнено горести, досады, негодования, что я не приберу для них выражений. *Суета сует и всяческая суета!* – вот слова, которые я, ветреник, каковым ты знавал меня, редко заглядывавший в Священное Писание, ныне твержу беспрестанно; вот слова, вырывающиеся у меня теперь из груди и служащие мне якорем для утверждения на них моего послания.

Ты счастлив! да, повторяю тебе, ты счастливее меня во сто раз. В скучном изгнании своем, в разлуке с милыми сердцу, ты вознагражден любовью Луизы, о которой – прости мне! – не могу говорить и до сих пор без того, чтобы средь бела дня у меня в глазах не мутилось и сердце не поворачивалось, как в смольном кипятке. Ты знаешь, что прелестнейшая из женщин тебя любит; ты обладаешь еще благом ни с чем не сравненным – надеждою! А я?.. растеряв свое сердце по всем дневкам наших походов, убегая отечества, разоренного и едва ли не завоеванного русскими, убегая мест, где каждый шаг напоминал мне

стыд нашего оружия, еду в главную армию, чтобы отдохнуть хотя среди побед моего короля и славы шведов, – и что ж? Как будто нарочно, приезжаю к цели своих желаний для того только... Ты знаешь, что я не трусливого десятка, видал довольно хладнокровно смерть в разных ее карикатурных образах на полях битв; но, собираясь начертать тебе роковые слова, дрожу, как в лихорадке, и не могу совладеть с пером. Дай мне настроить свои силы, чтобы приступить к ужасному описанию; собери и ты все присутствие своего духа, чтобы читать его. Начну издалека и опять обопрусь на якорь священных слов: *суета су-ет и всяческая суета!*

После письма, которое я старался доставить тебе надежными путями и в котором описывал подробно все, со мною или, лучше сказать, с нами случившееся с того времени, как мы расстались[101], заключен я был в Дерпте до взятия его русскими. Лифляндцы отстаивали крепость, как любовник милую ему особу от нападения соперников; однако же не устояли против множества осаждавших, личного мужества и искусства венчан-

ного героя. Да, милый друг, и я теперь скажу: Петр – герой истинный! Гарнизон, по условию, должен был выйти из крепости без знамен и оружия; но великодушный победитель, уважив в неприятелях необыкновенное мужество, с которым они противились ему, возвратил офицерам шпаги и третьей части солдат их ружья. Признаюсь, такой поступок от повелителя диких народов тронул, восхитил меня. Я смотрю теперь на Петра другими глазами, без предубеждения, которое мы привыкли питать к нему.

Приехав в главную армию, я застал короля на торжественной колеснице, отнимающего венцы и раздающего их. Все трепетало имени шведского. Что ж из этого для нашего отечества? – думали лифляндцы и по-прежнему шли проливать свою благородную кровь за упрямство короля.

Август, скитаясь изгнанником по Польше, старался малодушными жертвами умиливать победителя: преклонив колена, он молил о пощаде. Карл требовал, чтобы противник его навсегда отказался от польской короны в пользу Станислава Лещинского[102], и –

кто б помыслил, чтобы завоеватель царств, даривший их, как игрушки, жадничал более всего приобретения одного человека? – он потребовал выдачи Паткуля. Министры Августовы не любили нашего дяди за его резкий, благородный до излишней смелости характер и особенно за то, что он, быв предан выгодам своего нового государя, Петра I, всегда предупреждал козни поляков против него. Это был гром, заставлявший грешников перекреститься. Сам Август видел в Паткуле зоркого, неподкупного соглядатая всех своих действий, слабых, двусмысленных и не всегда благородных. Его польско-саксонское величество имело крепко на сердце, что посланник при дворе его потребовал от него некогда отчета в *субсидных* деньгах, присланных верным союзником и употребленных королем на подарки разным женщинам; он знал также, что Паткуль следил все намерения его сблизиться с Карлом и своею политикою мешал этому сближению. Одним словом, Паткуль был пожертвован малодушию Августа, зависти и недоброжелательству его министров и мщению Карла.

Все, что будешь читать теперь, почерпнуто из следственного дела, находившегося у меня в руках, и из сведений, изустно мне переданных лицами, разыгрывавшими ужасное происшествие, какому не было еще примера. Много, что описываю, видел я собственными глазами.

Оставив неудачное командование над русскими войсками в Польше, Паткуль находился то в Дрездене, то ездил в Берлин. Возвратясь из Пруссии к саксонскому двору, в занятиях литературных находил он сладостный отдых от трудов политических. Как бы предчувствуя скорый конец своего бурного поприща, он написал несколько сочинений, служащих к оправданию его действий с того самого времени, как избран был ходатаем за права своих соотечественников у престола шведского. Хиромантия[103], которую, как известно тебе, любил этот необыкновенный человек, похищала также немало времени из жизни столько деятельной, которая бы могла быть столько полезною для его отечества, если бы своекорыстные расчеты одного короля и мщение другого не отняли его у нашей бедной Ли-

фляндии. Наконец на сорок втором его году, Гименей готовился поднести ему самый роскошный цветок, какой родился в садах мира: прелестная саксонка Ейнзидель уже с кольцом обручальным отдала ему свое сердце. Между тем коварная судьба, усмехаясь, точила свои орудия на жертву, которую за несколько часов сама окружила всем очарованием земного счастья. Девятнадцатого декабря[104] 1705 года, в одиннадцать часов вечера, только что успел он лечь в постель и уснуть, вероятно с приятными грезами, исполнители власти, слишком малодушной и несправедливой, чтобы действовать днем, вторгаются в квартиру нашего дяди, будят его без всякой жалости и снисхождения, обыкновенно в этом случае оказываемых даже преступникам, не дают ему времени одеться и за строгим караулом увозят его в крепость Зонненштейн. Там бросают его за железную решетку и оставляют несколько дней без пищи. Бумаги его запечатаны; секретари, кроме Никласона, умевшего и на этот раз выпутаться из беды, и служители заключены также по разным отделениям крепости. Один

Фриц, обреченный еще раз служить его избавлению, находился в то время, по делам своего господина, в Берлине. Слух о необыкновенном заточении посланника бежал скоро по всем дорогам и встретил верного служителя на возвратном пути его. Он прибыл-таки в Дрезден, но, укрываясь у друзей своего господина, посвятил всего себя его спасению. Взялась содействовать ему в этом деле – кто? как бы ты думал? – дочь пастуха! Да, любезнейший друг, теперь только узнал я, что может женщина, которая *любит!*.. Это дивное создание, перед которым все возвышенное, все благородное должно пасть на колена, швейцарка Роза. Дочь бедного пастыря, вызванная вместе с отцом своим из Альпийских гор, где Паткуль укрывал некогда свою изгнанническую голову, она имела несчастье предаться всею душою этому обольстительному сыну рока. Отца, родину, долг променяла она на любовь; весь свой мир вместила в нем в одном. Когда Роза, вместе с отцом, возвращалась с мызы Блументростовой в Швейцарию и когда узнала, что он ни за что не решается идти в Дрезден, где любовником ее на-

значено ей было свидание, она бросила старика и понесла свои великие жертвы к ногам своего идола. Один взгляд любви заставил бы Розу все забыть, кроме этой любви. Каков же был для нее удар, когда она с трепетом сердечным, с мечтами о сладостной награде, прибыв в Дрезден, узнала на пороге Паткулевого жилища, что он сговорен на Ейнзидель! Эта весть была для нее ударом громовым. Несколько дней ходила она как полоумная, без сна, без пищи; мальчишки начали бросать в нее грязью, приветствуя ее именем дурочки; сострадательные сердца готовились пристроить ее в дом умалишенных. Весть о несчастье Паткуля оживила ее; все к ней возвратилось: рассудок, силы телесные и душевные, воля, все побеждающая, — воля любви. Прекрасная Ейнзидель долго плакала по женихе своем (говорят, что она и теперь не замужем!), Роза действовала. Давши руку Фрицу на жизнь и смерть для спасения человека, им столь драгоценного, она не словами, а делом начала доказывать свои чувства. Никласзон взялся также им помогать, как он говорил, в изъявление признательности за вели-

кие благодеяния, оказанные ему Паткулем.

Труды их не остались тщетными. Роза умела, под видом торговли сыром, пробраться в крепость, найти доступ к коменданту и, наконец, к затворнику. При свидании с Паткулем она забыла его вины; благодарность, казалось, возвратила ей любовь друга, но это была только благодарность. На груди Розы несчастный вздыхал об Ейнзидель. Комендант, из сожаления ли к своему пленнику или задаренный деньгами, начал обходиться с ним милостивее и даже позволил вести переписку с доверенными ему особами. Следствием ее были жаркие представления посланников разных дворов саксонскому курфирсту, в том числе князя Голицына, об оскорблении, нанесенном государям их в лице представителя русского монарха. Август боялся Петра, боялся мнения света и потому колебался было освободить своего пленника; но, испуганный новыми победами Карла, оставил по-прежнему Паткуля в заключении. Переписка открыта; пленник переведен в Кенигштейн под строжайший присмотр, а челолюбивый комендант зонненштейнский

казнен. Мщение не извиняет жалости.

Ты слышал, что такое Кенигштейн: твердыня на скале неприступной, куда нога неприятельская никогда не клала своего следа и, вероятно, никогда не положит. И туда умели пробраться любовь Розы и верность Фрица. Рассказывают, что комендант кенигштейнский, несмотря на ужасный пример, в его глазах совершенный, склонился было за тельца золотого освободить нашего дядю, но что Паткуль слишком понадеялся на заступление Петра, на важность своего сана и великодушные Августа – и отказался купить себе свободу ценою денег.

Однажды, в час свидания, дорого купленный, Роза приносит пленнику письмо – от кого, думал бы ты? – от Ейнзидель. Роза поймала в глазах своего друга желание и спешила исполнить его; сходила в Дрезден, объявила невесте Паткуля, что несколько строк ее руки утешат затворника, получила от нее письмо, несла несколько миль свинцовое бремя у сердца своего и эту новую жертву положила к ногам своего кумира, чтобы в глазах его прочесть себе награду. Я не прибавляю ничего;

слова недостаточны для изъяснения этого по-
двига: твое сердце оценит его!..

Быв в свите нашего короля, я узнал о заточении дяди только в Гутсдорфе, где Карл и Август имели свидание на квартире нашего министра Пипера. Не думай, чтобы два соперника, столь различные, однако ж, своим положением, сошлись так близко для беседы о важных делах государственных. Карл, после обыкновенных приветствий с обеих сторон, начал разговор своими сапогами, продолжал сапогами и кончил ими же. Несмотря, что речь шла только о ногах, Август должен был снять с головы корону и скрепя сердце поздравить с нею нового польского короля, указанного мечом победителя. Этим свиданием решена и передача нашего дяди в полное распоряжение Карла. Я попытался просить его величество о помиловании; но он был неумолим. Северный лев не мог удержать своего восторга, что поймал жертву, столь долго издевавшуюся над его силою; он решился продлить еще на несколько времени жизнь ее, чтобы насладиться долее своим мщением. Поверишь ли, как был низок великий Карл XII в

эти минуты!.. Если попадутся его величеству эти строки, пускай насытит он вновь жажду крови над благородным лифляндцем, не раз проливавшим ее за него.

(Здесь рукою Карла XII написано было: „Читал и велел доставить письмо по адресу. Траутфеттер – не Паткуль“.)

Отряд шведский под начальством двух лифляндцев (барона Ротгаузена и капитана Стакельберга) принял в свое заведование Паткуля и отвел его в Рейхардсгримм, где находилась шведская главная квартира. Королевское мщение, поручив надзор за пленником лифляндцам, казалось, хотело посмеяться над отечеством нашим. Бедная Лифляндия! Мало тебе, что за твою верность предали тебя огню и мечу неприятельскому; над тобою еще бесстыдно ругаются. Но – Бог милостив: час твоего избавления наступает.

Друг мой! я видел его – сердце замирает от одного воспоминания этого зрелища, – я видел благороднейшего из лифляндцев, прикованного к позорному столбу. Капитан дежурный не мог отказать мне в свидании; но легче б мне было не испрашивать его. Страдания

истомили тело несчастного; он походил на мертвеца; ржавчина желез въелась в его руки, но какой сильный дух еще в нем обитал! Рыдая, пал я в его объятия. „Друг мой! – сказал он. – Ты плачешь, увидя меня в таком положении. Знаешь ли, что эти цепи – мое торжество? Это обрывок тех цепей, которыми я опутал вашего Карла и под которыми он скоро изнеможет. Звук их, – прибавил он, гремя железами, – есть отголосок мира, приговор потомства несправедливой власти. Свет был ослеплен насчет Карла XII: я доказал, что можно его победить; мой плен открыл глаза свету. Слава его пала навсегда – навсегда! не воскресят ее тысячи побед. Напротив, моя возвышается этим унижением этими цепями; они говорят сильнее за меня, нежели само предстательство Петра Великого и дворов европейских. Впрочем, я не потерял еще надежды... Да! голос Великого не ходатайствует нигде вотще! Но если погибну жертвою мщениа, то завещаю будущим векам позор Карла XII и величие моих несчастий. Лифляндия! о мое отечество! я желал тебе добра: бескорыстный защитник твоих прав это доказал; я желаю

тебе добра! – будут последние слова, которые произнесу, умирая за тебя”.

Несчастный говорил много, с необыкновенною силой и жаром, глаза его горели, грудь сильно поднималась. Звуки цепей, по временам потрясаемых, казались мне громовыми текстами, которыми он придавал своей проповеди особенную силу. Вдруг, среди его движений, сустав на одной руке его от ху­добы хрустнул, кисть сдвинулась с места. „Друг мой! – сказал он довольно твердо. – Справь мне руку, по-солдатски. Это не первый раз!” Скрепя сердце я взял на себя должность костоправа и помог несчастному, сколько умел. „Как тело немощно! – прибавил он. – Одно легкое движение изменяет его; но дух – о! его перенесу я с земли к ногам Творца моего в целости, в том виде, в каком получил его от Творца!..” Потом расспрашивал он меня долго о тебе, о Луизе, присовокупил, что он не будет спокоен и на том свете, если твоя судьба не устроится по обещанию его и твоему желанию. „Густав любит так много и равно любим, – сказал он, тяжело вздохнув. – Мне писали, что одна особа, близкая царю, про-

должает устраивать его счастье. Ах! и я думал наслаждаться подобным счастьем!.. Друг мой! если будешь в Дрездене, скажи моей Ейнзидель, что я, умирая, думал о ней, что у позорного столба... нет, нет, не говори последнему! Робкая любовь ее вообразит себе все ужасы моего положения, и Паткуль представит ей в виде презренного, ужасном... Презрение!.. Мысль об этом чувстве поворачивает вверх дном все мое существо. Страсть, дружба не боятся такого зрелища; но его испугается чувство, воспитанное в неге, в роскоши придворной, окруженное лучами славы и удовольствий. Скажи только моей невесте, что ее воспоминание обо мне усладит последние минуты моей жизни". Из глаз несчастного закапали слезы на иссохшую грудь его и оттуда пали на железо. Я плакал с ним вместе.

Голос дежурного офицера прекратил нашу беседу. Нас разлучили. При выходе из сарая (нельзя иначе назвать место, где содержался Паткуль) я встретил доброго Фрица и подле него увидел Розу – можно было угадать сейчас это дивное творение. Она сидела на голой земле, сложив голову на грудь и потупив том-

ные взоры туда, где душа оставляет навсегда свои телесные оковы. Поверишь ли, милый друг, что она с Фрицем откупала себе место подле тюрьмы или большими деньгами, или трудами, не свойственными ее полу? Присо-вокупи к этим жертвам грубые ласки и насмешки солдатчины... Как скоро имя дяди нашего коснулось ее слуха, она вострепелась, начала ловить в глазах моих чувство, которое я нес из заточения несчастного, и с жадным вниманием прислушивалась к нашему разговору. Видно, что сильная любовь особенно изоцряет чувства; ибо некоторые слова, сказанные мною так тихо, что старик, подле меня стоявший, едва мог их слышать, отпечатывались верно на лице ее. Прелестное душой и телом творение! ты достойна была б лучшей участи.

Фриц намекнул мне о надежде... Высшая власть уже приговорила Паткуля к казни; между тем, для обряда, желая казаться справедливою, приказала военному суду заняться процессом несчастного. Можно было заранее угадать, какое зрелище последует за этой комедией!..

Из Саксонии вывезли Паткуля в закрытой повозке, в которой проверчено было несколько скважин для воздуха. Тридцать солдат генерала Мейерфельда, полка, состоявшего из одних лифляндцев, прикрывали его путешествие в Польшу. Двадцать седьмого сентября должен был печальный поезд прибыть в Казимир[105], где тридцатого числа назначено колесовать несчастного.

На другой день по прибытии Паткуля в Казимир, где он был заключен в городскую тюрьму, полковой священник, магистр Гаген, получив тайное повеление приготовить его к смерти, пришел к нему в три часа пополудни. Явление духовной особы разъяснило несчастному его судьбу. „Я пришел утешить вас дарами Священного Писания”, – сказал Гаген. „Благодарю вас, отец мой! – отвечал Паткуль дрожащим голосом, взяв его за руку. – С этим вместе несете вы мне, конечно, другие важные вести”. Гаген поклонился офицеру, тут же находившемуся, шепнул ему что-то на ухо и, когда он вышел, обратился с чувством и твердостью к дяде нашему: „Выслушайте от меня, благороднейший господин, то, что про-

изнес некогда пророк Исаия царю Езекию: *устрой свой дом, ибо ты должен умереть и до вечера завтрашнего ж дня оставить мир сей*". Эта весть, казалось, поразила узника, не потерявшего до сего времени надежды; он бросился на постель и плакал. Но это малодушие было только мгновенною данью природе. Вскоре успокоился он, присел на скамейку к пастору и с красноречием, ему свойственным, излил перед ним оправдание своей политической жизни. „Несправедливая редукция и личная ненависть временщика, Гастфера, – вот мое преступление! – говорил он. – Швеция упрекает меня, что я пошел служить ее неприятелям. Но оставил ли я ее, счастливый, в честях, с насмешками и угрозами? Я бежал из нее, как изгнанник, спасая свою голову. Куда было деваться мне? Не в землю же укрыться! По вере своей, и в монастыре не мог я найти убежища. Я все употребил, чтоб умилостивить двух королей; но мою преданность, мою покорность презрели. Не этого хотела самолюбивая власть: она хотела примерно наказать меня за то, что я осмелился высказать пред нею голос на защиту прав моего

отечества, что я вздумал изобличить несправедливость ее избранных и ее самой. В позоре и смерти моей видела она свое личное торжество и унижение смелой истины...” Здесь духовник прервал Паткуля, напомнив ему, что не время заниматься делами земли. Осужденный с жаром взял руку Гагена и сказал: „Дайте мне малый срок заплатить дань земному; после того не услышите от меня ни слова о презренных вещах здешнего мира”. Паткуль говорил еще о своих услугах прусскому королю и римскому императору; говорил, сколько тысяч талеров роздал он шведским пленным в Москве, разразился негодованием на малодушие Августа и наконец, почитая себя оправданным в своей политической жизни, отпустил духовника до ближайшего свидания.

В семь часов вечера Гаген посетил опять узника. На этот раз застал он его совершенно успокоенным. „Добро пожаловать! – сказал Паткуль с веселым видом. – Вы, как ангел Божий, приходите к затворнику. С сердца моего спало тяжелое бремя; я чувствую в себе большую перемену. Радуюсь, что должен умереть:

неволя мучительнее смерти! Лишь бы смерть была скорая!.. Не знаете ли, к чему я приговорен?” Гаген отвечал, что приговор остается для него тайною и только известен высшему начальнику. „Ах! и это почитаю милостью! – воскликнул несчастный. – По крайней мере, сделают ли мне судебным порядком допросы?” – „Думаю, – возразил магистр, – что вам все объявят на лобном месте”. После этих нерешенных вопросов осужденный занялся с ним духовной беседой. „Путем терновым должны мы идти в Царство Небесное, – говорил он. – Я уверен, что страдания мира сего ничтожны в сравнении с блаженством, ожидающим нас за пределами гроба”.

На предложение духовника сделать перед смертью какое-либо письменное распоряжение дядюшка попросил бумаги и прибор для письма и, когда подали ему то и другое, продиктовал Гагену духовное завещание, которым отказывал третью часть своего движимого имущества[106] верному и преданному секретарю Никласзону; другую часть назначал на выкуп родового имения в Лифляндии с тем, чтобы оно перешло к ближайшим на-

следникам завещателя, а остальную часть – ты отгадаешь, любезный друг, что он не забыл нас в этом случае. Подписав завещание и передав его духовнику, он задумался; потом, глубоко вздохнув и качая головой, произнес: „Да, да! в отечестве своем и на чужбине Паткуль имеет друзей, которые будут жалеть о нем. Что скажет о моей смерти старая курфирстина и... (со слезами на глазах договорил он) моя бедная невеста?.. Ради бога, отец мой, передайте Амалии Ейнзидель мой предсмертный поклон... Обещаете ли?” Магистр дал слово выполнить его желание. (О Розе не было слова; но в тайной исповеди его грехов эта несчастная жертва, конечно, заняла первое место.) Тут узник не без труда убедил своего духовника, в знак благодарности за усердное напутствование из этой жизни в другую, принять от него сто червонных и сверх того подарил ему редкое издание Ветхого Завета, которое, как он изъяснился, было лучшим его утешением в черные дни его жизни. Побеседовав еще о разных благочестивых предметах, дядюшка изъявил желание успокоиться. „Мне нужно сном подкрепить тело свое, – ска-

зал он, – завтра должен я бодрствовать”. Духовник оставил его одного».

Продолжение письма было написано не рукою Адольфа; вот его содержание:

«Милостивый государь!

Нет нужды сказывать вам мое имя; оно покуда останется для вас тайною. Довольно вам знать, что я приятель вашего брата, что он, быв неожиданно потребован королем, с которым и отправился в Польшу, не успел, по этому случаю, кончить письмо свое к вам и просил меня сделать это вместо него. Исполняю волю вашего брата; продолжаю его повествование и сказанными путями отправляю письмо к вам.

Вслед за тем, когда духовник вышел от Паткуля, Никласзон тихими стопами вошел к нему и открыл, что преданные ему все приготовили к его спасению. Эта неожиданная весть сначала перепугала Паткуля: совсем приготовясь к смерти, стоя уже одной ногой на пороге гроба, он, казалось, неохотно возвращался назад. Но друзья его сделали такие

большие пожертвования, жизнь взглянула ему в лицо очаровательными глазами Ейнзидель, ведя за собою столько радостей; насмешка над властолюбием Карла еще льстила ему так много, что он согласился с волею своих друзей. „Буду готов!“ – сказал Паткуль, отпуская своего бывшего секретаря, и жизнь с мечтами любви и честолюбия разыгралась снова в этой пламенной душе.

Выше объяснено, что Мейерфельдский полк состоял весь из лифляндцев. Негодование и сожаление одушевили ряды их; многие из них громко вопияли против жестокости короля; во всю дорогу из Саксонии до Казимира оказываемо было пленнику снисхождение разного рода; друзьям его позволено с ним видаться и беседовать; из скважин в его повозке поделаны окна; пища давалась ему самая вкусная: дорогой он видимо оправился. Наконец составлен заговор спасти осужденного; но как все еще ожидали милости королевской, о которой доходили слухи во время путешествия, то и отложили привести этот заговор в исполнение уже по прибытии в Казимир.

Все слажено к вечеру двадцать девятого. В этот роковой вечер должна решиться судьба Паткуля.

Вот план заговора: Роза каждое утро и вечер посещает заключенного; ее пропустят, по обыкновению. За корсетом у ней две пилы: одною рушатся железы на пленнике, другою – слабая решетка из двух связей у окна тюремного. Бечевку, которую она прикрепит под свое платье, спустят в окно. Внизу, у стен тюремных, Фриц привяжет к концу бечевки веревочную лестницу. Бойкие лошади расставлены, где нужно; дежурный офицер, неподкупный ни с какой стороны, употчеван вином. Стража, которая, по расчислению времени, должна стоять у дверей Паткулевой комнаты и под окном ее, у стен тюремных, предалась всею душою заговорщикам. Побег обеспечен: Никласзон устлал дорогу червонцами.

Главное дело должна совершить Роза. Приступая к нему, она падает на колена и, подняв к небу полные слез глаза, молит Бога об успехе. „Дай мне спасти его! – восклицает она. – И потом я умру спокойно! Мне, мне будет мой Фишерлинг обязан своим спасением; он

вспомнит обо мне хоть тогда, когда меня не станет; он скажет, что никто на свете не любил его, как я!”

Было к девяти часам вечера. Роза подходит к тюрьме; сердце у ней бьется необыкновенно. Она сказывает пароль страже у входа; ее пропускают. Но в караульне навстречу ей дежурный капитан, исполин, плечистый, рыжеволосый, отекший от вина. Огонь, горевший в сальной площадке, бросал полусвет кругом себя и только изредка, забрав вдруг пицци в свечильню, ярко вспыхивал. Тогда выставлялись ломаными чертами то изувеченное в боях лицо ветерана, изображавшее охудение и грусть, то улыбка молодого его товарища, искосившего сладострастный взгляд на обольстительную девушку, то на полном, глупом лице рекрута страх видеть своего начальника, а впереди гигантская пьяная фигура капитана, поставившего над глазами щитом огромную, налитую спиртом руку, чтобы видеть лучше пред собою, и, наконец, посреди всех бледное, но привлекательное лицо швейцарки, резко выходявшее из всех предметов своими полуизмятыми прелестями,

страхом и нетерпением, толпившимися в ее огненных глазах, и одеждою, чуждою стране, в которой происходила сцена. Но когда свет в плоске, ослабевая, трепетал, как крылья приколотой бабочки, тогда все фигуры погружались в какую-то смешанную, уродливую группу, которая представляла скачущую сатурналию[107] и над нею господствующую широкую тень исполина-капитана.

„Милости просим, милости просим, залетная райская пташка! – сказал он, устремив на девушку помутившиеся взоры. – Что к нам после зари попало в западню, то наше по всем правам... черт меня побери, да я такой красотки давно не видал!”

„Ваше благородие! – сказала Роза голосом, в котором выражались смущение и боязнь подпасть гневу ее властителя. – Позвольте мне к заключенному... вам известно... я, презренная тварь, люблю... связи давнишние...”

„Ого! знаем все ваши шашни! – прервал, смеясь во все горло, капитан. – Только что вышел от превосходительного нашего арестанта целитель душ, как является врач... Гм! гм! Ну, конечно, оно легче отправляться на тот свет.

Чтобы меня самый главный из чертей, барон, граф, князь-черт заполонил, коли я лгу! Если бы мне пришлось знать свою смерть за несколько часов, я сделал бы наоборот”.

„Вы так добры, вы так милостивы...” – говорила Роза, сложив свои руки в виде моления. Она стояла на раскаленных углях; но сойти с них не было возможности. Своевольный капитан, стащив с нее неосторожно косынку, положил широкую, налитую вином руку свою на плечо девушки, белое, как выточенная слоновая кость. Это был пресс, из-под которого трудно было освободиться.

„Ну, превосходительная, поцелуй за пропуск...”

Каждый миг дорог; рассуждать некогда – Роза исполнила волю пьяного деспота и, думая, что этим умилостивила его, сделала движение вперед; но геркулес наш обнял девушку так крепко, что пилы, бывшие на ней, вонзились в грудь и растерзали ее.

Роза вздрогнула, выдираясь из объятий капитана. Ад был в груди ее; но она выдавила улыбку на свое лицо, называла мучителя милым, добрым господином, целовала его пога-

ные руки.

„А вот сейчас, касаточка! Не думай, однако ж, чтобы прелести твои нас так ослепили, что мы забыли службу его королевского величества, нашего всемилостивейшего... Черт побери, не несешь ли чего запрещенного колоднику?“

У стен тюремных раздался с тремя перерывами голос часового: это был знак, что все изготовлено Фрицем. А Роза еще ничего не сделала! Она затрепетала всем телом; из раны на груди кровь забила ключом. Несмотря на свои страдания, она старалась оправиться и отвечала довольно твердо: „Разве я полоумная! разве мне виселица мила?“

„О! мы не допустим до чужих зубков такое сладкое яблочко. Мы, понимаешь... по военному регламенту... пункт... (капитан приставил толстый перст к своему лбу) дьявол побери все пункты! их столько вертится в глазах моих... Гей! капрал! по которому?..“

„Наш регламент приказ начальника!“ – отвечал браво усастый капрал.

„Славно отвечал! Люблю молодца. Ну!..“

Капитан показал головою и рукой, чтобы

раздели швейцарку.

„Позвольте ж, я сама...” – перервала Роза, отталкивая первого, подошедшего к ней солдата, села проворно на скамью, скинула башмак, потом чулок... он был в крови!

„Кровь, ваше благородие!” – закричал солдат.

„Кровь! кровь! – подтвердил, качая головой, капитан. – Что это такое?”

„Вот видите, – отвечала, запинаясь, Роза, – у меня проволока... по нашему швейцарскому обычаю, в корсете... а вы, господин, Бог вам судья! так крепко меня обняли... Ах! сжальтесь, ради Создателя, сжальтесь...”

„Фуй! пропустить ее!” – заревел капитан, и Роза, помня только о спасении милого ей человека, бросилась, босая на одну ногу, в двери, которые вели, через коридор, в комнату Паткуля.

В коридоре встретили ее насмешки и проклятия нескольких преступников, расхаживавших взад и вперед. На ужасных лицах их можно было читать их злодеяния. „Поищи правды! – говорил один душегубец. – Нас мортят с голоду, а у Паткуля – чем он лучше нас?..

изменник!.. у него беспрестанно пиры да банкеты! То летят сладкие кусочки и стаклянки, то шныряют приятели да девки...”

„Не тюрьма, а рай! – прибавил другой, разбойничавший на больших дорогах. – Эх, приятель! давно говорят, что правда сторела”.

Роза мелькнула мимо этих проповедников истины. Слово страже у одной двери на конце коридора, и – в комнате Паткуля.

„Роза!..” – мог только вымолвить несчастный от избытка и смеси разных чувств, подняв взоры и руку к небу.

Награда ее была в нем самом, а он, неблагодарный, показывал на небо!..

Мысль о спасении помутила взоры Паткуля; он не заметил крови на ноге избавительницы своей. Роза имела предосторожность вытереть пилу, которую ему подала.

Он становится у окна, Роза – у ног его. Принимаются за работу. Пилы ходят усердно. Звено, прикрепленное к одной ноге пленника, уже разрушено; распилена и одна связь в окне. Надежда придает сил Паткулю; он погибает конец связи и принимается за другую. Роза трудится также над другим звеном, обняв

крепко ногу своего друга.

„Цс! – говорит вполголоса Паткуль, дрожа всеми членами. – Кажется, стража у дверей сменяется!..”

Сердце замирает у Розы; она боится пошевелиться; она вся превратилась в слух.

Все тихо.

„Ничего!.. тебе почудилось!” – отвечает она после нескольких мгновений молчания, облегчив грудь вздохом, и снова пилы живо ходят по железу. Но тут работа идет медленнее: силы ее ослабели от труда, потери крови и страха опоздать.

Вдруг двери тихонько отворились и затворились. Паткуль этого не видал; но Роза... она видела, или ей показалось, что она видела...

„Это страх действует! это мечта!” – думает она и пилит, сколько сил достает. Уже кольцо едва держится в цепи. Она просит Паткуля рвануть его ногою. Он исполняет ее волю; но звено не ломается. Роза опять за работу. У пленника пила идет успешнее: другая связь в окне распилена; бечевка через него заброшена; слышно, что ее поймали... что ее привязывают... Роза собирает последние силы...

вот пила то пойдет, то остановится, как страхом задержанное дыханье... вот несколько движений – и...

И сквозь полурастворенные двери выставилась ужасная голова со шрамом на лбу... запрыгали серо-голубые глаза... и рассыпался адский хохот... Потом?... Потом молчание гроба!

„Измена!“ – закричали под окном – то был голос Фрица, и вслед за тем послышался выстрел...

Ударили тревогу.

Узник остолбенел. Сердце Розы повертилось в груди, как жернов; кровь застыла в ее жилах... она успела только сделать полуоборот головою... в каком-то безумии устремила неподвижные взоры на дверь, раскрыла рот с посинелыми губами... одною рукою она обнимала еще ногу Паткуля, как будто на ней замерла; другую руку едва отделила от звена, которое допиливала... В этом положении она, казалось, окаменела.

„Ваше превосходительство! – произнесла сквозь полурастворенную дверь голова, на коей нежилась адская усмешка. – Наемщик

ваш, негодяй, которому на мызе господина Блументроста за кровные труды обещали вы плюнуть в лицо и утереть ногою, пришел поблагодарить вас за милости ваши. Покорнейший ваш слуга платит вам свой долг с процентами. Мы расквитались, прощайте!”

Это говорил Никласзон, преданнейший, вернейший, покорнейший секретарь того, кто благодетельствовал ему на всю жизнь и еще недавно завещал треть своего имущества, наравне с своими племянниками.

Демонское лицо скрылось; но Паткуль, будто оглушенный громом, стоял все еще на одном месте.

Стража с офицером, вновь наряженным, вошла. Роза в безумии погрозила на них пилюю и голосом, походившим на визг, заговорила и запела: „Тише!.. не мешайте мне... я пилю, допилю, друга милого спасу... я пилю, пилю, пилю...” В это время она изо всех сил пилила, не железо, но ногу Паткуля; потом зашаталась, стиснула его левою рукою и вдруг пала. Розу подняли... Она... была мертвая.

„Смерть! скорее смерть! – воскликнул Паткуль задышающим голосом; потом обратился

мутные взоры на бедную девушку, стал перед ней на колена, брал попеременно ее руки, целовал то одну, то другую и орошал их слезами. – Я погубил тебя! – вскричал он. – Я, второй Никласзон! Господи! Ты праведен; Ты взыскиваешь е меня еще здесь. О друг мой, твоя смерть вырвала из моего сердца все чувства, которые питал я к другой. Роза! милая Роза! у тебя нет уже соперницы: умирая, я принадлежу одной тебе”.

Несчастному показалось в этот миг, что теплота жизни заструилась в руке девушки, что она судорожно пожалала его руку... Он хочет удержать эту теплоту своим дыханием. Напрасно! Роза – умерла...

Офицер учтиво подошел к Паткулю и сказал ему: „Позвольте мне исполнить свою должность!” – и потом дал знак головою солдатам. Два из них надели новые цепи на пленника, другие понесли из комнаты мертвое тело швейцарки, как поврежденную мраморную статую прекрасной женщины уносят навсегда в кладовую, где разбросаны и поношенные туфли, и разбитые горшки.

Легко догадаться, что преданнейший сек-

ретарь Паткуля был участником заговора для того только, чтобы открыть его и заслужить новые милости от министров Августа. Награда превзошла его ожидание: он определен тайным советником ко двору саксонскому.

На другой день казнили Паткуля... но я избавлю вас от описания последних минут его жизни. Стыд Карла совершился».

Так кончилось письмо к Густаву; но я вижу, что этим не отделался от любопытства своих читателей. Со всех сторон слышу клики: подавай нам Паткуля на сцену лобного места! На сцену! Мы хотим изображения последних минут его жизни!

Случалось ли вам видеть трагического актера, который, окончив свою роль, сколько сил и уменья его достало, по опущении занавеса вызывается неутомонными, беспардонными возгласами публики? Утомленный, едва переводя дыхание, актер является на сцену и лепечет свою благодарность. Так и я принимаюсь за иступленное перо, чтобы исполнить волю своих читателей.

На другой день, рано поутру, неподалеку

от польского городка Казимира, на площадке, огражденной с одной стороны лесом, с другой стороны окаймленной рвом дороги, собралось множество народа, чтобы полюбоваться, как будут колесовать и четвертовать изменника шведскому королю и вместе посланника от русского двора. Народ жадничал смотреть эту потеху, как медвежью травлю; все теснились к колесу и четырем столбам, трофеям казни, охраняемым тремястами конных драгун. Были охотники, платившие деньги и даже искавшие рукожатия палача, чтобы стоять поближе к роковому колесу. Множество форшпанок[108] и несколько колымаг, в которые запряжены были статные жеребцы, отягченные богатою сбруей, показывали, что не одна чернь именем жадничала смотреть на пир кровавый. Чепчики и шляпки, убранные цветами, также изредка мелькали. Иногда раздавались знаки нетерпения увидеть скорее жертву, но укрощались неучтивым приветствием шведских палашей. Не довольно, что зеленая площадка с трех сторон отделялась черными стенами народа, самые деревья унижены были любопытными.

– Каково окована готовальня! – сказал стоявший впереди, неподалеку от колеса, человек большого роста в запачканной рубашке, с кожаным фартуком. – Как въедет, так не бывало руки или ноги.

– Ну, товарищ! – прервал другой в белом зипуне, на котором цеплялись еще кое-где стружки дерева. – И дуб-то отделан по железу!

– Дело мастера боится, – подхватил первый. – Мы с тобой...

Откуда ни возьмись еврей, тряхнул своими пейсиками и, посмотрев сурово на мастеров, как бы хотел сказать: «Вы, поляки, без моих денежек меньше, чем нуль!» Околдовал их этим взором так, что они безмолвно потупили свои в землю и униженно сняли с себя белые валяные шапки.

Подле колеса стоял плечистый мужик с зверскою рожей. Услышав похвалу орудию казни, он насмешливо оборотился к панегиристам и с высоты своего настоящего величия удостоил их следующей речью:

– Все зависит от возничего, который будет управлять колесницею. Можно заколдовать колесо и потомить, – прибавил он, коварно

улыбаясь, – можно и разом отправить!

– Казнь делается не для потехи исполнителей власти, а для примера общественного, – сказал сердито школьник, высокий, сухощавый.

Палач важно посмотрел на него, как бы хотел выговорить: увидим!

Бедный Паткуль! кто подумал бы, что слово школьника, произнесенное не вовремя, усилит муки, тебе назначенные?

Несколько зрителей, окруживших философа-смельчака, при взгляде его антагониста отхлынули назад так, что они двое остались впереди сцены, измеряя друг друга неуступчивыми взорами, как гладиаторы перед боем.

– Ах, Матка Божья! – пищала толстая писарша, выдираясь локтями из толпы и таща подругу. – Такая судьбина пала нашему Казимиру, а то ведь, оборони Господи! должно было колесовать его в Слупце. Невежа! – продолжала она, изменив свой нежный голос на грубый и толкая одного молодого человека, порядочно одетого. – Не имеет никакого уважения к званию.

– А что ж панна не привинтила вельмож-

ного звания к своему лбу? – спросил хладнокровно молодой человек.

– Колесовать и четвертовать! – подхватила подруга писарши, увлекая ее от ссоры, готовой возгореться. – Ведь казнить-то будут генерала, изменщика, который бросил своего слугу из окна и зарезал любовницу.

– Не диво, что народ кишмя кишит! А вот Марианна, моя раба. Марианна! Марианна! подь сюда и остерегай нас от грубиянов.

Испитая служанка, с подбитым глазом и босая, поспешила сделать из себя щит против невежд, которые осмелились бы обеспокоить ее панну.

– Чу! что-то кричат? не везут ли уж его?.. Умру с тоски, коли не удастся его видеть. Говорят, что у него на шее бочонок с золотом, за который он было хотел, Мати Божия! продать своего короля: колесо-то проедет по нем, бочонок рассыплется, и тогда народ смело подбирай червончики!

Между тем как толкам народным не было умолку, Паткуль просил духовника своего, прибывшего к нему в четыре часа утра, приступить во имя Христа-спасителя к святому

делу, пока около тюрьмы шум народный не увеличился. По принятии святых тайн он взглянул в окно, посмотрел на восходящее солнце и сказал, вздохнув:

– Где-то я буду при закате твоём?.. О! скорей, скорей из этого мира сует, где каждый миг для меня несносен! скорей к тебе, о моя Роза, мой Фриц! – Когда ж услышал шум колес, приближавшийся к тюрьме, он прибавил: – Слава богу, спешат!

Караульный поручик явился, Паткуль надел епанчу и вышел за духовником своим, окруженный стражею.

Проходя коридором, он невольно взглянул сквозь растворенную дверь в какой-то подвал, довольно освещенный, чтобы видеть все, что в нем происходило, и глаза его встретили... Боже мой! тело несчастной Розы лежало на двух скамейках; грудь ее была изрезана... и человек, приметный только своим пунцовым носом, возился с окровавленным ножом и рукой в широкой ране, в которую глаз непосвященного боялся бы взглянуть: так отвратительна для человека внутренность человека! Свет от лампы скользил на оконечностях

лица швейцарки, заостренных смертию, падал на черные, длинные косы, сметавшие при движении лекаря пыль с пола, на уста, подернутые землею, истерзанную грудь и будто из воска вылитую ногу, опоясанную черною кровью. На стене висела соломенная шляпа, увитая цветами... Как хороша была некогда Роза в этой шляпе! На этих чертах останавливался страстный взор любовника; эти черные косы расплетала, резвясь, его рука или нежилась в шелковых кудрях; на этих устах упивалась любовь; эту ногу покрывали жаркие поцелуи – а теперь... слугитель Ескулапа бормочет над Розою отходную латынь, и от всего, что она была, несет мертвецом.

В углу подвала, на соломе, лежало тело Фрица, покрытое солдатским плащом, награда за верность!

– Пощадите, если вы не звери, ради бога, пощадите! – вскричал Паткуль, силясь броситься в подвал.

Стража его удержала; ему даже не дали проститься с друзьями своими.

Лекарь, испуганный криком несчастного, оставил на минуту свои занятия, покачал го-

ловой и потом снова принялся потрошить Розу, доискиваясь в ее внутренности тайны жизни, как в древние времена жрец читал тайны Провидения в жертве, принесенной его божеству.

Не слышал Паткуль, как его посадили в повозку; не видал, как мчалась она, в сопровождении сильного конного отряда, сквозь аллею народа. Когда его вытащили из повозки, подвели к колесу и сняли с него цепи, он затрепетал и сказал духовнику судорожным голосом:

– Теперь-то, господин пастор, молитесь Бога, чтоб Он подкрепил меня!

Приготовляясь к зрелищу казни, народ шумел и, казалось, ожидал чего-то веселого; но, увидев жертву, он был объят сожалением и страхом. Человечество взяло свои права. Все замолкло.

Наряженный в экзекуцию капитан (Валдау) вынул из кармана бумагу и прочел по ней громогласно:

– Да будет ведомо всем и каждому, что его величество, всемилостивейший наш государь...

– Хороша милость! – воскликнул ирониче-

ски Паткуль, пожав плечами и взглянув на небо.

Капитан, смущенный этим восклицанием, остановился было среди своей речи, но, тотчас оправившись, продолжал:

– ...наш всемилостивейший государь, Карл Двенадцатый, повелел сего изменника отечеству...

При слове «*изменник*» Паткуль вскричал с негодованием:

– Неправда! я служил отечеству своему слишком усердно и верно.

Капитан старался заглушить это восклицание, продолжая читать громче:

– ...колесовать и четвертовать за его преступление в пример другим, да страшится каждый измены и служит верно своему королю.

Осужденного раздели и привязали к четырем столбам. Духовник просил зрителей читать вслух молитву: «*Отче наш!*»

– Да, – сказал Паткуль, – молитесь, друзья мои, молитесь!

И народ прерывистым голосом молился. Стенания, жалобы, вздохи стояли в воздухе.

После первого удара колеса несчастный простонал:

– Господи, помилосердуй!

За каждым ударом страдалец призывал имя Бога, пока обе руки и ноги были раздроблены. Пятнадцать ударов – бытописатели и о числе их спорят, – пятнадцать ударов нанесены ему так неловко или с такою адскою потехою, что он и после них остался жив. Капитан сжалился над несчастным и закричал палачу, чтобы он проехал колесом по груди. Паткуль бросил взор благодарности на офицера и жалобно завопил:

– Скорей голову! голову!

Между тем как, по приказанию капитана, палач собирался приступить к решительному удару, несчастный собрал всю свою жизненность и сам положил голову на плаху.

В это время кумушки прикусили язык; мастера, трудившиеся над колесом, побледнели как полотно... вся масса народа безмолвствовала, как будто вместе с Паткулем положила свою голову на плаху.

Изо рта у него хлынула кровь.

– Плюю в лицо Карла... Роза... – прохрипел

страдалец...

Палач ударил раз, два, три, и голова отвалилась. После того туловище, разрубленное на четыре части, воткнуто на четыре высокие копья, поставленные в один ряд. Голова имела почет: ее вонзили на особенный шест.

«Растерзанные члены Паткуля, – говорит Вольтер, – висели на столбах до 1713 года, пока Август, снова вступив на польский престол, велел их собрать. Их доставили в ящике в Варшаву. При этом случае находился Бюзенваль, посланник французский. Король, указывая на ящик, сказал: „Вот члены Паткуля!“»

.....

Глава девятая

Зубной лекарь

*И города берет.
Как зубы рвет.*

Густав, прочтя описание последних дней жизни своего дяди, возненавидел Карла и просился немедленно в русскую службу. Следствием этого прошения был вызов его в Москву. Здесь нашел он многих соотечественников своих из лучших фамилий, снискивавших себе пропитание разными искусстваами. Иные давали уроки танцевания, другие учили чистописанию, языкам и математике. Несколько приятелей своих застал он в разрисовке стекол для подмосковного села Покровского.

– Благодаря попечениям о нас короля шведского, – говорили они, – вот чем должны мы занимать руки, пожинаящие для него славу! Русские, заказавшие нам эту работу, любят в ней намалеванными медведями, орлами, башнями, как затейливой игрой нашего воображения; но потомство наше, увидя на

стеклах этих знакомые им гербы, прочтет по ним печальную историю нашего плена.

Негодование пленников, приготовленное несчастным положением их, вспыхнуло при рассказе о казни Паткуля. Все они охотно последовали примеру Густава и дали заручное прошение на имя Петра I о принятии их в подданство русское. Вскоре за этим решением Траутфеттеру велено явиться во дворец.

Простота Петра I, великого человека на престоле, чуждая слишком утонченных приличий и всяких притязаний на этикетное угождение своему лицу, позволяла ему заниматься и подвигами государственными, и домашними мелочными делами. Ему доставало время на все: оттого-то оставил он нам бесчисленные памятники своего гения и рук своих. Иной государь не сделал того в целое свое царствование, что Петр сотворил в один день.

Без посредников, кроме дежурного денщика, Густав явился во дворец. Его ввели в кабинет, загроможденный моделями кораблей, крепостей, мельниц, орудиями математики и хирургии. Прямо против двери сидела на стуле женщина средних лет, которая умоляла о

чем-то со слезами. За стул держался мужчина с плутовскою миною и качая головой. Спиною к Густаву и лицом к женщине стоял другой мужчина, высокий, в поношенном французском кафтане из толстого сукна серого цвета, в тафтяном нижнем платье, с полотняным фартуком, в цветных шерстяных чулках и башмаках на толстых подошвах и высоких каблуках, с медными пряжками. Он расправлял щипцы для выдергивания зубов.

– Полно, баба, выть! – говорил мужчина в сером кафтане, вероятно лекарь. – Стерпится – слюбится.

– Богом божусь, – вопила женщина, – у меня ничего не болит.

– Что ж ты, Полубояров?.. – сердито вскричал лекарь.

– У страха глаза велики, ваше величество! Поверите ли? всю ночь проохала и простонала белугой, так что семья хоть беги вон, – отвечал стоявший за стулом; потом, обратясь к женщине, ласково сказал: – Чего бояться, дурочка? только махнет батюшка Петр Алексеевич своею легкою ручкою, так болесть, как с гуся вода.

– Злодей! окаянный! полно издеваться надо мною! – проговорила, всхлипывая, женщина.

– Ну, видно, с ней добром не сделаешься, – прервал Петр I, в котором мы узнали лекаря, – поддержи ее за голову и руки, и мы справимся.

Камердинер спешил выполнить волю государя с необыкновенным усердием и ловкостью.

– Говори же, баба, который зуб у тебя болит? – продолжал государь, разевая ей силою рот.

– Ваше царское величество... ваше пре... восходительство... помилосердуйте... у меня зубки все здоровехоньки... я изволила вам докладывать...

– Не дурачься, баба! а то, знаешь меня?

– Воля ваша, рвите, какой благоугодно! – отвечала полумертвая от испуга женщина. (У нее в самом деле не болели зубы. Муж ее, государев камердинер Полубояров, желая отомстить ей за некоторые проказы и зная, что Петр I большой охотник делать хирургические операции, просил его вырвать у ней буд-

то бы больной зуб. Впоследствии, когда открылась истина, Полубоярову за эту шутку порядочно досталось.)

– А, а! вижу сам! вот этот! – сказал Петр с удовольствием, ярко отливавшимся на его лице, и выдернул мастерски зуб, который казался ему поврежденным более других.

После этой операции женщину отпустили в сопровождении услужливой ее половины, утешавшей ее с красноречием искренней любви. В это время государь, вытирая свои инструменты и укладывая их в футляр, заметил Густава и ласково произнес:

– А, mijn Heer, Траутфеттер, добро пожаловать.

Выслушав просьбу Густава и обласкав его, он обратил речь на смерть его дяди.

– Бог судья Августу! – говорил Петр, тяжело вздыхая. – На его месте я лучше бы сам погиб, чем выдал бы человека, которого взял под свое покровительство[109]. Не люблю этих политических уверток. Мои приятели голландцы говорят о них поделом: «Dat benen niet met all Klugheden, maar Betrügeryen» («В них более обмана, чем благоразумия»). Дорожу тобою;

ведь ты достаешься мне будто по духовной от дяди. Тебя и твоих товарищей определяю с добрым трактатом[110] в полки моей гвардии. Служите мне так же верно, как служили моему брату Карлу.

Разговор этот был прерван приходом генералов и министров, вошедших в кабинет без доклада. Каждому сказал Петр несколько слов; в каждом слове виден был творец. Он схватывал важнейшие предметы, касающиеся до устройства государства или политики, как орел, уверенный в своей силе, налетом схватывает предмет, им взвиденный. За смелую истину благодарил советника, за хитрую ложь тотчас сбивал с ног докладчика.

Аудиенция кончилась скоро. Отпустив своих министров, Петр надел другой кафтан, поновее, на стуле висевший, отпер комод, вынул из него пять серебряных рублевиков и сказал, отдавши их Густаву:

– Вот тебе на первый случай; годятся на потеху в «Аустерий»[111].

– Ваше величество, простите мне, если...

– Пустое, – перебил государь, – всему свой час, и поплакать и повеселиться.

Тут послышался из соседней комнаты женский голос, произносивший по-русски на немецкий лад:

– Петр Алексеевич! подите сюда на мою аудиенцию...

На этот зов государь поспешил в другую комнату, и в то время, когда он отворял дверь, Густав увидел сквозь нее прелестную молодую женщину с пестрым чулком на левой руке, который, вероятно, заштопывала, и заметил даже, что она взглянула на него с тем увертливым искусством, какое одни женщины умеют употреблять, когда есть препятствия их любопытству или другим чувствам. Немного погодя раздался поцелуй за дверьми, и Густав услышал голос Петра, выговаривавший довольно внятно:

– Ты знаешь, Катенька, тебе ни в чем отказать нет.

Вслед за тем государь возвратился в кабинет и спросил ласково своего гостя:

– Ты, конечно, давно не был на исповеди?

– Государь! – отвечал Густав. – Я каждый вечер исповедуюсь Богу в грехах дня моего; но посредником в них не брал пастора за

неимением его в том городе, где я содержался.

– С пастором-то я и хочу тебя свести. Знаешь ли Глика из Мариенбурга?

– Видывал я его в малолетстве моем, но с того времени уважение и любовь к нему моих соотечественников сблизили меня заочно с этим почтенным человеком.

– Будь у него ныне же в шесть часов после обеда: ты увидишься там с приятелями и, может статься, – прибавил государь, усмехаясь, – с приятельницей. Живет он в Кокуевой слободе, – спроси только немецкую школу – всякий мальчик тебе укажет. Теперь поди, успокой своих камрадов, попируй с ними в *адмиральский час*[112], а там подумаем, что еще сотворить с вами. Открой мне, не придет ли тебе по сердцу в Москве пригожая девка: я твой сват.

Сказав это, государь показал Густаву на дверь, которую и запер за ним. С сердцем, обворуженным простотою, ласками и величием царя, с сердцем, волнуемым каким-то сладостным предчувствием, возвратился Густав домой, где ожидали его пленные офицеры. Можно угадать, что они спешили запить

свою радость в «Аустерии», где тосты за здравие нового их государя не раз повторялись.

Глава десятая

К развязке

*Вдруг слышит – кличут: милый друг!
И видит верного Руслана.*
Пушкин

В назначенный час Густав был в Кокуевой [113] слободе. Навстречу ему вереница мальчишек, занимавшихся гимнастическими играми, вероятно, после умственных трудов, ибо некоторые, сидя чехардою на своих товарищах, читали с них, будто с кафедры, заданную лекцию; другие искусно перекидывались бомбами, начиненными порохом премудрости, или просто книжками и тетрадями. О! как раскричался бы великий основатель школы, которую он называл *schola illustris*, если бы увидел и услышал все, что происходило за чертою его академии! На вопрос Густава, где живет пастор Глик, десятки голосов закричали:

– Пастор Глист? Знаем, знаем!

– Вам надобно школьного учителя на соломенных ножках?

– С ястребиным носом?

– С кошачьими глазами?

– С войлоком на голове?

– Чтобы не замерз последний дышленок ума, который в ней остается!

– Третий дом от угла, ворота с надписью мелом: *Немецкий поп*.

– И с крестом!

– Чтоб черт не ушиб его пестом!

Густав отворял уже калитку пасторова жилища, а насмешки насчет великого педагога все еще сыпались, как беглые огоньки в цепи стрелковой.

Старик, по-видимому упрежденный о приходе Траутфеттера, принял его сначала с важною ласкою покровителя; но мало-помалу спустился с высоты своей на самый дружеский тон и обращение.

– Вы, конечно, слышали, господин Траутфеттер, – говорил Глик, в котором от нескольких лишних лет на плечах усилилась болтливость, – вы, конечно, слышали, как некогда тезоименитое дворянство и рыцарство лиф-

ляндское, в том числе и бывший мой зятюк...
гм! часовой... (прибавил Глик, осматриваясь)
мир праху его! Моя Кете не была ему сужена...
я погубил бы ее... характер трудный, упор-
ный, бестолковый; только я один мог его сно-
сить...

– Благороднейший сын отечества! – пере-
бил Густав.

– О! что до благородства, то на этот счет
никто не отдаст ему более меня справедливо-
сти. Это-то благородство оковало меня, восхи-
тило, увлекло... Жаль только, что Минервы не
всегда слушался; но дело не в том, я хотел го-
ворить... гм! (Пастор кашлянул и поправил
свой парик.) Да, да, я хотел сказать, что мно-
гие во время оно смеялись над моею любовью
к русскому языку и горячей преданностью к
Великому Алексеевичу, которому, мимоходом
сказать, – это случилось в Нейгаузене, именно
двадцать третьего марта тысяча шестьсот де-
вяносто седьмого года, при первом нашем с
ним знакомстве, – предсказывал я будущую
его славу. Потом – не могу и этого дня за-
быть – осмелюсь кто после этого уверить, что
в пасторе Глике не было крошки предведе-

ния, предведения, одним словом, вдохновения Минервы! Я хочу опытом подтвердить вам, молодой человек, что эти запасы никогда не лишние. Итак, в первых числах июля тысяча семьсот второго года подъезжали мы с покойным цейгмейстером, как теперь его вижу и беседую с ним, к Долине мертвецов, что близ Менцена... Надо вам объяснить, что, по милости его величества царя и бывшей моей Кете, в этой долине устроена ныне прекрасная мыза *Катариненгоф*, принадлежащая вашему покорнейшему слуге. (Пастор ослабил свои розовые губки и приосанился.) Но не в том дело, вот, вздумалось цейгмейстеру попугать мою Кете, которую, мимоходом сказать, я один имею право так называть и, может статься, еще один... но тому чего не позволено? И московиты-то не христиане, говорил Вульф, и вот поймут нас арканом, меня, покорнейшего вашего слугу, изжарят на вертеле, а мою воспитанницу уведут-де к падишаху московитскому... Фуй, фуй! краснею от этих слов; но *de mortuis aut bene aut nihil*, то есть о мертвых или добро говори, или молчи.

– Господин пастор! – перебил Густав, выведенный из терпения словоохотливостью Глика. – Его величество, царь российский, адресовал меня к вам.

– О молодость, молодость! как стала ты ныне нетерпелива! К его-то величеству и вашему благу, государь мой, веду я речь. Слушайте же меня, или я откажусь от устройства судьбы вашей.

– Простите – это было в последний раз, теперь я вас слушаю.

– Упряму Вульффу предсказывал я, что, если мы будем взяты русскими, которых, заметьте, доньше неправильно называли москвитами, я определюсь в Москве при немецкой кирке пастором, заложу краеугольный камень русской академии, а моя Кете... сделается украшением семейства знаменитого русского боярина. И что ж, достопочтенный гость мой, все это сбылось по предсказанию глупого, упрямого старика. Вы видите меня, мариенбургского пастора, в Москве при немецкой кирке; основанная мною академия, *schola illustris*, есть первый знаменитый рассадник наук в России. Образователь обшир-

нейшего государства в мире нередко удостоивает советоваться с *нами* насчет просвещения вверенных ему народов, и, наконец, Кете – о! судьба ее превзошла мои ожидания! – старик возвел к небу полные слез глаза; потом, успокоившись, произнес вполголоса, почти на ухо Густаву: – Я вам скажу тайну, которая, правду сказать, с мая почти всей России известна, – моя бывшая Кете первая особа по царе...

Густав, полагая, что Глик от старости рехнулся с ума, отодвинул назад свой стул и остановил на своем собеседнике неподвижные от изумления взоры.

Глик засмеялся и тоном покровителя продолжал:

– Она может сделать очень много для вас; она уже много для вас сделала... Прибавлю еще, хотя скромность ее запечатывала мне уста, невидимый благодетель и корреспондент ваш во все время вашего плена – есть бывшая моя воспитанница.

– Все это каким образом?

– Узнаете позже. Кто мог бы угадать ранее будущую судьбу сироты? Странно! чудесно!

это правда; но чего Богу не возможно? Иногда угодно Ему удивлять мир делами любви Своей к избранным от Него творениям. Но дело теперь не в том. Его величество, наш всемиловитивейший государь, Петр Алексеевич, прислал вас ко мне, говорите вы?

– Точно так, господин пастор! – отвечал Густав, убежденный голосом и выражением лица Глика в истине слов его и между тем блуждая мыслями как бы в мире волшебном.

– Я должен исполнить волю моего государя и близкой ему и мне особы, о которой вы говорили. Вы присланы услышать от меня, что, по воле его, семейство баронессы Зегевольд вызвано из Дерпта сюда...

Густав вскочил со стула и, дрожа всем телом, едва мог выговорить:

– Вы шутите надо мной, господин пастор?

– Боже меня сохрани, особенно когда дело идет об участи людей, мне столько любезных. Минерва не покинула меня на старости до того, чтобы рассказывать вам сонный бред за существенность. Узнайте более: баронесса, дочь ее и добрый Бир в Москве со вчерашнего утра и квартируют за два шага от меня.

– Господин пастор! господин пастор! что вы со мною делаете?.. – вскричал Густав. – Я готов упасть к ногам вашим; я готов целовать ваши руки. Луиза! Государь! Кто еще?.. Боже! Боже! Я как помешанный.

Густав обнимал пастора и плакал от радости.

– Здорова ли она? помнит ли меня? – спрашивал он, сжимая в своих руках руку Глика.

– Что она здорова, это мне известно; остальное предоставляю ей самой рассказать вам. Впрочем, чтобы вас долго не томить, мы пошлем тотчас за Биром. Грете! Грете!

Явилась пасторова экономка, сделавшаяся от беззаботной жизни в ширину то же, что была в вышину. Велено Грете сходить за Биром – и Бир не заставил себя долго ждать. С восторгом дружбы и неожиданности бросился он в объятия Траутфеттера.

– Гм! гм! – сказал наконец растроганный Бир. – Господь ведет нас сюда, видно, к развязке. Пора, право, пора; а то моя милая, добрая Луиза пала бы под бременем своей судьбы.

– Любит ли она меня? помнит ли, по край-

ней мере? – спросил Густав.

– Любит, как в первые дни вашего знакомства.

– О, как я счастлив! Кому теперь могу позавидовать? Все прошедшее забыто. Но расскажите мне, ради бога...

– Все, что с нею случилось с того времени, как мы расстались, не правда ли? Вы знаете, я не мастер говорить... когда бы можно было написать?... это бы дело другое.

– Вы имеете снисходительного слушателя. Рассказывайте как можете. Я затруднять вас много не стану, а попрошу только раскрыть мне, что случилось с Луизою после того, как ее привели в церковь для венчания. Что прежде было, известно мне из письма вашего к доктору Блументросту: оно-то привязало меня еще к жизни, но оставило в большой неизвестности, потому что перепутано было на самом любопытном месте описанием болотного моха.

Вир покраснел, как девушка, и сказал, запинаясь:

– Виноват... эта любовь к натуральной истории... эта рассеянность мне дорого стоили:

я мучился за чтеца и за себя вместе. Как я перемешал все – не знаю; только знаю, что лист с концом интересной для вас истории очутился в моей флоре. Хотел было я с досады отказаться от моей любимицы; но – судите по себе, мой любезнейший Густав, – страсть – все страсть: даешь слово изгнать ее из сердца, из головы, а все к ней возвращаешься. Но вы ждете, чтобы я успокоил вас, – извольте. На бумаге бы оно лучше; однако ж... как-нибудь расскажу.

Густав уверил снова чудака, что он не будет взыскателен за выбор и порядок слов, и Бир начал так свой рассказ:

– Мы ввели кое-как полумертвую Луизу в церковь. Адольф, смотря на ее страдания и не понимая их причины, просил отложить свадьбу, но баронесса и Фюренгоф настояли совершить ее без отлагательства. Уже приступлено было к священному обряду, как в церковь вбежала женщина, высокая, худая, шафранного цвета, с черными, длинными волосами, распущенными по плечам, в изорванной одежде чухонки, – настоящее привидение! Глаза ее горели, как раскаленные уголья;

от усталости она задыхалась. Церемония остановилась; мы все перепугались, но всех более Фюренгоф. Он начал делать такие ужасные гримасы, как будто ломала его нечистая сила. «Стой! – закричала женщина странным голосом, обратясь к Адольфу. – Ты кругом обманут! Твоя невеста тебя не любит, и ты погубишь ее и себя, если на ней женишься. Ее выдают за будущее богатство твое; а богатство это не может тебе принадлежать, разве ты захочешь получить незаконно, ограбив своего брата. Этот злодей, – продолжала ужасная женщина, указывая на Фюренгофа, – воспользовался наследством, принадлежащим Густаву, подменив настоящее завещание своего отца подложным. Я, сообщница его злодеяний, составляла эту бумагу. Предаю себя в руки правосудия и с собою этого мошенника. Призываю Бога во свидетели слов своих; а тебе, Траутфеттер, вручаю законные тому доказательства. Когда б не знала тебя, я представила бы их в суд». Фюренгоф бросился было вырывать бумаги, во время передачи их Адольфу, угрожая своему племяннику вечною ненавистью и отчуждением от наследства, если он

послушает сумасшедшую ведьму, как он называл чудесную женщину, и приказал было слугам схватить ее. Слуги не повиновались, услыша клятву Адольфа, что он берет ее под свою защиту и что тот, кто до нее дотронется, будет отвечать за нее жизнью своей. Чудесная женщина подала клочок бумаги Адольфу и произнесла вполголоса: «Эта записка касается до тебя именно. Отойди к окну и прочти ее. Все прочее буду иметь время объяснить тебе и суду. А ты, мошенник, – продолжала она, возвысив голос и с яростью обратясь к Фюренгофу, – смотри на меня, осязай меня: это я, я, Елисавета Трейман, твоя бывшая приятельница, твоя сообщница в злодействах, тобою изгнанная, недоморенная тобою. Земной суд твой начался: допросы, тюрьма, цепи, казнь вместе, вместе со мною! Ха-ха-ха! любовники верные, на жизнь и смерть! Вместо чищенных червончиков мы, о друг мой, перечтем с тобою по несколько раз в день звенья цепей; позор, злоба, раскаяние будут терзать твою грудь, как ты терзал человечество; но в объятиях моих ты все забудешь... даже милую Марту... не правда ли?.. ха-ха-ха! О, сладко бу-

дет задушить тебя в них!» И сатанинский хохот исступленной, при общем молчании, ужасно раздавался под сводами церкви, и оторванный лист железа на кровле стонал, как вещая птица. Луиза прижалась ко мне и скрыла свое лицо на моей груди; сама баронесса дрожала; побледневший пастор хотел было вывести Елисавету из храма, но от одного вскрика ее оторопел. Исступленная продолжала: «Подожди немножко, пастор! подожди, любезный, твоя очередь после. Дай мне досказать свою проповедь: она стоит твоих вялых поучений – режет, пилит, жжет, – только что с адского очага! Разве спрошу тебя: бывал ли у тебя на исповеди злодей ужаснее этого?.. Он убийца своего отца, делатель фальшивых завещаний, развратитель дев, грабитель, кровопийца, гробный тать, сдирающий последнюю одежду мертвеца, – это все – вот он, Балдуин Фюренгоф! С ним-то волею и неволею сочеталась я на здешнюю и будущую жизнь. Да, злодей! не оставлю тебя и в другом мире: и там вопьюсь когтями своими в твою душу и не покину тебя вечно... Вечность! Слышишь ли ты это слово? а?.. Ты не верил ему; но скоро,

скоро поверишь, голубчик!»

Пока Елисавета осыпала своего подсудимого ругательствами, Адольф успел прочесть данный ему лоскуток и прочие бумаги, упал со слезами на колена перед распятием, благодарил в несвязных словах Бога за спасение свое и брата и потом, встав, объявил пастору, что свадьбе не быть. Поцеловав с жаром руку у Луизы, он сказал ей: «Будьте счастливы с тем, кого любите! об этом берусь хлопотать всеми силами. Слава богу, что еще время!» Адольф хотел еще говорить с баронессою, но она, бросив на него сердитый взгляд, повлекла из церкви дочь свою, приметно обрадованную переменою своей судьбы; я за ними. Не знаю, что после того говорено оставшимися в церкви; только слышал при выходе шум, ссору; люди Фюренгофа не хотели долее ему повиноваться. Когда мы сели в карету, любопытство подстрекнуло меня выглянуть из окна: я увидел, что Фюренгофа насильно втащили в карету Адольфа, а этот с Елисаветой сел в колымагу Фюренгофову; затем оба экипажа поскакали по дороге в Дерпт.

Мы возвращались в Гальсдорф, нам на-

встречу слуга с известием, что туда прискакали татары: всё там жгут и грабят. Дышло на поворот, и мы тоже прямо в Дерпт.

Через несколько дней позван я был в городскую тюрьму к Елисавете Трейман. Она рассказала мне, что суд, вследствие ее доноса, посадил в тюрьму ее и Фюренгофа, разделенного с нею одною перегородкою, и просила меня, разведав о действиях Адольфа, отписать подробно обо всем случившемся к господину Блументросту. Я обещал все несчастной. Вслед за тем Адольф сообщил мне, что правительство строжайше исследовало злодеяние Фюренгофа, который уже и признался в нем, и что имение, похищенное у вас, мой любезный друг, будет возвращено немедленно по принадлежности. Благородство и твердость души вашего брата в этих обстоятельствах не могу довольно превознести. Самый усердный стряпчий, из видов богатой корысти, не хлопотал бы столько за своего клиента, как он действовал за вас, против собственной пользы: ибо после этой тяжбы, где он был в одно время истцом и ответчиком, остается он таким бедняком, каким знали вас до сего време-

ни.

– Все пополам, и мы будем равно богаты! – сказал тронутый Густав.

– Позвольте, для маленького отступления, воспользоваться вашим восклицанием, – сказал с робкою ужимкою Бир, смотря на горшок с цветами, стоявший на окне. – Мне хотелось давно спросить господина достопочтенного хозяина: балсамины, *impatiens hortensis*, которые я вижу здесь в Москве почти на каждом окошке, не есть ли предмет особенного религиозного почитания между москвитами?..

Пастор захохотал.

– За кого ж принимаете вы русских? – сказал он. – Нет, достопочтенный гость мой! обитатели здешние никому не поклоняются, кроме как иконам своих святых. Балсамины же находятся почти в каждом доме и подсолнечники в каждом саду, потому что других цветов русские почти не держат, а цветы здесь любят. *Impatiens hortensis* выписан еще недавно семенами из Голландии рассадителем всего полезного и приятного в России. Но любезнейший собеседник наш ждет с нетерпением продолжения вашего рассказа.

– Виноват, виноват! – сказал, оправясь от своего смущения, Бир. – На чем же я остановился? Балсамин, гортензия, шафран... (Он имел привычку добираться по аналогии цветов до предмета, им забытого.) Да, да, шафран! Елисавета, сказал я, просила отписать обо всем к господину Блументросту. Исполнив это, я вложил в письмо свое лоскуток бумаги, данный ею же, а какого содержания, мне неизвестно; мне строго запрещено было заглядывать в него. Все это препроводил я, куда назначено, с чухонцем, которому Адольф заплатил хорошие деньги за услугу. Виноват только в ошибке... но судьба уже все сама поправила. Что случилось после? – спросите вы. После... в одно роковое утро нашли Фюренгофа в тюрьме, задушенного собственными цепями, чему Елисавета Трейман за перегородкою много хохотала; потом и несчастная Елисавета умерла в сумасшедшем доме, проклиная своего обольстителя и изъявляя надежду соединиться с ним в аду; имение, у вас похищенное, утверждено за вами силою законов. По взятии Дерпта русскими брат ваш уехал в Польшу к королю шведскому; воспитанница

моя снова расцвела душою и телом, как роза *sentifolia*, тем живее, что вспрыснута была ро- сою надежды, которая, втайне вам сказать, присылалась ей нередко в записочках по по- чте... извините сравнение... гм! виноват... да, да, о чем бишь я говорил? Вот видите, я ска- зал, что собьюсь с толку; оно лучше было бы на письме...

– Вы говорили о Луизе, – подхватил Гу- став. – Как же вы здесь очутились?

– Как семена, переброшенные бурей на чуждую им землю; но и тут умеют они при- няться, лишь бы родное солнышко их согре- вало и питало. Иначе вам скажу: баронесса, отказавшаяся было от дипломатики после урока, данного ей при расставании с Гельме- том, вздумала в последние годы опять за нее приняться, замешалась будто в заговоре про- тив русского правительства и по этому слу- чаю принуждена была совершить с нами ма- ленькое путешествие в Москву. Мне и здесь хорошо. С будущею весной надеюсь делать в окрестностях ботанические экскурсии; а все- го лучше то, что судьба моей доброй Луизы, надеюсь, развяжется здесь. Вижу вас и забы-

ваю все прошедшие неприятности...

Кукушка на стенных часах прокуковала семь часов.

– Гости наши должны скоро быть здесь! – произнес, усмехаясь, Глик. – Да вот и они!

Сердце Густава затрепетало. Послышался стук в ворота, потом скрип калитки, шорох в передней; дверь растворилась – и... кто ж перед глазами Густава?.. Луиза во всем блеске своей красоты, со всем очарованием, которое окружало ее в первую встречу с другом ее сердца. Она была несколько бледнее, нежели тогда; но эта бледность и несколько лет, накинутых на нее временем, не вытеснили ни одной из ее прелестей. Если бы Густав видел ее теперь в первый раз, он готов бы был снова в нее влюбиться. Белое, простое платье, обвивавшее стан, стройно перехваченный, придавало ей какое-то эфирное свойство, тем более что она, опрометью вбежав в комнату и, вероятно, не думав никого найти, кроме пастора и Бира, вдруг, при виде нового лица, остановилась, отдала назад свою прелестную голову и приподнялась на цыпочках. Вглядевшись в Густава, она вскрикнула.

– Что такое, что такое? – ворчала баронесса, шедшая за дочерью. – Боже мой! да нас завлекли в сети; это западня, позор, унижение! Вот что делают ныне пасторы, служители алтарей! Потворствуют слабостям, помогают дочерям против матерей! Пойдем отсюда, Луиза!

Между тем как она читала эту проповедь, Луиза и Густав смотрели друг на друга в каком-то сладостном упоении... смотрели и... невольно пали друг другу в объятия.

– Теперь не расстанемся! теперь не разлучат нас! – говорили они, обливаясь слезами и держа друг друга крепко за руки.

– Матушка! госпожа баронесса! благословите нашу любовь или мы умрем завтра! – воскликнули они, упав к ногам ее и обнимая ее колена.

– Что это за комедия? – сказала сердито дипломатка.

– Госпожа баронесса! – произнес важно пастор. – Его величество, всемилостивейший наш государь, Петр Алексеевич, приказал вам сказать, что он принял на себя должность свата господина Траутфеттера, и сверх того пове-

лел мне отдать вручаемую вам при сем ци-
дулку.

Госпожа Зегевольд дрожащими руками
взяла поданную ей бумагу, подошла к свече и
прочла следующее:

«Min Frau![114]

*Я, cesar[115] и полковник от гвардии
российской, взялся быть сватом капи-
тана Густава Траутфеттера. Дочь ва-
ша ему нравится, он вашей дочери: че-
го более? прошу не претендовать. В
приданое ей даю все лифляндские по-
местья, отнятые у вас в военное вре-
мя, и дозволяю вам управлять ими до
вашей смерти. Со временем обещаю
вам и зятю вашему особенную мою
царскую аттенцию. По делам вашего
отечества даю вам право, ради наше-
го интереса, вести с нами прямо кор-
респонденцию; за добрые известия буду
вам всегда *reconnaisant*[116]. На сва-
дьбу дарю вам табакерку с моею пер-
соною и тысячу рублей. Кажись, укон-
тентовал[117] вас порядком; а упря-
миться долее вам ради какой причи-
ны?*

Piter»[118].

Можно было прочесть на лице честолюбивой баронессы, какая строка из этого послания произвела на сердце ее приятнейшее впечатление. Право относиться по дипломатическим делам к повелителю обширнейшего государства – право, дающее ей опять сильное влияние на ее соотечественников, поколебало твердость ее души. Кончилось тем, что она благословила чету любовников и обняла своего будущего зятя.

На другой день баронесса, жених, невеста, пастор Глик и Бир позваны были во дворец. Петр I, не заставив их долго ждать себя, явился в голубом гродетуровом кафтане, шитом серебром, с андреевской лентою через плечо. Только в особенные торжественные дни государь показывался в таком блестящем наряде; но в настоящем случае он хотел угодить одной милой особе, которой, говорил он, ни в чем не мог отказывать. Все посетители были им обласканы, особенно Бир. Разговаривая с ним о важных предметах натуральной истории, он нашел в нем необыкновенные, глубокие сведения и по другим наукам, которые сам любил, и до того привязался к доброму

педагогу, что забыл предмет посещения его спутников и увлек его с собою в кабинет. Там показал он ему гербарий, собранный царскими трудами. Бир, восторженный ласковым обхождением государя и любовью к своему предмету, вскоре беседовал с Петром, как с равным себе ученым.

– Вот таких людей люблю! – говорил Петр, целуя его в лоб. – Не хвастунишка, а настоящий делец.

В каком-то невольном благоговении к простоте великого мужа стояли баронесса и ее спутники, когда в приемную залу из задних апартаментов вступила прелестная молодая женщина.

– Милая Кете! – едва не вскрикнула Луиза и хотела было броситься в объятия ее, но баронесса остановила дочь свою за рукав.

– Милая Луиза! – сказала со слезами на глазах и в некотором смущении бывшая воспитанница пастора Глика. – Не бойся!.. обними же меня скорей, скорей, милый друг!

Екатерина спешила прижать к сердцу гелметскую приятельницу свою. Они плакали вместе от радости; перемена состояний не

изменила их чувств.

Госпожа Зегевольд от изумления не могла прийти в себя; но во время дружеских изъяснений государыни с Луизою пастор рассказал дипломатке со всею немецкою пунктуальностию и нежностью отца, что бывшая его воспитанница, по взятии ее в плен под Мариенбургом, попала в дом к Шереметеву и оттуда к Меншикову. Здесь, в 1702 году, Петр I увидел ее и влюбился в нее так, что никогда уже с нею не расставался. Сначала знали ее под именем Катерины Скавронской – именем, которое угодно было государю ей придать. В 1703 году приняла она греко-российское исповедание; крестным отцом ее был наследник престола, царевич Алексей Петрович, и по нем-то названа она Екатериною Алексеевною. В мае 1707 года государь сочетался с нею браком.

Так объяснял пастор дивную судьбу своей воспитанницы, наблюдая месяцы и числа каждой эпохи в ее жизни. Когда Екатерина заметила, что он кончил свое объяснение, она подошла к баронессе и ласково, но с величием, царице свойственным и будто ей врож-

денным, обратила речь к дипломатке и уверила ее самыми лестными выражениями в своем будущем благорасположении к ней.

– А! вижу, что твое сердце не выдержало, Катенька! – сказал Петр, вошедши в приемную залу. – Люблю тебя за то, душа моя, что ты не забываешь прежних друзей своих. Теперь, Грау баронесса! могу открыть вам секрет: супруга моя хлопотала о благополучии вашей дочери, как бы о своем собственном. (Тут подошел он к Луизе и поцеловал ее в лоб.) Я ваш гость на свадьбе и крестный отец первому ребенку, которого вам даст Бог.

– Удивительно! удивительно! Я все это вижу, как во сне! – говорила баронесса, возвращаясь с своим семейством и Гликом домой в придворной, богатой карете и кивая важно народу, который скидал перед каретою шапки за четверть версты.

Благоговейно сложив руки на грудь, пастор произнес:

– Неисповедимы судьбы Господни! Недаром говорил о моей Кете слепец Конрад из Торнео в Долине мертвецов: *«Кто знает, какой путь написан ей в Книге судеб?..»* – и сбыв-

лось!..

– Великий государь! – восклицал Бир. – Как он знающ в натуральной истории!

Густав и Луиза не говорили ни слова; но, смотря друг на друга глазами, выражавшими упоение счастья и пламенной любви, жали друг другу руки и забывали весь мир.

Глава одиннадцатая

Картина

Один только полковник Траутфеттер!

«История Карла XII», Вольтер

Знойно летнее небо; облака порохового дыма клубятся по нем и хмурят его, будто раскаленное от гнева. Вправо отрывок широкой реки; противный берег ее мрачен и обнажен, как могильный бугор в степи, наброшенный над бедным странником. Поперек реки плывет судно. На лицах гребцов видна боязнь, в движениях их – торопливость. Бедная повозка, у которой колеса скреплены рваньями, стоит на судне: в ней лежит воин, накрытый синим плащом. Лицо его подернуто мертвою

бледностью; заметно, что болезнь и горечь оспаривают жертву свою у твердости душевной, видимо уступающей. Вокруг повозки, на палубе, стоят и сидят несколько воинов. В числе их казак; подавая пить из шляпы больному, в повозке лежащему, он смотрит на него с нежною заботливостию родного или друга. Прочие все лица в синих иностранных мундирах. Положения, в которых они находятся, показывают, что несчастье поравняло все звания. Один, преклонив голову к колесу, спит; другой перевязывает товарищу руку; далее, ближе к корме, два воина, со слезами на глазах, берутся за голову и ноги, по-видимому, умершего товарища и собираются бросить его в речную могилу, уносящую столь же быстро, как время, все, что ей ни поверят. К носу теснится группа в унынии и отчаянии. Иные со страхом смотрят на повозку, где, кажется, умирает их последняя надежда; другие, подняв к небу взоры, молятся. За большим судном торопятся рыбацьи лодки. Несколько всадников, отталкивая немилосердо несчастных, хватающихся то за гриву, то за хвост коней их, или подавая погибающим

руку спасения, перерезывают реку. Кое-где мелькают борющиеся с волнами; утопленники показывают, как стрелка, течение вод. Впереди сцены идет сражение: оно уже при последнем издыхании. Бой неравен между воинами в синих мундирах с воинами в зеленых. Число первых невелико; они утомлены, нехотя дерутся врукопашню, толпами сдаются в плен и бросают оружия; путь их устлан изломанными лафетами, взорванными ящиками, грядю мертвых и раненых. Воины в зеленых мундирах глядят победителями: удовольствие торжества пышет в их взорах; сила и уверенность в каждом их движении; кажется, лицо одного, замахнувшегося прикладом ружья на упавшего неприятеля, четко выражает: *лежащего не бьют!* Совершенно на авансцене выступает из группы сражающихся фигура молодого офицера в синем мундире; он пал, раненный в грудь. Из ней бьет кровь струей. Правую рукою стиснул он рукоятку меча, как будто не хочет отдать его и самой смерти. По лицу офицера, чрезвычайно выразительному, бежит уже смертная бледность; оборотив голову к стороне реки, он

устремил на небо взоры, исполненные благодарности; слезы каплют по щекам; уста его силятся что-то произнести.

Вот картина, на которую я засмотрелся в доме одного любителя изящного! Меня так заняло главное лицо, что мне стало жаль его, как человека, соединенного со мною узами дружбы. Он умер героем, но умер далеко от родины, видя уничтожение ее славы. Хозяин картины застал меня в этом положении.

– Замечаю, что это художественное произведение оковало ваше внимание, – сказал он мне. – Знаете ли, что представляет картина?

Я просил рассказать мне сюжет ее.

– Это переправа Карла Двенадцатого через Днепр после Полтавской битвы, – отвечал мне любитель изящного. – Днепр был гранью, где победа распрощалась с ним навсегда. Войско его уничтожено. Последние обрывки этого войска, ужасавшего некогда север, силятся купить королю свободу. Едва не захвачен он неприятелем, следящим его по горячим ступеням. Оставшиеся при нем служители и воины добывают с трудом повозку; в нее кладут короля-беглеца – того, который некогда отни-

мал царства и раздавал их. Карл ранен; лихорадка и лютейшая болезнь великих людей – унижение пожирают его; он видимо упал духом. Последнее его спасение – переправа через Днепр: он совершает ее в том положении, в каком видите на холсте. Остаток войска бросает оружия; многие селятся спастись вплавь. Один полковник Адольф Траутфеттер с своим баталионом отчаянно задерживает натиск торжествующего неприятеля. Раненый в грудь, он падает, благодаря Провидение за спасение короля и за то, что не переживает унижения шведского войска. Если хотите, он произносит имя родины, друга и просит стоящего подле него воина передать им последнее свое воспоминание.

Глава двенадцатая

Схимник[119]

*Край милый увидишь – сердца утраты
И юных лет горе в душе облегчишь;
И башни, и храмы, и предков палаты,
И сердцу святыя гробницы узришь!*

.....

*И ласково примут отчизны сыны,
И ты дни окончишь в тиши безмя-
тежной*

На лоне родимой страны.

Рылеев

Императрица Екатерина Алексеевна, на другой день после коронации своей (это было восьмого мая 1724 года), захотела воспользоваться приятностями весны, чтобы посетить, с самыми близкими ей особами, подмосковное дворцовое село Коломенское и, если хорошая погода продолжится, погостить там несколько дней. В одной карете с нею сидели дочери ее, Анна и Елисавета, цветущие наследственной красотой, и супруга русского генерала Густава Траутфеттера, Луиза Ивановна. В другом экипаже находились шести-

десятилетний старец князь Василий Алексеевич Вадбольский с детьми Траутфеттера, сыном и двумя дочерьми, которые были хороши, как восковые херувимы, выставляемые напоказ в вербную субботу, или как те маленькие, прелестные творения с полными розовыми щечками, с плутоватыми глазами, изображаемые так привлекательно на английских гравюрах. Генерал Траутфеттер ехал верхом, то впереди заботливо осматривая худые места, то подле самых экипажей, где заключались залого, равно для него драгоценные. Любовь подданного, супруга и отца ясно выражались в его взорах и поступках. Старостью уравненный с детством, князь Вадбольский забавлял своих маленьких собеседников разными шутками или занимал их внимание, рассказывая о своих походах в Лифляндию. Дети слушали его, как веселого сказочника; а когда он кончал, с нежностью бросались к нему, жали его мохнатые, жилистые руки в своих ручонках и кричали взапуски:

— Дедушка! милый дедушка! еще что-нибудь!

Надо было видеть, как малютки внимали в

благоговении повествованию о подвигах русских под Гуммельстофом, устремив неподвижно глазенки свои на выразительное лицо старца. Сын Траутфеттера до того своевольничал с *дедушкой*, что скинул наконец с седовласой головы его треугольную шляпу, обложенную золотыми галунами, нахлобучил ею свою маленькую голову, с которой бежали льняные кудри, и, обезоружив старого воина, кричал ему:

– Шлиппенбах! сдайся, или я тебя заколю!

За этим следовал такой хохот, что Густав принужден был погрозить на детей пальцем и указать им на экипаж государыни, ехавший впереди очень близко.

Было к семи часам вечера. Кареты поравнялись с Симоновым монастырем. Императрица, наслышавшись, что с площадки над трапезною церковью вид на Москву и окрестности очарователен, приказала остановиться у ворот монастырских. Архимандрит, увидя государев экипаж, поспешил встретить высоких гостей.

Целью посещения монастыря была площадка над трапезною церковью. Екатерина

туда поспешила. Архимандрит второпях потребовал было ключа у служки, следовавшего за ним; но тот доложил ему, что перед захождением солнца, как ему известно, вход в башню всегда отперт.

– По какому именно случаю всегда в одно время? – спросила государыня, вслушавшись в разговоры монахов.

– Вашему царск... ва... шему императорскому величеству, великой и матери отечества, имею благополучие рабски донести, – начал архимандрит, смешавшись в титуле, к которому русские еще не привыкли, и полагая, что прочие имена, данные Петру I, должны неминуемо, по законному порядку, идти к его супруге.

– Пожалуйте, без лишних церемоний, отец архимандрит! – усмехаясь, перебила Екатерина Алексеевна ласковым голосом.

– По великости вашего благоснисхождения доложу вашему величеству, что в здешней, спасаемой Богом и нашими государями, вторыми по Боге, обители обретается схимник, то есть монашествующее лицо, сиречь затворник, обитающий в сем мире единым ску-

дельным своим составом, но бессмертным духом витающий за пределами гроба, яко на крылиях голубиных...

Государыня опять усмехнулась и, пожав слегка плечами, посмотрела на князя Вадбольского. Этот понял ее и своим обычно резким голосом прервал архимандрита:

– Поскорей к делу, отец! Верим, что твой схимник великий постник, молитвослов; да куда ж девал ты вопрос матушки государыни?

– А вот сей *момент!* – продолжал архимандрит, примешивая к своему риторству иностранные слова, чем думал угодить людям века своего, как мы любим угождать своему. – Мы, монашествующие, необычные к *конверсации*[120] с такими высокими *персонами* и – да помилует нас все милостивейше все щедрое сердце ее величества! – говорим по простоте нашего уразумения. И такожде извольте видеть, схимник этот, живущий уже двадцать лет во ангельском образе и житии, единым своим услаждением имеет ежедневно, перед восходом солнца и западом сицевого[121], обретаться на площадке над трапез-

ною, которая, как глаголет предание, была в древние времена *обсервационного* башнею. С нее-то, по всему вероятно, российские стражи, яко гуси капитолийские, или зоркие журавли, или, благоподобнее, орли, надзирали за посещением незваных гостей, крымцев, жаловавших к нам по каширской дороге.

– Что ж делает схимник всегда в одно время на площадке? – спросил князь Вадбольский.

– Услаждает свое сердце и взор зрелищем здешних едемских окрестностей. Лик его, хотя благолепен, обыкновенно подернут сердечною мглою; очи его тусклы, яко олово; но когда он обретается на своей площадке, тогда лицо его просиявает, яко луч солнечный сквозь тучи, очи его ярко блестят, молнии подобно; а иногда, как по долгу нашему замечено, видали его проливающим обильные источники слез. Сколько усмотреть возможно по лицу, сему зеркалу души нашей, слезы сии имеют ключом своим избыток радостных чувствований. Единая в нем странность заключается, что он не дает никому своего благословения, какового, по святости его жизни,

жаждут все православные, посещающие сию обитель. Ваше величество ужасом преисполнились бы, узрев вериги, какие он носит; тяжесть таковых может выдержать разве великий государь, отец отечества, на исполинских раменах своих.

– И двадцать уже лет наложил он на себя тяжкий обет? – спросила государыня.

– В тысяча семьсот четвертом году, осенью, пришел он к нам в виде странника; постригся вскоре в монахи и через три года облачился телом и душою в схиму.

– Как его звали, когда он пришел к вам?

– Владимиром.

Государыня и князь Вадбольский невольно посмотрели друг другу в глаза, как бы искали в них разрешения темной задачи.

– А теперь как его зовут? – спросила императрица.

– В монахах его звали Василием, а в схиме нарицается он опять Владимиром. Не благоудно ли будет вашему императорскому величеству, пока усталость вами не овладела, ибо и боговенчаные особы, яко и мы, грешные человеки, подвержены немощам, взгля-

нуть на другие редкости монастырские, как-то на *тайник*, или подземный ход к реке, на тюремную башню-дуру...

У князя Вадбольского готово было уже словечко для прекращения словоохотливости архимандрита; но императрица предупредила *дедушку* (так обыкновенно звали князя она и близкие ей особы), потребовав, чтобы показали ей дорогу на сторожевую площадку. Требование это было произнесено таким твердым голосом, что архимандрит, не распложаясь далее, повел своих гостей, куда они желали.

Императрица, увидев, что лестница, ведущая на площадку, неудобна и трудна, предложила Вадбольскому остаться в трапезной комнате. Но старый солдат не любил казаться хилым и ни за что не соглашался отстать от других.

– Разве вам вспомнить Гуммельсгофскую гору? – сказала государыня, подарив его тою улыбкою, которою она умела так мастерски приветствовать и награждать. – Дети! – прибавила она, обратясь к великим княжнам. – Возьмите дедушку под руки; а если он заупрямится, то я сама его поведу.

И старец, с слезами радости на глазах, позволил себя поддерживать дочерям Петра I. Минуты эти были для него истинным торжеством.

Екатерина Алексеевна первая вошла наверх, восторженным взором заплатила мимоходом дань очаровательным видам, представляющимся с площадки, и устремила его потом на схимника, сидевшего спиною к ней на ветхой скамейке и облокотясь в глубокой задумчивости на перилы, лицом к полудню. Шорох, произведенный приходом следовавших за государынею, заставил схимника оглянуться. Он привстал; но лишь только взглянул на нее и Вадбольского, задрожал всем телом. Долго, очень долго смотрели на него императрица и князь Вадбольский испытующими глазами, в которых заблестали наконец слезы; долго и схимник смотрел на Екатерину и князя, и крупные слезы заструились также по бледным его щекам.

— Отец архимандрит, вы, также и маленькое общество наше, — сказала государыня, обратясь к генералу Траутфеттеру и жене его, — оставьте нас с князем одних. — Потом, обра-

тясь к великим княжнам и показав им на схимника, присовокупила с особенным чувством: – Анна! Елисавета! взгляните хорошенько в черты этого человека; удержите образ его в вашей памяти; пускай благодарность врежет его в сердца ваших! Это благодетель русский и, может быть, первый благодетель вашей матери.

И великие княжны, тронутые выражением лица и голоса своей матери, с благоговением вглядывались в черты схимника.

Когда государыня осталась с теми, кого назначила, она подошла к затворнику, взяла его за руку и сказала:

– Мы, кажется, узнали друг друга!

– Государыня! – отвечал тронутый схимник. – Последний Новик мог ли забыть ту, которую знавал с десятилетнего ее возраста прекрасною и великою и которой высокое назначение тогда уже слышал из пророческих уст своего друга? Радостно следил я твое возвышение и теперь, видя тебя на другой день твоей коронации, в гостях у меня, столь же радостно приветствую твой приход словами вдохновенного слепца: *«И се на главе твоей*

лежит корона!» Знаком мне и этот гость! – прибавил Последний Новик, прижимая к своему сердцу Вадбольского, который бросился его обнимать.

Спрашивали отшельника, почему не воспользовался он прощением Петра Великого, прощением, которое, вероятно, должно было дойти до слуха странника.

– Ах! – сказал Владимир. – Зачем спрашиваете меня о том, что я хотел бы забыть навеки, что отравляет лучшие часы моей жизни? Открою вам только, что прощение государя опоздало несколькими днями; узнав о нем, я, преступник вторично, не смел им воспользоваться. Я следил моего гонителя и нашел его!.. Кровь, кровь ближнего на этих руках, которых благословения жаждут православные; эти херувимы, рассыпавшиеся по моей одежде, секут меня крыльями своими, как пламенными мечами, вериги, которые ношу, слишком легки, чтоб утомить мои душевные страдания; двадцать лет тяжелого затворничества не могли укрыть меня от привидения, везде меня преследующего. Но, поверите ли, и с этими муками я не променяю настоящего сво-

его состояния на то, в котором находился до прибытия в мое отечество. Я здесь на родине: во всякие часы дня могу смотреть на места, где провел свое детство; там я родился, тут, ближе, Софьино, где я воспитывался; здесь Коломенское, а здесь золотоголовая Москва с ее храмами и белокаменными палатами, с ее святынею и благолепием. Все тут, чего просил изгнанник, что он покупал ценою унижения и трудов необыкновенных! Мои соотечественники, православные, не откажут мне в могиле на общем кладбище, между ними. А там, – прибавил Владимир, взглянув на небо со слезами на глазах, – как неугасимую лампаду, повесил я мои надежды; там, может быть, отец всеобщий и судия-нечеловек взглянет милосердным оком на двадцать годов тяжкого раскаяния. Спаситель простил разбойника!..

Здесь схимник, потупив очи, замолчал. Государыня и Вадбольский старались излить в его сердце утешения и Надежды, в которых оно нуждалось. Беседа оживилась мало-помалу красноречивым воспоминанием тех происшествий, которые имели столь сильное

влияние на судьбу Екатерины и России.

Солнце давно скрылось. Москва и прелестные ее окрестности утопали в вечернем тумане.

Когда схимник прощался со своими гостями, впалые глаза его горели огнем вдохновения небесного, щеки его пылали.

– Да! – сказала Вадбольскому императрица Екатерина Алексеевна, прохладя опухшим разгоревшееся лицо свое и глаза, красные от слез, когда они сходили с лестницы. – По взятии Мариенбурга пророческие слова таинственного слепца так сильно врезались в моем воображении и сердце, что я... поверите ли?.. вскоре после того начала мыслить... о *короне. Да! это было так!..*

Лучшие желания Последнего Новика исполнились: он умер в глубокой старости на площадке, устремив свой умирающий взор на Коломенское, им столько любимое. Его похоронили на общем кладбище Симонова монастыря. Ныне не сыскать там его могилы: новые мертвецы сдавили прах своих предшественников.

P. S. Некоторые особы, которым я читал свой роман в рукописи, спрашивали меня: что сделалось с прочими лицами его. Удовлетворяю любопытству их и других копотливых читателей: мнимая мать Новика Кропотова отдала богу душу, услышав о смерти своего мужа; девица Горнгаузен до пятидесяти лет все ждала своего рыцаря-жениха; Блумен-трост[122] сделался лейб-медиком Петра I; Бир был достойным членом Российской *академии*; баронесса занималась до смерти политикою и, как видно по списку важных лиц, присутствовавших при коронации императрицы, находилась тогда в числе штатс-дам. А прочие?.. Уф! прочие жили, женились, плодились и умирали, как миллионы им подобных.

Еще вопрос, господин сочинитель, кто была особа, ехавшая за Саарамойзой в колымаге и назвавшая Вольдемара по имени?

– Разумеется, Катерина Скавронская! Она же послала Новику, через Мурзенку, богатый подарок, на котором вырезано было «5-е Апреля» – день ее рождения и день, в который слепец в первый раз предсказывал ее вы-

сокую участь.

Конец четвертой и последней части

Примечания

1

Имеется в виду библейская легенда, рассказывающая о том, как Иуда Искариот, продав своего учителя Иисуса Христа за тридцать сребреников (талант – самая крупная денежная единица, имевшая хождение на Древнем Востоке), повесился от угрызений совести.

[^^^]

2

Ординанц – ординарец, вестовой.

[^^^]

3

Чухонец – пренебрежительное название эстонцев в царской России.

[^^^]

4

Лейбшиц – телохранитель, сберегательный стрелок или денщик. – См. Военский Устав.

[^^^]

Баркляя де Толли.

[^^^]

6

По истории, это сделал храбрый лейтенант Цеге.

[^^^]

Складень – название некоторых складных предметов: образок-складень, нож-складень и т. п.

[^^^]

8

Подлинные слова из Дополн. к Деян. Петра I.
Кн. 6, стр. 13.

[^^^]

Перкун – славянский бог Перун, которого и теперь латыши нередко поминают. «Дедушка Перкун сердится, Перкун стучит», – говорят они, слыша гром.

[^^^]

10

Асмодей – коварный, злой дух (евр. миф.).

[^^^]

Морфей – бог сна (греч. миф.).

[^^^]

12

Начало чухонской песни: «Юрген, Юрген! не
пора ли мне к тебе?»

[^^^]

13

Харон – перевозчик через подземные реки в царство мертвых (греч. миф.).

[^^^]

Пудрамант (пудромантель) – род накидки, которую надевали, пудрясь.

[^^^]

Антигона – героиня одноименной трагедии Софокла (род. около 497–406 гг. до н. э.).

[^^^]

Цидулка – письмо, весточка (укр.).

[^^^]

Цирцея – в греческой мифологии волшебница с острова Эя. Иносказательно: обворожительница.

[^^^]

Контурство (комтурство) – область, передававшаяся особому члену духовно-рыцарского ордена, комтуру, в управление.

[^^^]

Марс – бог войны у древних римлян, то же, что Арей у греков.

[^^^]

Оссиан – легендарный певец, герой кельтского народного эпоса.

[^^^]

То есть стали похожи, под пару друг другу

[^^^]

Так называют латыши тех, кого они уважают.

[^^^]

Алуксне – латышское название Мариенбурга.

[^^^]

Вершник – всадник.

[^^^]

Содомитяне, новщики – так раскольники называли представителей официальной церкви, сторонников нововведений патриарха Никона. Содомитяне – жители библейского города Содома, согласно легенде разрушенного богами за грехи людей, его населявших. Слово «содомитяне» стало нарицательным для обозначения грешников, отступников

[^^^]

Свейское – шведское.

[^^^]

Хвалынское море – имеется в виду Каспийское море.

[^^^]

После подавления последнего стрелецкого бунта (1698) царевна Софья, удаленная в Новодевичий монастырь, была там пострижена под именем Сусанны.

[^^^]

Киновиарх – монах так называемого общежительного монастыря.

[^^^]

Изженить – изгнать (старослав.).

[^^^]

Титаны – название гигантов, вступивших в борьбу с богом Зевсом (греч. миф.).

[^^^]

Гельвеция – Швейцария.

[^^^]

Голицын Василий Васильевич (1643–1714) – фаворит царевны Софьи Алексеевны, в период ее правления фактически руководил всеми государственными делами; ввел некоторые преобразования во внутреннем устройстве государства, содействовал отмене местничества и пр.

[^^^]

Гордон Патрик (1635–1699) – шотландец по происхождению, генерал русской армии, поддерживавший Петра I в борьбе против царевны Софьи.

[^^^]

Трейман – верный человек (нем.).

[^^^]

Елисейские поля – место пребывания душ праведных людей после смерти (миф.).

[^^^]

Дедал – здесь в значении: искусно запутанный; по имени мифологического древнегреческого архитектора Дедала, построившего для царя Миноса лабиринт на острове Крит.

[^^^]

Дафна – нимфа, дочь речного бога; преследуемая Аполлоном, она молила богов о защите и была превращена ими в лавровое дерево (греч. миф.). 1 По-латышски Алуksне, по-русски – Алист, находящийся в уезде бывшем Ро-зула, ныне Венденском, близ угла, где сходятся границы Псковской и Витебской губерний, в сорока пяти верстах от Нейгаузена, или Новгородка Ливонского, в шестидесяти верстах от Печоры.

[^^^]

По-латышски Алуksне, по-русски – Алист, находящийся в уезде бывшем Розула, ныне Венденском, близ угла, где сходятся границы Псковской и Витебской губерний, в сорока пяти верстах от Нейгаузена, или Новгородка Ливонского, в шестидесяти верстах от Печоры.

[^^^]

Комтур (фр.) – рыцарь, управлявший областью, которая в Средние века давалась в пользование духовно-рыцарскому ордену.

[^^^]

Сад Армидин – волшебные сады прекрасной чародейки Армиды, описанные в поэме итальянского поэта Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим». Иносказательно садом Армиды называют что-либо чудесное, великолепное.

[^^^]

Нынешний пастор господин Рюль, умный, любезный, достойно уважаемый и любимый своею паствою. Гостеприимство его буду всегда помнить с особенным удовольствием. С каким восторгом рассказывал он мне о тех, которые с лишком за сто лет украшали его обитель! Ему-то я особенно обязан за драгоценные о них сведения, за что приятнейшим долгом почитаю свидетельствовать ему здесь мою благодарность.

[^^^]

«Правила военного дела» и «Искусство кораблевождения» (лат.).

[^^^]

Аврора – богиня утренней зари (рим. миф.).

[^^^]

Штык-юнкер – в старину чин в артиллерии между сержантом и лейтенантом (нем.).

[^^^]

Елевзинские таинства – торжества в Древней Греции в честь богини земли Деметры и ее дочери Персефоны – богини произрастания злаков; сопровождались таинственными обрядами.

[^^^]

Вперед, мой котик! (нем.)

[^^^]

Орест и Пилад – имена двух верных друзей, ставшие нарицательными (греч. миф.).

[^^^]

Не устраивайте представления! (нем.)

[^^^]

Апрош – ров, траншея, подход.

[^^^]

Преображенский приказ – центральное государственное учреждение России, в 1686–1726 гг. ведавшее охраной порядка в стране, расследовавшее особо важные политические дела.

[^^^]

Громодержитель – владыка неба, бог-громовержец Юпитер.

[^^^]

Болверк (нем.) – укрепление, земляной вал, окружавший город.

[^^^]

Хрия – ораторская речь.

[^^^]

Скудельные – глиняные.

[^^^]

Охабень – старинная верхняя одежда.

[^^^]

Раскольники не признавали четырехконечного креста, принятого официальной церковью.

[^^^]

Звонница – колокольня.

[^^^]

Уставщик – надзиратель за порядком во время богослужения.

[^^^]

Грамотница читает Апостол, поет на женской половине духовные песни и пишет книги, нередко с большим искусством, по-уставному.

[^^^]

Началом называют раскольники те семь поклонов, без которых они ничего не начинают. Ежели кто в сем случае не доложит поклона или переложит его, то молитва не в молитву.

[^^^]

Пилат Понтий – римский наместник в Иудее, при котором, согласно евангельской легенде, был распят Христос.

[^^^]

Новщики – вводящие переменную, новизну в расколе.

[^^^]

Надсмотрщик наблюдает за нравственностью мужчин, надсмотрщица – за поведением женщин.

[^^^]

Тогда считали расстояние поприщами, полагая в каждом сто двадцать шагов.

[^^^]

Перекрещенцы – староверы, раскольники, принимавшие «крещение» огнем для очищения от грехов.

[^^^]

Раскольники-перекрещенцы, не признававшие крещения, принятого официальной церковью, «перекрещивались» по-своему – огнем.

[^^^]

Ныне Царское Село.

[^^^]

Березовый, ныне Петербургский остров.

[^^^]

Каменный.

[^^^]

Остров с Петропавловскою крепостью.

[^^^]

Противень – здесь: копия, список с указа.

[^^^]

Господин лейтенант (нем.).

[^^^]

Мое дорогое дитя (нем.).

[^^^]

Сатурнусова дальность (Сатурн) – одна из наиболее удаленных от Солнца планет. Подвинуть ее в Меркуриев круг означает – приблизить. Меркурий – самая близкая к Солнцу планета.

[^^^]

Мой дорогой (искаж. нем.).

[^^^]

Господин капитан! (нем.)

[^^^]

Шнява – двухмачтовое морское судно.

[^^^]

Котлин – остров, на котором построен Кронштадт.

[^^^]

Гемисфера – полушарие.

[^^^]

Князь Вяземский.

[^^^]

Известно, что в отсутствие государя Ромодановский уполномочен был правами царскими и носил титул кесаря.

[^^^]

Убрус – платок головной.

[^^^]

Ферезь (ферязь) – длинное платье, застегнутое донизу.

[^^^]

Ритор – учитель красноречия; красноречивый человек.

[^^^]

Конь троянский – огромный деревянный конь, в котором были спрятаны греческие воины, открывшие ночью ворота Трои. В переносном смысле: дар врагу с целью погубить его.

[^^^]

Иоанн.

[^^^]

Петр.

[^^^]

Таланливая судьба – счастливая судьба.

[^^^]

Дочь Матвея Васильевича Апраксина, сочетавшаяся пятнадцатого февраля 1682 года с царем Федором Алексеевичем, по прозванию Чахлым, и овдовевшая, двадцати лет, двадцать седьмого апреля того ж года.

[^^^]

Девятого января 1684 года выдана замуж за царевича Иоанна Алексеевича.

[^^^]

Впоследствии нелюбимая супруга Петра I.

[^^^]

Комнатные люди – слуги, прислуживающие в доме.

[^^^]

Так называется и донныне место в лесу, по коломенской дороге, в двадцати трех верстах от Москвы. За несколько еще десятков лет оно было заставою разбойников.

[^^^]

Лефорт Франц Яковлевич (1656–1699) – швейцарец, с 1678 г. состоявший на службе в русской армии; играл активную роль в создании Преображенского и Семеновского «потешных» полков, впоследствии участвовал во всех военных походах начального периода правления Петра I.

[^^^]

Шакловитый Федор Леонтьевич – управляющий Стрелецким приказом, сообщник царевны Софьи Алексеевны; казнен Петром I в 1689 г.

[^^^]

Чумить стада – заражать стада чумой.

[^^^]

Лаокоон – троянский жрец, вместе с сыновьями удушенный змеями, которых послали боги, помогавшие грекам в борьбе с троянцами (миф.).

[^^^]

Царевна Софья умерла в 1705 г. Обстоятельства, предшествующие ее смерти в романе, вымышлены: после третьего стрелецкого бунта она содержалась очень строго в монастыре и была фактически отрезана от внешнего мира.

[^^^]

100

Это почти осада Трои! (фр.)

[^^^]

Письмо это не было доставлено Густаву по причинам, неизвестным автору.

[^^^]

Лещинский Станислав (1677–1766) – шведский ставленник на польском престоле (1704–1709), бежавший из Польши после победы Петра I над шведами под Полтавой.

[^^^]

Хиромантия – гадание по линиям на ладонях рук.

[^^^]

НОВЫЙ СТИЛЬ.

[^^^]

Казимир – город в Польше.

[^^^]

Почти все имущество его находилось в долгу за Августом, который никогда не думал уплатить его. Немудрено, что этот долг служил одним из низких побуждений выдать Паткуля.

[^^^]

Сатурналии – ежегодные праздники в Древнем Риме в честь бога Сатурна.

[^^^]

Форшпанки – подставные лошади.

[^^^]

Петр I доказал это, когда, в худших его обстоятельствах при Пруте, Порта требовала от него выдачи Кантемира.

[^^^]

Трактамент – здесь: оклад, жалованье (от лат. tractore).

[^^^]

У Курятных ворот, в том доме, где сперва открыт был Московский университет, находилась гостиница «Аустерия»; и доньше слывет под этим названием крайний проход по Скорняжному ряду от Ильинки на Никольскую, где ныне харчевни и лавки.

[^^^]

Одиннадцать часов утра.

[^^^]

Немецкой.

[^^^]

Госпожа! (искаж. нем.)

[^^^]

Царь (лат.).

[^^^]

Признателен (фр.).

[^^^]

Уконтентовать – сделать довольным, удовлетворить (искаж. фр.).

[^^^]

Петр (нем.).

[^^^]

Схимник – монах, взявшийся исполнить самые тяжелые условия монастырской жизни: полный аскетизм, затворничество, ношение тяжелых вериг и т. д.

[^^^]

Конверсация – разговор, беседа (фр.).

[^^^]

Сицевый (сицевой) – таковой.

[^^^]

Блументрост Лаврентий Лаврентиевич (1692–1755) – лейб-медик Петра I с 1718 г. Лажечников допускает анахронизм, заставляя Блументроста действовать в начальный период Северной войны, когда он был еще ребенком.

[^^^]